

Валентин Гаврилов

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ...

Наброски в помощь грядущему биографу

В.Л. Бурцева

Иркутск
2014

ББК 63.3(2)

УДК 930.85

Г 12

Валентин Гаврилов.

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ... *Наброски в помощь грядущему биографу*
В.Л. Бурцева : Иркутск, 2014. – 216 с.



Родился 6 ноября 1938 года на участке Толмачёво Зиминского района Иркутской области.

В 1953 году окончил Новоникольскую семилетнюю школу, Зиминского р-на.

В 1958 году окончил Черемховский горный техникум

В 1961-1965 г.г. учился в Иркутском госуниверситете на историко-филологическом факультете.

В 1966- 1969 работал методистом по краеведению Иркутской областной детской экскурсионно-туристской станции.

С августа 1969 г. по 2008 г. на руководящих должностях Иркутской областной организации Всероссийского общества слепых.

ЧАСТЬ I

*А всего иного пуще
Не прожить наверняка –
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.*

А. Твардовский

400 лет назад, в феврале 1613 г., исстрадавшаяся от смутного времени Россия возвела на царский трон династию Романовых. Прошло 300 лет, в 1913 г. империя Романовых достигла наивысшей точки своего процветания. В стране шла в гору капиталистическая экономика, реально и результативно действовали буржуазные свободы. Кое-каких экономических показателей того времени нынешняя Россия явить миру все еще не может.

Почему же ровно через 4 года после помпезного юбилея, как в насмешку: именно в феврале, в 1917 г. Николай Александрович Романов в добровольно-обязательном порядке сложил с себя чин самодержца, чем и прикончил долгую и замечательную историю романовской династии?

Отчего ж конец этой истории оказался столь скорым и бесславным? Скорее всего, такое роковое значение возымели неотъемлемые от любого абсолютизма спесь, чванство, самонадеянность, нежелание по настоящему вникать в проблемы, править ответственно, дальновидно и гуманно. Завышенная самооценка, как показывает история, всегда кончалась плохо.

Не успел влиятельнейший в высших кругах российского истеблишмента шеф корпуса жандармов А.Х. Бенкендорф сказать лестные царю Николаю Павловичу Романову слова о том, что настоящее России более чем великолепно, что будущее России превыше всего, как началась позорно проигранная Россией Крымская война.

Полвека спустя в российских правящих кругах полагали, что Япония России не соперник, а император Николай Александрович презрительно обзывал японцев косоглазыми макаками и заявлял, что япошек русские могут шапками закидать. Но судьбе было угодно беспощадно

наказать последнего Романова-царя за его имперскую фанаберию: оглушительный разгром России в русско-японской войне 1904-05 гг. породил первую русскую революцию 1905-07 гг., опыт которой позволил организаторам этого опасного для царизма мятежа через 10 лет, то есть в 1917 г., успешно произвести захват государственной власти в России, а затем покончить с последним царем из Романовых физически.

Российское самовластие не хотело существенных перемен ни в характере правления, ни в социальной и культурной политике государства. Непродуманно, авантюрно, идя на поводу эмоций, оно ввязалось в Первую мировую войну и этим погубило не только миллионы россиян, но и, так получилось, само себя.

Последним «Прости» царям от русского народа, надгробной надписью самовлюбленной и горделивой власти стала листовка «Памяти погибших за свободу», скорбные слезы от которой гасила радость одержанной народом победы. Вот этот текст, открывающий тайну и суть российского колосса.

Памяти погибших за свободу

В настоящую минуту, когда в таинственных радиолучах ко всему миру несется потрясающая весть о воскресении России из лика мертвых народов, мы – первые и счастливейшие граждане свободной России, мы должны благоговейно склонить колени перед теми, кто боролся, страдал и умирал за нашу свободу. Вечная память погибшим борцам за свободу!

Их много схоронено в русской земле, и это они дали нам такую легкую, светлую и радостную победу. Одних мы знаем по имени, других мы не знали и не узнаем никогда. Но это они своей неустанной работой, своими смертями и кровью подтачивали трон Романовых. Высокий и надменный, стоял он грозным островом над морем народной крови и слез; и многие слепцы верили в его мощь и древнюю силу, и боялись его, и не решались подойти близко и коснуться, не зная того, что давно подмыт он кровью в самом основании своем и только ждет первого прикосновения, чтобы рухнуть.

О, человеческая кровь – едкая жидкость, и ни одна капля ее не может пролиться даром! И ни одна слеза не пропадает, ни один вздох, ни одно тюремное проклятие, приглушенное каменными стенами, перехваченное железною решеткою. Кто слышал это проклятие узника?! Никто. Так и умерло оно в темнице, и сам тюремщик поверил в его смерть, а оно воскресло на улице, в кликах восставшего народа, в огне горящих тюрем, в дрожи и трепете обессилевших, жалко ослабевших тиранов!

Ничто не пропадает, что создано Духом. Не может пропасть человеческая кровь и человеческие слезы. Когда одинокая мать плакала над могилой казненного сына, когда другая несчастная русская мать покорно сходила с ума над трупом мальчика, убитого на улице треповской пулей, она была одинока, безутешна и как бы всеми покинута: кто думал об одиноком горе ее? А того не знала она, и многие из нас не знали, что одинокие и страшные слезы ее точат-точат-точат романовский кровавый трон! Чьи-то скромные нелегальные руки трудолюбиво и неумело набирали прокламацию; потом эти руки исчезли в каторжной тюрьме или смерти, и никто не знает и не помнит о них. А эти скромные руки точили-точили-точили трон Романовых. Кого-то вешали со всем торжеством их подлого и лживого правосудия. Трещали барабаны. Жандармы задами лошадей управляли народом, и безмолвствовал народ. И он, одинокий, в саване своем и как бы всеми покинутый, мужественно и гордо отдавал смерти свою молодую и прекрасную жизнь. Одинокий, засунутый в мрак балахона, слышащий только треск царских барабанов, смущаемый безмолвием народа, знал ли он, что его смерть точит-точит-точит трон Романовых и будет точить, пока не рухнет он?

А тот, кого казнили в темноте, тайком, за тюремной оградой или в пожарном сарае Хамовнической части пьяный, развращенный, купленный палач, бесчувственные рожи судейских, чей-то глумливый смех или стыдливый, бессильный вздох, что видел он иного в эту минуту последнего одиночества и ужаса? Как был он одинок, покинут людьми и бессовестным Богом, оставлен Россией! Или, презрев сущее, видел он своими потухающими глазами ту дальнюю, ту сострадательную и благодарную, великую Россию, что в миг его смерти сразу поднялась к нему и выросла на одну ступень? Видел ли он, как в миг его смерти качнулся подточенный трон Романовых?!

Безвестные кронштадтские и Выборгские матросы, которых расстреливали десятками и в мешках бросали в море... Один труп в мешке прибило к берегу, к саду царской дачи – и так некоторое время были они против и рядом: царский дворец и распухший казненный матрос в мешке. И кто может сказать, насколько в эти часы или минуты под мертвым взглядом казненного был подточен трон Романовых?

Пресненские рабочие, которых толпами прирезывали и пристреливали на льду Москвы-реки в мрачные декабрьские дни, рабочие, женщины и дети петербургского девятого января, голутвинские телеграфисты и просто неизвестные, совсем и навсегда неизвестные, которых на кладбище и у стен похода расстреливали Риманы. Толпы латышей, над которыми, не спрашивая об имени, расправлялись карательные отряды

под команду немецких баронов. Студенты и просто неизвестные, которых терзала на улицах Москвы «Черная сотня», сдирая мясо до костей, сжигая заживо, топя в реке, как собак.

О, сколько их! Сколько их! Сколько безвестных могил, сколько трупов, сколько страданий оставил позади себя Николай Романов!

Нынешние великие дни по праву принадлежат им. Это они дали нынешним поколениям счастливую возможность мощным движением народного плеча свалить подточенный и кровью подмытый трон. Это они дали нам ту радость освобождения, для которой нет слов и выражения. Это они воздвигли красный флаг на Петропавловской крепости, где так долго их казнили. И им принадлежат ныне великолепные улицы Петрограда, по которым, так радостно движутся толпы свободного народа. Это они своей кровью сломили казарменную дисциплину, под гнетом которой, как в тюрьме, томилась душа русского солдата. И они воздвигли братскую, нерушимую связь между нами и нашей славной, великой армией!

Вечная память погибшим борцам за свободу!»

Это написал не маргинал, не изгой, а знаменитый русский писатель Леонид Николаевич Андреев, много раз призывавший правящие круги России, монарха и монархистов к благоразумию, к единению с трудовыми низами России. Да разве он один только пытался образумить власть имущих?!



Владимир Львович Бурцев

В легионе тех, кто всем сердцем желал блага России и ее народу, кто всеми силами безуспешно пытался вразумить российский правящий класс, был Владимир Львович Бурцев, имя которого очень долго ничего не говорило даже множеству историков-профессионалов. И дело здесь вовсе не в нерадивости или в нелюбознательности историков: предать В.Л. Бурцева забвению стремились во всех тоталитарных государствах Европы XX века.

«Врагу спецслужб веревку мылили, – говорит писатель Юрий Давыдов, – и монархисты, и коммунисты, и нацисты». Ненависть

Николая II к Бурцеву была столь сильна, что в 1914 г., несмотря на пламенные призывы последнего к российским антимоноархическим силам прекратить борьбу с царским правительством и все русские силы слить воедино для победы над Германией, велел немедленно арестовать Владимира Львовича, открыто явившегося на родину из эмиграции, и сослать «блудного сына» в Туруханский край.

Вожак русских черносотенцев, депутат Государственной Думы В.М. Пуришкевич в своё время пустил по России крылатую фразу: «Бурцева надо повесить там, где его поймут, и повесить немедленно».

Гитлер возненавидел Бурцева за то, что этот «славянский дегенерат» посмел быть в 1934 г. на международном конгрессе в защиту евреев главным экспертом и с блеском опроверг легенду о «протоколах сионских мудрецов». Мало того, в 1938 г. В.Л. Бурцев издал книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог», что вызвало новый поток проклятий со стороны фюрера на голову «самозваного» правозащитника.

Не повезло Бурцеву и в отношениях с советской властью: он стал ее первым политическим заключенным. 25 октября 1917 г. через несколько часов после заявления Ленина о свержении Временного правительства в Петрограде вышла газета «Наше общее дело» с призывом: «Граждане, спасайте Россию!». Выпустил эту газету Бурцев, оказавшийся в тот день самым смелым и самым оперативным редактором. На беду Владимира Львовича это издание не прошло мимо недреманного ока бдительного Л.Д. Троцкого. «Немедленно запереть этого крикуна в Петропавловскую крепость!» – распорядился этот фактический руководитель победившего Военно-революционного комитета. Великие князья, министры царского и Временного правительств, высокие и высшие чины российской империи и Петрограда – все они угодили в русскую Бастилию после Владимира Львовича.

В марте 1918 г. Бурцеву удалось улизнуть из чекистского застенка, и, оказавшись в Швеции, в качестве прощального акта он напечатал «Проклятие вам, большевики!», резче которого, пожалуй, и не найти в сочинениях этого экспансивного борца за свободу. Понятно, каким должно быть отношение к Бурцеву после таких эскапад в адрес «клики Ленина-Троцкого». И потому единственное, что позволялось знать советскому человеку о Владимире Бурцеве, – это то, что он раскрыл провокаторскую деятельность Евно Азефа в рядах русских революционеров. Именно поэтому все материалы, касающиеся Бурцева, в советское время хранились в секретных фондах, доступ к которым имели, можно сказать, лишь избранные.

Табу на известность Бурцева закончилось в пору горбачевской гласности в СССР. В 1989 г. в № 2 журнала «Советские архивы» была опубликована архивная справка-хроника о политической и общественной деятельности Владимира Львовича. Составлена она была по запросу ЦК КПСС в Институт марксизма-ленинизма Н.И. Кедровым и называлась «Бурцев В.Л. и российское освободительное движение».

В 1990 г. в журнале «Огонек» № 47, 48, 50 был очерк Ю.В. Давыдова «Бурный Бурцев», и в этом же году Ф.М. Лурье издал книгу «Хранители прошлого. Журнал «Былое»: история, редакторы, издатели», в которой Бурцеву отведено заслуженное им достойное место.

В 1991 г. в СССР была опубликована книга видного меньшевика Б.И. Николаевского «История одного предателя-террориста и политическая полиция», посвященная разоблачению Евно Азефа Бурцевым.

В 1992 г. Ф.М. Лурье опубликовал книгу «Полицейские и провокаторы. Политический сыск в России в 1649-1917 гг.», при создании которой автором был использован составленный В.Л. Бурцевым историко-революционный сборник «За сто лет. 1800-1896 гг.».

Также в 1992 г. в журнале «Отечественная история» № 6 опубликована статья О.В. Будницкого «В.Л. Бурцев и его корреспонденты», в которой показаны обширные связи Бурцева в России.

С 1993 г. начался выпуск обновленных биографических и тематических словарей. В одном из таких изданий, вышедшем под названием «Политические деятели России 1917 г.» О.В. Будницкий тоже поместил свою статью о Бурцеве.

Аналогичные материалы помещены также в справочниках «Золотая книга эмиграции», «Кто есть кто в российской истории», «Политические деятели России» и др.

Большое значение в привлечении внимания к деятельности В.Л. Бурцева имело появление книги М.Я. Геллера «История Российской империи». В ней доктор исторических наук, профессор Сорбонны не только ссылается на труды Бурцева, но и нередко цитирует их.

Переломным моментом в бурцевоведении стало издание в 2008 г. Т.Л. Пантелеевой монографии «В.Л. Бурцев: личная история, политическая и общественная деятельность». В феврале 2012 г. под ее руководством осуществлено первое в России издание воспоминаний Владимира Львовича «Борьба за свободную Россию», напечатанных в 1923 г. в Берлине в издательстве «Гамаюн». Особую ценность этой книге придают обстоятельная, с глубоким анализом вступительная статья Т.Л. Пантелеевой и составленный ею алфавитный аннотированный указатель имен.

С полной уверенностью можно сказать, что, наконец-то, появился основательный исторический труд, закрывший множество «белых пятен» в биографии В.Л. Бурцева.

Романтичная, героическая, необыкновенная жизнь Владимира Львовича интересна сибирякам еще и тем, что ему в политических гонениях пришлось дважды отбывать ссылку в Восточной Сибири, причем первая из ссылок была у него в селе Малышевском Балаганского уезда Иркутской губернии. Историки, литераторы, краеведы, наверняка, не обойдут вниманием этого удивительного человека.

Начало биографии

Родился Владимир Львович 17 ноября 1862 г. по ст. стилю в семье штабс-капитана Оренбургского казачьего войска Льва Александровича Бурцева в форте Александровский Закаспийской области Российской империи, ставшем впоследствии (в советское время) городом Шевченко и оказавшемся в нынешнем Казахстане. Новое переименование его пока не постигло.

Предки Бурцевых – смоленские дворяне, первые строители Уфы. Дед Александр Львович Бурцев в 1826 г. привлекался к расследованию по подозрению в причастности к делу декабристов. Отец Лев Александрович Бурцев воспитывался в Неплюевском кадетском корпусе. С 1861 г. по 1867 г. он служил в чине поручика в форте Александровский плац-адъютантом. За отличную усердную службу в 1866 г. произведен в штабс-капитаны и переведен в Оренбургский линейный батальон заведующим Оренбургской сборной командой.

Женат был Лев Александрович на дворянке Софье Александровне Алаторцевой – женщине высокой нравственности, искренно и глубоко верующей, доброй, жалостливой, всей душой отзывавшейся на боли и нужды окружающих. Именно ее интенсивная духовность, а также неуклонное следование чести, долгу и справедливости со стороны Льва Александровича создали в семье Бурцевых здоровую атмосферу для воспитания детей, атмосферу человеколюбия и неотступного служения добру.

Простота Льва Александровича, его благорасположение к подчиненным привели его к дружбе с Тарасом Григорьевичем Шевченко, которого сослали на солдатскую службу в прикаспийский край за гневные выступления против российского самодержавия и ненависть к «москалям». Кстати, эти презираемые «москальи» выкупили его из крепостной неволи и оплатили его учебу на художника.

Доброта и порядочность командира в отношениях с подчиненными ослабили озлобленность ссыльного поэта, и его положительное отношение к начальнику было вполне искренним. В дневнике Шевченко несколько раз отмечены добрые поступки Льва Александровича по отношению к нему.

В августе 1869 г. Лев Александрович был уволен со службы по слабости здоровья в чине штабс-капитана, с пенсионом и мундиром. Из форта Александровский он был переведен в Оренбург, но к тому времени болезнь зашла так далеко, что через год он умер. Было Льву Александровичу в 1870 г. всего 38 лет.

После смерти мужа Софья Александровна вместе с детьми возвратилась в родную Уфимскую губернию, в имение отца – деревню Малые Бисеряки Новоспасской волости в Мензелинском уезде. Здесь она прожила до конца своих дней.

Старшая дочь Юлия, как и отец, не выдержала сурового климата Прикаспия и всю жизнь тяжело болела, жила неотрывно от матери и умерла в 1901 г. в возрасте 43 лет.

Старший сын Александр в 1884 г. окончил Петербургский технологический институт. Жил он тоже совсем мало: скончался в декабре 1887 г. в возрасте 29 лет от кровоизлияния в мозг. Неизвестно, дошло ли до Владимира в Малышевское, то есть в нынешнюю Малышовку, известие о смерти брата, как успокаивал Владимир безутешную мать в ее тяжком горе. Об этом остается лишь предполагать, так как ни одного письма от Бурцева из Сибири пока не обнаружено. Возможно, они просто-напросто не сохранились.

Дочь Бурцевых Вера вышла замуж за присяжного поверенного Константина Яковлевича Барсова и жила с семьей в Уфе, затем переехала в Сарапул.

Меньшого, Владимира, ожидала судьба революционера.

Годы учебы и идейного возрастания

Вскоре после приезда из Оренбурга Володе пришлось более 10 лет прожить в отдалении от матери, в небольшом городке Бирске Уфимской губернии. Там, в Бирске, замужем за богатым купцом Степановым жила родная сестра Володиного отца, которую звали, как и его мать, тоже Софьей Александровной. Своих детей у Степановых не было, и потому Софья Александровна прониклась самой глубокой любовью к милому племяннику, взяла его к себе на полное содержание и воспитание. Таким

образом, второй «малой родиной» для Бурцева стал глухой провинциальный городок Бирск.

Умньегого, послушного, настойчивого Володю полюбил и дядя Степанов. К сожалению, ни в одной из публикаций не указано его имя. Супруги Степановы чрезвычайно заботились о нем, мечтали, что взрослый Володя станет управлять их винно-водочным заводом или станет доктором.

Семья Степановых оказала на духовное состояние Володи огромное влияние. Семья эта была очень религиозной. В доме день и ночь толпились странники и богомольцы, монахи местного монастыря. Восторженный мальчик, воспитанный в любви к Богу, много молился, часто ходил в местный монастырь и хотел стать монахом. Его пресветлыми кумирами были государь-император Александр II и его наследник – будущий царь Александр III.

Нечего и говорить, что семья Степановых одновременно была и весьма благонамеренной к установленному в России порядку, и беспрекословно исполняла все, что требовало от нее начальство. «Да и вообще, – говорит Владимир Львович в своих воспоминаниях, – в то время в таких глухих местах, как наш далекий Бирск, ни о чем революционном не было и слышно. В детстве я молился, прикладывался к иконам, ставил свечи, ходил в церковь, особенно часто посещал местный монастырь и сам мечтал о монашестве и т.д. Это были, конечно, лишь легкие детские грёзы, отражавшие то, что вокруг меня говорили старшие. Тем не менее, это целиком захватило и мой ум, и все мои детские мечты и составляло сущность моей тогдашней духовной жизни. Без новых сильных впечатлений со стороны это мое настроение легко могло перейти в привычку, сделаться прочным убеждением и превратиться в религиозный фанатизм, как это случалось с другими близкими для меня людьми». (Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания. 1882-1922 гг. Т. 1, с. 3).

Внешний толчок случился, мировоззрение Володи изменилось, религиозным фанатиком-мракобесом он не стал. Но состояние нравственной экзальтации его не покидало, и за всю жизнь он не выкурил ни одной сигареты, не выпил рюмки вина. Он не позволял безнравственных поступков себе и не терпел этого у других, хотя и был безбожником. А нам уже уши прожужжали, что «если Бога нет, то все позволено».

Как это ни покажется странным на первый взгляд, крушению веры способствовало путешествие на богомолье. Во время летних каникул, когда Володя перешел в пятый класс гимназии (ему было 14 лет), тетушка Софья с множеством знакомых отправилась на поклонение святым

мощам в Москву и Троице-Сергиеву Лавру. Конечно, взяли с собой и «будущего монаха». Он шел во главе старух от одного святого места к другому, истово молился и часто, когда тетушка отдыхала, старался сбегать в еще какую-нибудь церковь, о которой знал по путеводителю.

«Возвращаясь поздно вечером к себе в номер, я горячо молился, был счастлив, что мне посчастливилось видеть так много святых, о которых я раньше только мечтал, – делится с читателями своими яркими впечатлениями экзальтированный подросток и продолжает далее уже не юношей, но мужем. – Но в одном из церковных приделов нам дали приложиться к гвоздю, которым был распят Христос. Я и теперь, спустя 40 лет вижу тот железный, более четверти длиною гвоздь и на нем запекающуюся кровь Христа. Нам дали приложиться к нему. Надо ли говорить, какое впечатление произвело на меня то, что я, русский юноша из какого-то Бирска, чуть ли не через две тысячи лет прикладываюсь к тому самому гвоздю, которым был распят на кресте Христос? Я видел его кровь, я чувствовал, что меня охватило сознание такого счастья, которому не было границ. Я почувствовал в себе прилив какой-то безграничной гордости, я был потрясен и вышел из Успенского собора совсем иным от счастья человеком». (Бурцев В.Л. Указ. соч., с. 4).

Но это очарование длилось не так уж и долго. Реальности быта, введливая вдумчивость в непонятные вопросы, твердая убежденность в правильности собственных выводов постепенно развеивали красивую церковную легенду. Этой перемене в сознании юноши снова поспособствовал внешний фактор. Сработал он, когда Володя несколько дней провел в гимназической больнице. Был он там один и мог, сколько угодно, читать и мечтать: никто ему не мешал. Целыми ночами просиживал он над книгами современных писателей. Особенно поразила его статья Писарева Д.И. о романе Тургенева И.С. «Отцы и дети», а также книга Дреппера «История католицизма в Европе». «В книжке Дреппера я прочитал увлекательные страницы, – говорил Бурцев, – о католицизме и об его эксплуатации народных суеверий». (Бурцев В.Л. Указ. соч., с. 4).

В душу романтического и постоянно размышляющего подростка глубоко запал истолкованный Писаревым образ Базарова, а мысль о необходимости воспринимать действительность критически привела горячего романтика буквально в восторг, т.к. он и сам давно пришел к такому убеждению.

Поразило воображение юноши и отношение Базарова ко всякого рода предрассудкам, которыми была так богата тогдашняя русская жизнь.

Бурцев продолжает: «Я почувствовал в себе какой-то перелом. Я не мог еще сформулировать того, что клокотало в моей душе, но я сознавал, что уже более не могу отмахнуться от той мысли, которая давно и настойчиво преследовала меня и от которой я часто просто-напросто убегал. Я почувствовал, что в Успенском соборе меня обманули и даже посмеялись, что гвоздь, которым, якобы, прибивали Христа, был самый обыкновенный гвоздь, каких можно, сколько угодно, найти всюду, что лгали мне заведомо, сознательно, что это им надо было для корысти или для чего-то худшего. Я понял, что Писарев и Дреппер правы, что неправ был я, когда отбивался от них. С тех пор у меня в душе появилось что-то новое, и в это новое я верил так же, как в гвоздь Христа». (Бурцев В.Л. Указ. соч., с. 4).

Приехав на каникулы в следующем году, Володя уже не молился. Он не мог молиться, не веруя, хотя бы для успокоения родных, которых сильно любил. Тяжкой неожиданностью стало это для них, но настаивать на своем они не видели смысла, потому что знали нрав своего воспитанника. Уже тогда было видно, насколько стремился он жить собственным разумением, исходя из собственных целей и принципов. Эти черты характера в будущем, когда он окажется в центре борьбы российской оппозиции с самодержавием, не позволят ему вступать в сомнительные коалиции, поддерживать те партии и группы, с политическими взглядами которых он не был согласен.

Начав революционную деятельность в качестве сочувствующего «Народной воле» Бурцев не стал ни эсером, ни меньшевиком, ни, тем более, радикальным марксистом-ленинцем. Он всей душой стоял за социализм, считал себя левым из левых, но не считал социалистами большевиков. Они были для него политическими врагами, потому что готовили социальную резню, истребление целых классов российского общества, развращали сознание трудовых масс теорией классовой борьбы и беспощадной ненавистью к имущим слоям населения.

Он был истинным патриотом, беспредельно любил Россию и славную историю ее народа и не хотел, чтобы борьба за политические свободы в России нанесла ущерб государству, ослабила его в противостоянии внешним врагам. Он убеждал товарищей по политической борьбе, что революционных результатов надо добиваться эволюционным путем, прогрессивными реформами, что надо убедить правительство и правящие круги России добровольно пойти на предоставление народу политических и земских свобод.

В этом он был близок к конституционным демократам, но и от них он очень отличался. Бурцев считал, поскольку правительство добра ни

себе, ни народу не стремится сделать, не идет на разговор о прогрессивных реформах, уповает на силовые методы, «мы должны принудить его к этому индивидуальным террором». Позиция жёсткая, даже жестокая, но понять ее и даже согласиться с ней в чем-то можно. Забегая вперед, скажу, что сделавшись серьезным политическим деятелем, Владимир Львович в силу своей неколебимой принципиальности, неуступчивости аморализму в любой форме, строгой требовательности к себе и окружающим часто оказывался в одиночестве, подвергался циничным насмешкам и многие годы провел по формуле «один против всех». И это нисколько не умаляет его достоинств и моральной силы, ибо «самостоянье человека – залог величия его».

Твердо стоять на этой позиции Бурцева убеждал опыт партии «Народная воля» первого призыва. «После гибели Александра II, – считает историк М. Геллер, – ошеломление было так велико, что начались секретные переговоры с террористами о перемирии. Но правительство вскоре поняло, что «Народная воля» ослаблена арестами настолько, что с ней можно не церемониться, и контакты были прекращены». (Геллер М.Я. История Российской Империи, стр. 487).

«Русская весна» тогда не наступила, но Бурцев был уверен, что если реанимировать партию, создать надежный заслон от проникновения в нее агентов полиции, можно добиться повторения революционной ситуации и на этот раз заставить правительство сесть за стол переговоров с революционерами.

В глазах властей Бурцев превратился в одного из самых опасных врагов монархии. Из-за своей программы в 90-е годы XIX века он разошелся с революционными партиями. Но странности в поступках и концепциях Бурцева могут быть поняты лишь в свете его личной стратегии борьбы за свободную Россию, борьбы, которую он вел на протяжении многих лет, не обращая внимания на протесты и насмешки окружающих. Он не вписался ни в одно из существовавших направлений, непрерывно вел полемику и доводил до иступления даже тех, кто его искренне любил.

Он был одинок в политике и в жизни, но без его особого мнения и особого пути политическая история России была бы неполной.

Гимназия, университет, уход в революцию

В гимназии в первые годы Володя учился неважно, даже «зимовал» в третьем классе. Но позже учеба наладилась: он шёл первым учеником. Считался лучшим в гимназии по математике, истории и латыни. После духовного переворота, описанного выше, изменилось и поведение быв-

шого пай-мальчика: он стал дерзким, яростно несогласным в спорах о Боге и сотворении мира. Естественно, начались конфликты с гимназическим начальством. Бывали периоды, когда он буквально через день сидел в карцере. Случались меры и построже: его несколько раз исключали из гимназии. Спасал положение дядюшка, являвшийся к начальству с добрым вином, сотовым медом и балычком. Сердца начальников смягчались, статус-кво восстанавливался. И все же с Уфой пришлось расстаться. С крушением веры в Бога в душе молодого Бурцева постепенно умерла любовь к царю, а вместе с тем всякое почтение к представителям администрации.

В конце концов, в гимназии у него дошло до драки с воспитателем, и теперь его изгнали окончательно. В шестой класс он пошел уже в императорскую Казанскую гимназию.

В своей автобиографии, написанной в 1898 году в лондонской тюрьме Пентенвиль в расчете на то, что читать ее будут свои парни, друзья по совместной борьбе, Бурцев, изображая себя перед ними неслухом и разгильдяем, писал: «Несмотря на ряд историй, я успел-таки кое-как окончить курс 1-й Казанской Императорской гимназии в 1882 году в мае-месяце». (Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию, 2012 г., с. 287)

Но это была чистейшей воды бравада, своего рода розыгрыш, или прикол, как любят называть подобные ситуации нынешние молодые люди. Уфимскому краеведу Ф.Д. Ахмеровой удалось обнаружить аттестат зрелости, выданный Бурцеву в августе 1882 г., в котором юноше дана следующая характеристика: «Поведение его было вообще отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ постоянная, прилежание усердное и любознательность к предметам большая. Весьма хороших способностей». «Весьма хороших способностей» – так ранжировали в Казанской гимназии №1 лишь наиболее даровитых выпускников. Такой аттестации там были удостоены всего лишь четверо из 1916 прошедших полный гимназический курс. Разве могли удостоить шалопая столь лестных оценок и отзывов? Похоже, что Владимир в Казани поставил перед собою цель во что бы то ни стало окончить учебу блестяще, чтобы продолжить обучение в университете. По всему видно, что воли и сил у него для этого хватило.

Прекрасным результатам в учебе способствовало пристрастие Владимира к серьезному чтению. Легкого чтения у него не было практически никогда. В доме Степановых книг не было совершенно, в том числе сказок, приключений, детективов. Единственным изданием, которое выписывали Степановы, был журнал «Сын отечества». Еще мальчиком

Володя увлекся статьями о внешней политике и сообщениями с театров военных действий, с жаром следил за событиями русско-турецкой войны 1877-78гг.

В старших гимназических классах, после сдвига в мировоззрении он набросился на демократическую публицистику, которой, несмотря на несвободы, было достаточно. Не только работы В.Г. Белинского, Н.А. Некрасова, Д.И. Писарева и Н.А. Добролюбова, но даже «Исторические письма» П.Л. Лаврова оказались доступными, были тщательно изучены, а самое важное и наиболее красноречивое было записано в специальные тетради. Обдумав прочитанное, Владимир излагал почерпнутые знания и новые идеи гимназическим товарищам. Слушали его с опаской: разве ж можно так о властях предрежащих? Но это лишь подзадоривало начинающего смутьяна.

Одновременно с этим Бурцев самым внимательным образом прочитывал судебные отчеты о политических процессах. Ругань в адрес социалистов его мало задевала, ибо он уже знал цену борзописцам-охранителям: Добролюбова и Писарева изучал не зря. Его голову не покидали размышления о тех, кого ругали в «Правительственном вестнике». Вспоминая о том времени, Владимир Львович говорил: «Понималось с пятого на десятое, но, тем не менее, знал я о происходившей революционной борьбе очень много. Таким образом, я еще совсем юношей пережил всё русское террористическое движение. И чем далее, тем все более меня захватывал интерес к революционному движению. В «Автобиографии» о том времени сказано следующее: «Я был на стороне тех, кто взялся за револьвер и кинжал для борьбы с Треповыми и Мезенцевыми. Выстрел Александра Соловьева 4 апреля 1879 г. был встречен мною с внутренней радостью. Когда нас погнали в собор помолиться на радостях за спасение царя, я радовался, что по нему стреляли, как недавно радовался, когда бегал в тот же собор радоваться, что мы побили турок. Тогда еще не было известно имя стрелявшего, и наш поп, по фамилии Соловьев, со слезами на глазах, с негодованием говорил, что стрелявший не может быть русским человеком. Я в присутствии многих заметил ему: «Стрелявший может быть и русским человеком, честно, но иначе, чем другие любящим народ». Это замечание заставило всех оглянуться на меня. Оно сошло мне с рук, но с этих пор я был в глазах многих не только безбожником, но и революционером.

Каково же было изумление нашего попа и как, по крайней мере, внешне был он убит, когда было получено известие, что стрелявший – русский да, к тому же, Соловьев?! Поп хотел даже попросить о перемене

фамилии. С тех пор я стал самым внимательным чтецом отчетов о политических процессах».

На этом выходки В. Бурцева, достаточно бурного уже и в гимназические годы, не закончились. Так, в одну из недель Великого поста, когда недопустимым считалось съесть что-нибудь из скоромного, Володя демонстративно, перед товарищами, ел просфору с колбасой, доказывая, что Бога нет, что ничего страшного для него от этого не будет. После убийства царя Александра II гимназистов водили в церковь, чтобы дать присягу новому царю. К этому времени у Владимира сложилось стойкое неприятие российских коронованных особ, и он считал безнравственным, а потому недопустимым для себя, признать себя верноподданным самодержца. Но отказаться от принятия присяги открыто было безрассудно: его немедленно исключили бы из гимназии, и никакой дядюшка в этом случае не смог бы помочь. А окончить гимназию нужно было обязательно. Выход из положения оказался простым: по дороге в церковь Володя незаметно сбежал.

Гимназистов шло много, для кого-то другого такая отлучка осталась бы незамеченной, но Бурцев был у дирекции на контроле, и «дезертирство» его было обнаружено. На следующий день Володю привели к присяге насильно, отдельно. С поднятой рукой, он невнятно пробормотал все необходимые слова, в том числе о том, что на служении царю он не будет щадить живота своего.

Возникает недоумение, почему при столь вызывающе непочтительном отношении к начальству, не исключая и верховного, Бурцев был удостоен отличной характеристики в аттестате зрелости. Видимо, руководство императорской Казанской мужской гимназии №1 надеялось на ослабление строптивости талантливого выпускника со временем, в пору его взрослого состояния и потому «в видах возможной государственной пользы» безрассудно было бы закрыть ему возможности научного и карьерного роста нелестным отзывом в официальном документе. В глаза же задире Бурцеву было прямо заявлено, что тюрьма его давно ждет и, наверное, скоро обрадуется встрече с ним. Время показало, что утверждавшие это не ошибались.

Осенью 1882 г. Бурцев поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет, но голова его, как и сам он признавал, была занята революционными вопросами. Старый народник Попов отметил в своих воспоминаниях, что Бурцев пришел в университет ушибленным революцией. И не только идейно. Уже в это время он попал в поле зрения департамента полиции, как брат взятого под надзор, полити-

чески неблагонадежного Александра Бурцева. У полиции в то время еще не было компрометирующих сведений о Владимире Бурцеве, но на всякий случай был взят под наблюдение и он. Александр Бурцев, к месту сказать, был студентом Петербургского технологического института. Окончил его он в 1884 г. и служил на заводе Бобринских в местечке Смела. Негласный надзор полиции был установлен за ним в сентябре 1882 г. за сношения с политически неблагонадежными лицами. Именно в это время и приехал в Петербург его младший брат Владимир. В дальнейшем, (1886 г.) на квартире Александра Бурцева были арестованы Александр и Петр Редько, причастные к деятельности петербургского народовольческого кружка (ГАРФ, ф.102, 3-е делопроизводство 1881 г., д. 1316, л. 47-48).

Татьяна Леонидовна Пантелеева считает, что Александр помогал народольцам чисто по-дружески, в крамольных делах не участвовал, потому и не подвергался серьезным преследованиям.

О занесении Владимира Бурцева в список поднадзорных лиц свидетельствует циркуляр №2595 от 16 сентября 1882 г. (там же, но листы 50-52 об.).

Математику он вскоре забросил, с утра до ночи просиживал в Публичной библиотеке, заново перечитывал отчеты о политических процессах и находил в них много такого, что раньше ускользало из поля его внимания. Радовало совпадение его точек зрения с взглядами судимых. Он ощущал от этого большое внутреннее удовлетворение, мощный подъем и рост самооценки, уверенности в своей правоте.

Ответственное отношение к собственным, лично сформулированным идеям, подчеркнутое противопоставление своих мыслей недоброжелательной критике Владимир Львович сохранил на всю жизнь. С Бурцевым можно было спорить, но переспорить его было невозможно.

Сигналы из прошлого

Полтора века отделяют нас от времени В.Л. Бурцева. Столь отдаленные годы совсем немногие из наших современников представляют себе более или менее конкретно и относительно верно оценивают их значение. А знать ту эпоху, хотя бы вкратце, хотя бы в главном, прямо-таки необходимо. И потому, что «перестройка» самодержавной России шла чересчур туго, долго и заняла полвека из всего-то трех, отпущенных историей на существование династии Романовых. И потому, что модернизационный процесс обошелся России безмерно дорогой расплатой за него. И потому, что теперь, из нашего «прекрасного далека» отчетливо видно, как должна действовать в годы системного кризиса здравомыслящая власть

и как должны вести себя озабоченные граждане. По-настоящему судьбоносными оказались те «крутые» годы, но наша задача – не погрузиться в то время, а лишь дать абрис его, слегка подпортить «шпаклевку фасада» идеализации русского царизма, и, если получится, убедить читателя, что российская молодежь гуртом повалила в революционный строй: не сдуру, не с бухты-барухты, не по взбалмошности своей, а в силу сложившихся в стране условий.

Они, эти условия, набухали веками. Неограниченное самоуправство царей и помещиков раз-другой в столетие вызывало грандиозные крестьянские бунты, и, хотя восстания заканчивались не менее жестокими погромами осмелевшего «быдла», народ о своих возможностях помнил, изустно из поколения в поколение переходило: «Ужо тебе, барин!». Ведь пели же в XIX веке не только о недавно убиенном Емельке Пугачеве, но и о приснопамятном Степане Разине, геройствовавшем против богачей едва ли не двести лет назад.

На саднящую рану народной боли добавил соли освободительный поход русской армии в Европу в 1813-14 гг. И забритые на 25 лет крепостные, и просвещенные дворяне поразились контрасту, который открылся им при виде европейского образа жизни в сравнении с родными палестинами. «Не так уж сладок и приятен был им дым отечества», когда они возвратились домой и снова погрузились в беспросветный гнет, дикость, рабство и самодурство. Ни земли, ни свобод прославленные вояки не получили, и их обиды, их недовольство не заглохли в сознании их потомков. Победив Наполеона, русский царь Александр I вознамерился, было, улучшить порядки в своем царстве.

В 1818 г. реформаторские намерения Александра Павловича приобрели сенсационный характер. Александр I поручил Н.Н. Новосильцеву втайне составить проект конституции России. Этот проект, известный под названием «Государственная уставная грамота Российской империи», был во многом очень близок польской конституции 1818 года, из которой заимствовано большинство статей и даже многие термины. Более того, в уставной грамоте содержались «ручательства свободы вероисповедания, свободы тиснения (т.е. свободы печати.), неприкосновенности личности и собственности», а в статье 81 подтверждался коренной русский закон: «Никто без суда да не накажется». (Дудаков С.Ю. История одного мифа. Очерки русской литературы 19 века, стр. 50)

В марте 1818 г., выступая на открытии польского сейма, царь заявил: «Вы мне подали средство (т.е. дали возможность. В.Г.) явить моему Отечеству то, что я уже с давних пор ему приуготовил, и чем оно воспользу-

ется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». От таких слов пошла кругом не одна дворянская голова. Оказывается, их монарх уже давно приготовил России конституцию и парламент. Кто бы мог подумать?! Одни горевали, что развратная вольность до добра не доведет. Другие сетовали, что власть слишком рано открыла свои устремления, чем ослабила свои позиции перед оппонентами.

Было в недовольстве дворян и другое. Многие русские дворяне, среди них и декабристы, обиделись на Александра I за то, что первыми получила конституцию и парламент Польша, а не вся российская империя целиком или, по крайней мере, ее великорусские губернии. Недовольство подогревалось слухами, будто император собирается вернуть полякам земли, отошедшие к России в результате раздела Польши. Дело дошло до того, что в среде декабристов созрел так называемый «Московский заговор», целью которого было убийство монарха. Кроме того в 1818-20 гг. шли острые споры вокруг проекта отмены крепостного права, подготовленного в канцелярии ставшего близким царю А.А. Аракчеева, вокруг проекта Крестьянской Хартии Российской империи, вокруг проекта министра финансов Гурьева Д.А. о прекращении крепостного состояния. Короче говоря, было от чего потерять голову, было от чего разбиться обществу на яростно спорившие друг с другом группировки, было от чего возликовать или опечалиться. Печалей и ожиданий катастрофы оказалось гораздо больше, чем ликования и веры в светлое будущее.

Дворяне-радикалы внимательно прислушивались к доносившимся из Зимнего дворца слухам об облегчении участи крепостных крестьян. Они с сочувствием относились к намерениям Александра I отменить позорящее Россию рабство и были готовы всеми силами содействовать императору. Кто знает, как бы развернулись события, если б он принял протянутую руку помощи от передового дворянства?

Однако Александр Павлович старался этого не замечать. Когда один из основателей декабристского «Союза Благоденствия» Н. Муравьев подал императору собственный проект освобождения крестьян, тот лишь досадливо буркнул: «Дурак: не в свое дело вмешался». Становится понятно, почему после извещения о деятельности в России уже нескольких заговорщических организаций, «русский сфинкс» меланхолично изрек: «Не мне их судить».

Но ни конституции, ни отмены рабства не случилось. Александр I не решился на столь крутые перемены. Вместо освобождения крестьян последовал ряд указов, резко ухудшивших их положение. Вместо конституции произошла передача фактически всей государственной власти

в руки всемогущего временщика. Вместо развития науки и просвещения из университетов изгнали наиболее талантливых и прогрессивных профессоров. В общем, «хотели как лучше»...

Суровое, беспощадное царствование императора Николая Павловича довело механизмы насилия и подавления до апогея. Когда генерал Паскевич в 1831 г. взял Варшаву, он нашел там текст «Российской Конституции», подготовленной Н.Н. Новосильцевым и сообщил о своей находке императору Николаю Павловичу. Император был очень встревожен и приказал собрать по возможности все печатные экземпляры «Уставной Грамоты» и прислать их в Россию, где они и были преданы по его распоряжению сожжению. (Дудаков С.Ю. История одного мифа. Очерки русской литературы 19 века, стр. 50).

Империя Николая I отгораживалась от Европы, «окукливалась», самоизолировалась. И без того не передовая, она все более и более отставала в научно-техническом и общественном прогрессе, ветшала и слабела. Все это стало окончательно ясно даже для самого императора во время Крымской войны.

Россия напрягала все силы, дошла до полного изнеможения, но Крымскую войну с треском проиграла, потеряла флот и право прохода по проливам, понесла ощутимые территориальные утраты. Причиной вселенского позора была системная отсталость России, порожденная ее феодальным строем и крепостническими отношениями. Гордый, самлюбивый и амбициозный Николай I не перенес такого оборота дел и говорили будто он упросил своего личного доктора Мана дать ему яд, который не показал бы признаков отравления, и, умирая, завещал сыну покончить с крестьянской неволей. Удивительно было услышать такое из уст грозного крепостника. Его наказ сыну был свидетельством абсолютного банкротства российской общественно-экономической системы. Новому царю предстояло не очищать Авгиевы конюшни феодализма, а перестраивать все полностью. И титул «самодержца всея Белая и Малая Руси» он принял, по словам великого поэта, «с усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом».

Усмешка наследника не могла не быть горькой: на всю империю осталось около 30 тысяч исправных ружей для армии, менее 270 исправных артиллерийских орудий, а ведь шли две войны: Кавказская и Крымская. В стране в течение года производилось 300 тысяч пудов пороха, из которых 250 тыс. расходовал лишь осажденный Севастополь. При этом надо иметь в виду, что и в Севастополе пороха не хватало: на 8-10 выстрелов артиллерии противника русские отвечали 1-2.



*А. Харламов
Император Александр II*

*A. Kharlamov. Emperor
Alexander II*

Удивительна статистика о здоровье военнослужащих России середины 19 века в сравнении с концом 18-го столетия. При Павле Петровиче и Суворове в русской армии из 500 человек лишь один был нездоров. При Николае Павловиче результат оказался зеркально противоположным: во время Крымской войны из 500 военных лишь один был здоров.

За это время в войнах в Персии, Турции, на Кавказе, при подавлении польского восстания и интервенции в Венгрии было убито 30233 человека. За этот срок в армии служили 2 млн. 600 тысяч 407 солдат, 1 млн. 42 тысячи умерли в госпиталях не от ран, а от болезней. Следо-

вательно, от болезней умерло 40 процентов наличного состава нижних чинов. Возможно, ни одна армия в мире не знала такого соотношения погибших в боях и умерших от болезней. В результате войны эти тайные цифры сделались очевидностью для всего общества.

Уникальных размеров достигло воровство офицерами казенных сумм, отпускавших на питание солдат. Поражает уверенность начальников в безнаказанности за злоупотребления.

По воспоминаниям участников Крымской войны, «о снабжении войск теплой одеждой в это время (осенью 1854 г.) еще никто и не помышлял. Солдатики всю зиму пробавлялись в истрепанных шинелишках, добавляя к ним, и то на собственные гроши, рогожи, которые надевали на себя в виде ризы на плечи, а во время дождя – на голову, образуя огромный башлык. Этот наряд приводил в недоумение неприятелей, никак не могших решить вопроса, что это за особый род военного костюма... Зачастую приходилось по три дня не иметь ни сена, ни овса. Крупы выдавались людям неаккуратно».

Французский генерал Буэ приписывал слабость русской пехоты дурной пище и открытым бивакам, а также недостатку карабинов Минье. (нарезных. В.Г.) О пище говорили с большим неудовольствием: «Сухари из черного хлеба и вода – вот и все». Многие из русских дезертиров показывали, что бежали из армии из-за голода.

В таких условиях воевать дальше было нельзя, а Россия сделала еще более широкий вывод: «Так жить больше нельзя!»

К моменту вступления на трон Александру II было почти 37 лет. Более двадцати из них он провел в работе Сената, Синода, Государственного Совета, Кабинета Министров, а также многих создававшихся Николаем I секретных и несекретных комитетов и комиссий. Проблемы государства ему были ясны, как стёклышко, он знал и помнил, чего ждет Россия от царя, чего нужно опасаться. Знал он и о том, что его отец, перед которым подданные впадали в ступор, носил серьезное желание отменить крепостное право, но всякий раз, когда ему представляли на утверждение проект отмены, налагал резолюцию типа: «Несвоевременно... Оставить по-прежнему». Значит, столь же серьезно опасался он неизбежной мести господствующего сословия.

Из этих государственных бдений, споров, поисков оптимальных вариантов Александр Николаевич вышел, выражаясь по-нынешнему, эволюционистом, сторонником постепенного, но непрекращающегося движения вперед, был готов поддерживать то либералов, то консерваторов, исходя из того, чьи позиции в данный конкретный момент были более подходящими, с его точки зрения, для интересов государства.

Шесть лет непрерывного давления императора на помещичью бюрократию и на помещичьих делегатов с мест не дали мало-мальски приемлемого проекта освобождения крепостных, и Александр II понял, что пора и власть употребить. Он настолько твердо решил довести крестьянское дело до конца, что открыто противопоставил себя дворянскому общественному мнению, заявив: «Что обо мне говорят, я на это не обращаю внимания. Нельзя быть любимым всеми». Дворянство, даже его просвещенный авангард, по мнению монарха, просто не понимало своих выгод, и самодержцу, в конце концов, пришлось взять приказной тон: «Я требую, чтобы вы, отложив все различные интересы, действовали как государственные сановники, облеченные моим доверием. Вот уже 4 года длится обсуждение крестьянского дела и возбуждает опасения и ожидания, как в помещиках, так и в крестьянах. Всякий здравомыслящий понимает, что это пагубно для государства». В итоге голос императора возымел решающее значение.

Правда, крепостникам удалось ухудшить проект в своих интересах. 20 процентов земельного фонда, предназначавшегося крестьянам, они оттяпали себе. Были увеличены повинности крестьян в пользу бывших хозяев, выросла стоимость выкупа земли. Но осталось неизменным главное: крепостному праву настал конец, 23 миллиона рабов получили свободу, заоблачно взлетел авторитет России и престиж ее царя в глазах так называемой мировой общественности.

Второй ступенью реформ 60-х гг. стала судебная реформа Александра II. Были учреждены суды двух уровней, мировые и окружные. Мировые суды избирались населением и рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела. Окружные суды назначались правительством, вели лишь сложные и важные уголовные процессы. Сенату отводилась компетенция высшей кассационной инстанции. Впервые в русской истории суд стал бессловесным: единым для дворян, горожан и крестьян. Он стал доступным для публики, т.е. гласным, и состязательным. Судьи были сделаны несменяемыми и независимыми, получали столь высокое жалование, что выше его получали только судьи Англии. Лишить судью должности можно было только по суду за действительные серьезные правонарушения. В процедуре судебного разбирательства предусмотрено было наличие присяжных заседателей, избираемых по жребию из местного населения.

Вмешательства императора потребовала и разработка земской реформы. Соглашаясь на обновление земств, дворяне рассчитывали получить в ходе реформы компенсацию за утраченные привилегии.

Близкие к царю либерально настроенные деятели, наоборот, стремились сделать земства всесловесными, превратить их в органы национального примирения, наделить земства широкими полномочиями, дать им возможность составлять местный бюджет, сделать относительно независимыми от государственных органов. По мысли инициаторов реформы дворяне, купцы, интеллигенция, мещане, крестьяне, работая в земствах бок о бок, стали бы лучше понимать друг друга, ослабла бы межсословная рознь, разъедавшая Россию. Таким образом, земства стали бы базой дальнейшего раскрепощения и активизации народных низов.

В 1870 развернулась реформа городского управления. Распорядительными органами власти в городах становились городские Думы, а исполнительными – городские управы. Думы избирались раз в четыре года численностью от 30 до 72 человек в зависимости от численности населения. Управа состояла из 2-3 человек, действовавших под руководством городского головы. К выборам в Думу допускались лица, достиг-

шие 25 лет, платящие городские налоги и подати. Участвовать в выборах разрешалось только мужчинам, за женщин, удостоившихся права голоса, могли голосовать только их отцы, мужья или братья. Наемные рабочие и интеллигенция, не владевшая недвижимой собственностью, к выборам не допускались. Полномочия городских органов самоуправления были аналогичны земским: местные пути сообщения, учреждения народного образования, больницы, тюрьмы, снабжение населения продовольствием, приюты, дома престарелых, инвалидов и т.п.

Но вот... И сейчас последуют злосчастные НО. Сильнейшее разочарование постигло мужиков, когда они узнали условия наделения землей. Надел они получили совсем не такой, какой ожидался. К тому же, за него надо было платить разорительный выкуп. Зависимость крестьян от помещиков тоже продлевалась на долгое время.

И «свободному» крестьянину предстояло все то же ожидание царской милости и дарованной им воли. Деревня по-прежнему не понимала, почему земля, которая, как воздух или вода, принадлежит только Богу, занята не ими, а теми, кто на земле не работает. Опыт применения земельной реформы настоятельно говорил, что условия поземельных отношений надо менять, и чем раньше, тем лучше. Александр II взялся за это, но сделал это слишком поздно, в начале 1881г., менее чем за два месяца до своей гибели.

Кроме тяжкого выкупа, крестьянам было уготовлено малоземелье. Крестьяне получили не по 8-10 десятин, как задумали реформаторы, а по 4-5. И эти небольшие наделы приходилось делить, дробить, чтобы дать хоть крошечную полоску вырастающим сыновьям. Приводило это к полному безземелью младших, к обнищанию и тех, и других, к размышлениям о несправедливости, к поискам выхода из жизненного тупика. В мужицких сердцах крепла ненависть к своему старому врагу-барину и желание расправиться с ним. 4 апреля 1866 г. Александр Николаевич Романов – царь-реформатор с недоумением спросил неудачно покушавшегося на него Дмитрия Каракозова: «За что ты так?». В ответ он услышал: «А какую волю ты народу дал?». Так стихийно, спонтанно, без участия какой-либо организации, волею героя-одиночки излилась тяжесть обманутой народной мечты о земле и воле и глубина разочарования в царе-батюшке. Будь у этого императора побольше мудрости и почтения к народу, он мог бы уже тогда глубоко и серьезно озаботиться итогами крестьянской реформы, внести в нее необходимые коррективы. Но эйфория от титула «Царь-освободитель» не дала ему возможности сделать это своевременно, склонила к мысли, что покушение не результат

19 февраля 1861 г., а случайное недоразумение. Отменив непосредственную власть помещика над мужиком, царизм не прибавил свободы членам сельской общины. Общинность, круговая порука еще больше, еще жестче закреплялись. Можно было и нужно было дать крепким хозяевам возможность выйти из общины. По прикидкам специалистов, к началу XX в. в России могло быть 10% фермерских из общего числа хозяйств, что облегчило бы модернизацию сельского хозяйства и способствовало бы более успешному проведению реформ Витте-Столыпина.

Не привела к ожидаемым результатам и земская реформа. Земства, безусловно, сработали на некоторое улучшение обстановки в уездах, но они были введены лишь в 34 из 59 российских губерний и 16 областей. Переданные земствам средства не превышали 40-50 тысяч рублей в год, а содержание земских учреждений обходилось в 80-100 тысяч рублей. Противникам земской реформы удалось путем внесения в проект закона соответствующих поправок добиться преобладания в составе земских органов дворянства. Всесословность органов местного самоуправления, предполагавшаяся в проекте закона, привела, напротив, к усилению дворянства. О сословном примирении в земствах теперь не могло быть и речи.

В городах избиратели составляли всего лишь 5-6% от общего числа жителей. И вместо того, чтобы сблизить позиции правительства и общества, реформы еще больше разъединили их. Не изменили этой тенденции и преобразования в области просвещения и цензуры.

И так было во всех реформируемых сферах, за исключением только военной. Начинали смело, решительно, без особой оглядки на консерваторов и реакционеров, но под давлением последних из опасений «бунта на корабле» меняли прогрессивных государственных деятелей на реакционеров, позволили попятное движение, пошли на уступки ярым ревнителям старинного уклада жизни. Так сказались на судьбе реформ Александра II его непоследовательность, нерешительность и всё то же опасение «бунта на корабле». Уж на что был крут Пётр I, как ни ломал он старинные порядки, как ни казнил непокорных, организованного противодействия царю-реформатору недовольные создать не могли, и император добился своего. К сожалению, Александр II не обладал такими чертами характера. Не тех он слушал и не тех он вешал. Наступление реакции вызвало революционную ситуацию. Потребовались тяжелые испытания, война правительства с революционным народничеством не на жизнь, а на смерть, чтобы верхи начали осознавать необходимость изменений в политическом строе страны.

Самый, пожалуй, прогрессивный и самый результативный из министров Александра II Дмитрий Алексеевич Милютин так оценивал в 1879 г. положение дел: «Действительно нельзя не признать, что всё государственное устройство требует коренной реформы снизу до верха. К крайнему прискорбию, такая колоссальная работа не по плечу нынешним государственным деятелям, которые не в состоянии подняться выше уровня квартального». Во всех слоях русского общества открыто говорили о неотвратимости перехода к конституционной монархии, к ограничению самодержавной власти путем учреждения в качестве высокого законосовещательного органа при царе собрания представителей всех сословий российской империи. Круг замкнулся: через 60 лет страна снова остановилась перед тем, что в 1818 г. вознамерился, было, установить Александр I. А ведь за это время можно было сделать очень много для осовременивания государства, для совершенствования работы государственного аппарата и всех государственных механизмов.

60 лет – это пятая часть срока, отпущенного историей династии Романовых. Если представить этот срок в виде человеческой жизни продолжительностью 80 лет, то получается, что 16 лет как бы выпадают из его биографии. Он прожил уже 16 лет, а у него еще нет ни детства, ни отрочества, он как Маугли, которого невозможно ни приручить, ни научить чему-либо. Романовы, правда, в 1905 году кое-чему научились, но доучиться окончательно времени у них уже не оставалось. Столько времени потеряно! «Скулы сводит», воистину «за державу обидно».

Удивительно, что и во многих частностях правление Александра II тождественно манерам его предшественников. Александр I «не заметил» предложенной ему декабристами помощи для осовременивания монархии. Александр II не захотел принять аналогичных услуг от вожаков социалистического движения начала 60-х гг XIX века. Николай Серно-Соловьевич приготовил царю проект Уложения, который вполне сравним с проектом введения в России конституционной монархии. В нем говорилось, что вся власть в стране принадлежит государю-императору: особа которого считается священной и неприкосновенной. Всесловное собрание принимает новые законы, рассматривает государственный бюджет, устанавливает налоги под руководством царя, царь единолично ведает вопросами внешней политики, высших государственных кадров и т.д. Странная для революционера и социалиста конституция, не правда ли?

Еще более серьезное заявление было сделано радикалами в конце 1862 года. Их трезво мыслящий лидер Н.Г. Чернышевский написал

Александр II пять писем. Хотя печать их была запрещена, до царя они, несомненно, дошли. Для Чернышевского, к тому времени просидевшего в тюрьме уже не один месяц, эти письма стали последней и отчаянной попыткой объясниться со здравомыслящими членами правительства и с хозяином Зимнего Дворца. Правда, будучи реалистом, он предвидел реакцию власть держащих на свои послания и назвал это произведение воистину пророчески: «Письма без адреса». Он писал: «Как только в недрах общества поднялась либеральная волна, власть совершила ошибку, считая, что дворянство пришло в движение в силу сословных побуждений, но дело обстояло гораздо сложнее. В мыслях о реформе общего законодательства, об основаниях новой администрации на новых началах, о свободе слова **дворянство не является представителем всех сословий**. Не поняв этого, правительство загнало в заколдованный круг и власти, и всё общественное движение, обвиняя в трудностях кого угодно, только не себя». Таким образом, – продолжал он, – Вы сваливаете свои неудачи на нас, а некоторые из нас винят в своих неудачах Вас. Как хорошо бы оно было, если бы некоторые из нас оказались правы в таком объяснении своих неудач. Но грустно то, что никакие наши действия против вас или ваши против нас не смогут привести ни к чему полезному. **Народ не думает, чтобы из чьих-нибудь забот о нем выходило, действительно, что-нибудь полезное для него**».

Но и это не все. По словам Чернышевского, народные массы вскоре захотят сами взяться за ведение своих дел. Такая перспектива, казалось бы, должна радовать руководителей российских революционеров. Но у Николая Гавриловича вывод другой: он считает, что народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. **«Потому МЫ ТАКЖЕ ПРОТИВ ОЖИДАЕМОЙ ПОПЫТКИ НАРОДА СЛОЖИТЬ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОПЕКУ И САМОМУ ПРИНЯТЬСЯ ЗА УСТРОЙСТВО СВОИХ ДЕЛ. И мы готовы для отвращения ужасающей нас развязки ЗАБЫТЬ ВСЕ: И НАШУ ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ, И НАШУ ЛЮБОВЬ К НАРОДУ»**.

Так ОН хотел, как лучше...

Дальнейшее в судьбе Н.Г. Чернышевского до банальности известно: гражданская казнь, десятилетия каторги и одиночного заключения в тюрьме, специально для него построенной. Прав был Иисус Христос: «Не мечите бисер перед свиньями».

Отход от николаевского деспотизма у Александра II тоже не получился. Послабление вольностям оказалось мерой временной, оттепелью.

Едва революционное движение начало показывать коготки, он с легкостью возвратился к закручиванию гаек, к силовой вседозволенности.

Ни в одно из царствований XIX в., считают некоторые специалисты, не было так много казней, как в царствование сына Николая I. Говорят, такая жестокость была вынужденной, должна была устрашить и усмирить революционеров-террористов конца 1870-х годов. Но Александр Николаевич не мог похвастаться мягкостью и в 60-е гг.

Не было ни одного случая, чтобы в кассационной процедуре, при конфирмации судебных приговоров он смягчил вынесенное судьями наказание. Напротив, он обязательно ужесточал приговор. Сергею Нечаеву, получившему от суда 20 лет каторги, он заменил заключение в Петропавловскую крепость: НАВСЕГДА. При этом слово «навсегда» подчеркнул дважды и приказал именовать его исключительно по номеру каземата.

Действия самодержца в нечаевском эпизоде можно как-то оправдать. Как-никак, а был убит невинный человек, организовано противоправительственное сообщество, которое, кстати, ничего преступного не совершило и к убийству студента Ивана Иванова не имело никакого отношения. Но был ведь совершенно вопиющий случай, в котором как в увеличивающем стекле, видны и нездоровые, пусть и эпизодические, наклонности Александра II к расправе, и его безжалостное самоуправство, и равнодушие к судьбам людским. Вот об этом случае, практически не фигурирующем в статьях об Александре II, считаю долгом историка рассказать. Другие выходки Александра Николаевича, такие как, крик и топанье ногами, а то и плевки на провинившегося, можно считать мелочью и опустить.

Речь пойдет о Михаиле Степановиче Бейдемане. Он родился в дворянской семье в Бессарабии. Закончил свое образование в Константиновском военном училище, вышел из него в звании поручика. Летом 1860 года по разрешению начальства навестил престарелых родителей, но из отпуска к месту службы не явился, тайком эмигрировал. Провел за границей 14 месяцев. При попытке возвращения на родину его задержали на русской границе и 29 августа заключили в Петропавловскую крепость.

При досмотре личных вещей на дне коробки с папиросами был обнаружен порванный на мелкие куски документ. Когда обрывки соединили, оказалось, что это манифест от имени Константина I. В «манифесте» утверждалось, что Александр II царствует незаконно, что при «законном царе Константине народ русский будет управлять сам собой, а чиновники и всякая канцелярская челядь будут изгнаны». Прочсть это литературное упражнение можно в книге «Алексеевский равелин» (Том 1,

стр. 48-49). С какой целью писал Бейдеман такую ересь, неизвестно. Вероятно, при его импульсивном характере, в порыве озорного молодчества он шутейно поиграл в самозванца Константина, затем, остыв, разорвал плод веселого воображения, а клочки бросил в стоявшую рядом пустую коробку. Затем, позабыв о них и не заметив, заполнил коробку папиросами и так отправился к русской границе. Успей он выбросить забытые клочки бумаги, жизнь его прошла бы совершенно иначе, но беспечный офицерик забыл о них, и это повлекло за собой не трагедию даже, а немислимую катастрофу.

Узнав о содержании находки, монарх распорядился поместить Бейдемана в Алексеевский рavelин *без суда* и содержать там впредь до особого распоряжения. Во все последующие годы царствования Александра Николаевича особого распоряжения не последовало. Он желал жестоко наказать дерзнувшего считать его права на престол незаконными. Именно за это, только за мысль неизреченную, Бейдеману досталось провести в стенах секретного дома 20 лет.

Самое мучительное страдание причиняло ему неведение: он ожидал суда и наказания, определенности, какой угодно, но определенности, а дни тянулись, не принося никаких известий о дальнейшей судьбе. Он писал объяснения, вызывал к себе «главноуправляющего» 3 отделением, рассказывал о своей жизни, но не раскаивался. Более того Бейдеман давал правительству пространные советы, но дальше канцелярских папок они не проходили.

Узник не просил о помиловании – он излагал свои взгляды. Власти же ждали от него полного признания, объявления фамилий соучастников, а их не было. 11 июля 1864 года управляющий III отделением генерал Потапов докладывал Александру: «Он в заточении совершенно потерял все волосы на голове, наружный вид его безжизненный» (Алексеевский рavelин, том 2, стр. 90-91). Далее Потапов писал, что Бейдеман даже не просит о помиловании, хотя взгляды его переменялись в сторону благонамеренных, в чем он вполне уверен. Глава политического сыска понимал, что положение Бейдемана невыносимо и его необходимо изменить, как бы ни велика была вина Бейдемана перед престолом. Но и на просьбу близкого своего подручного царь ответил молчанием.

Каким-то чудом Бейдеману удалось дать знать о себе родственникам. В конце 1864 года их просьба о разрешении свидания вынудила III отделение дать ответ, что для свидания возможности не имеется.

18 октября 1868 г., отсидев в полной изоляции от внешнего мира более 7 лет, Михаил Степанович отправил на высочайшее имя проше-

ние с мольбой о помиловании – ответа не последовало. 8 июля 1869 г. новый крик о пощаде достиг царских апартаментов – снова молчание. С 15 октября 1866 г. он был единственным заключенным секретного дома Алексеевского рavelина, шли самые страшные и тягостные годы его заточения. В таком полном одиночестве Михаил Степанович прожил более 6 лет.

28 января 1873 г. он ощутил какую-то перемену в тюрьме, вторжение чего-то инородного в размеренное течение режима. Из коридора до его камеры № 15 донеслись едва различимые звуки. Там происходило вселение нового заключённого, коим оказался Сергей Геннадьевич Нечаев. Во второй половине 70-х Михаил Бейдеман тронулся рассудком и несколько лет находился в тюрьме без всякой медицинской помощи. Он бегал по холодному каземату, ударялся в стены и оглашал рavelин безумными воплями. Он перестал быть опасным для правительства, но из тюрьмы его не выпускали. Для чего? Для того, чтобы его вопли и припадки бешенства приближали к грани сумасшествия и других арестантов, поэтому Сергея Нечаева поместили рядом с камерой Бейдемана, в расчёте сломать его психику. После смерти Александра II, летом 1881г. Михаила Степановича перевели в Казанскую психлечебницу, где он и умер осенью 1887г., после 26 летнего одиночного заключения, без вины, без следствия, без суда. Вот таким бывал Александр Николаевич Романов, одной рукой подписывавший демократические следственно-судебные приговоры, другой отменявший просьбы о снисхождении, пощаде и помиловании.

Свидетельством двойных стандартов в поведении нашего «человеколюбивого и милостивого» государя вполне является его отношение к приговорам суда по делу нечаевцев. Даже если не брать во внимание, что в подозреваемые по этому делу хватало кого попало, отчего под суд пошли более 100 человек, из которых несколько десятков были оправданы. Пока шли суд да дело, двое подозреваемых умерли, двое сошли с ума. Виновными признали 37 человек, 44 оправданы, 26 приговорены к заключению в смирительном доме, 25 человек приговорены к заключению в тюрьме сроком от 2 месяцев до 1 года 2 месяцев с отдачей после заключения под строгий надзор полиции на 5 лет. Трое приговорены к кратковременному аресту при тюрьме, и одна освобождена по закону о невменяемости преступления.

Монарх с самого начала процесса выражал явное неудовольствие «мягкостью» судей. Судьи же вовсе не выгораживали обвиняемых. Скорее, наоборот: кажущиеся недостаточными наказания – свидетельства

того, что и судить-то людей было не за что, но если попал в подозрение, должен что-нибудь да получить.

Специалисты пришли к выводу, что судьи в полной мере следовали духу утверждённых царём новых судебных постановлений. Они и так сделали достаточно: настроили общественное мнение против нечаевцев, и на несколько лет отвратили молодых людей от близости к революционерам. Императора не интересовали ни законы, ни им же утверждённые основы судопроизводства. «Результат, по-моему, неудовлетворительный. Такие приговоры нельзя считать для виновных заслуженным наказанием, но поощрением к составлению новых заговоров. Требую, чтобы министр юстиции представил мне свои соображения о том, какие следует принять меры для предупреждения появления подобных приговоров, вызывающих негодование и опасения о всех благомыслящих людях». (ГАРФ, Ф. 124, оп. 1, д.1, л.78).

В скором времени мягкие и оправдательные приговоры сильно уменьшились в числе. В правительственном Сенате было создано особое присутствие, в которое передавались дела о политических преступниках. Из общеуголовных судов эти дела изымались. Юристы называют этот поступок Александра Николаевича Романова началом контрреформ. Во исполнение требования царя ужесточить кары политическим. Все оправданные по делу Нечаева были высланы из Петербурга и Москвы. «Коль арестован был, то виноват. И суд тут ни при чём». Кроме того, 87 человекам было запрещено продолжать обучение или учительствовать.

Уловив главное в романовской политике: «Сказать – не значит сделать» преследователи крамолы распоясывались всё более, всё масштабнее. Совершенно безобидные общественные течения типа «Хождение в народ» в докладах царю подавались как серьёзный подрыв государственных устоев. В 37 губерниях было арестовано свыше 1,4 тысяч народников, а следствие по их делу растянулось на четыре года. Всё это время многие арестованные содержались в одиночных камерах, в результате 43 человека умерли в тюрьме, 12 человек совершили самоубийства, 3 покушались на самоубийство, 38 сошли с ума. Не добавил лавров в венец Александра II и процесс 193-х или большой процесс, начатый в октябре 1877 г. Несмотря на все ухищрения прокуратуры и специально подобранных судей, 90 подсудимых после 3-4-летнего заключения были оправданы за отсутствием за ними достаточных улик, против многих других обвинения не выдерживали серьёзной критики. Начиная с этого момента, симпатии общества бесповоротно склонились на сторону невинно пострадавших социалистов.

Очень убедительно мирные устремления передовой российской молодежи при «хождении в народ» показал бывший член Исполнительного комитета «Народной воли» Лев Александрович Тихомиров в своей книге «Критика демократии». Он категорически опровергает, что народники явились преемниками созданной Сергеем Нечаевым террористической организации «Народная расправа». Передовая молодежь отшатнулась от идей Нечаева и считала для себя позором быть в чем-либо с ним солидарной. «Самого Нечаева считали агентом полиции, провокатором. С тех пор, можно считать, заговорщиков не существовало. Влияние эмиграции было также ничтожно. Герцен давно уже отстранился, как будто с некоторой брезгливостью, от нигилизма. Около Бакунина молодежь вертелась, но на России это никак не отражалось. Кропоткин П.А. тогда еще занимался изучением геологии Финляндии. В общей сложности перелом с 60-х на 70-е был временем такого затишья, какого я потом никогда не видал» (Тихомиров Л.А. Критика демократии, стр. 43).

«За первые два года в университете я не помню даже одного разговора о политике. Да и по студенческим квартирам они были вялы, редки, скучны. Пили тогда очень усердно. Большинство студенчества думало тогда об успешной карьере. Другие тосковали, не находили себе места, но тишина была полная.

В это время затишья родился кружок Н. Чайковского в Петербурге. Этот кружок не вносил решительно ничего нового. Он делал то, что делали все остальные культурные деятели революции, т.е. ничего прямо бунтарского тут не было. Но кружок превратил массу молодежи из простого пассивного объекта культурной работы в деятельный фактор ее. В этом только и состояла оригинальность. Чайковцы сами выросли из кружка самообразования, но породили их систематическое расширение потом по всей России. Чайковцы приняли деятельное участие в издании и распространении литературы, создаваемой нашими тогдашними передовыми людьми. Кружок скоро стал распространять столько книг, что ему позавидовала бы любая издательская фирма. Собственных изданий у него было немного. Большинство книг он скупал, брал на комиссию, распространяя среди молодежи по удешевленной цене, возмещая убытки сборами и пожертвованиями. Создаваемые им кружки принимали деятельное участие во всей этой работе. Молодежь не только самообразовывалась, но и образовывала других, не только читала, но и распространяла, оживлялась одними и оживляла других. Движение демократизировалось, стало достоянием не только передовой аристократии, а передовой массы. В этом – всё революционное значение кружка чайковцев.

Он поставил ряд вожаков для всех направлений последующего движения, но он их не создал, а только пропустил сквозь себя. Не он выработал их идеи, но он расшевелил массу, вывел ее из апатии, из бездействия. Это значило сделать все.

Нечаев только пришиб молодежь, усилил апатию. Чайковцы, напротив, чутьем угадали надлежащую дозу удара. Они только чуть-чуть выдвинулись из фронта общего культурно-революционного движения, сделали лишь ближайшие его выводы, превратили в массовое...». (Тихомиров Л.А. Критика демократии, с. 46).

И далее: «Период массового самообразования и распространения книг тянулся недолго. Каждый из нас скоро убеждался, что все книги говорят одно и то же. Поэтому скоро образование каждый прекращал. Оставалась одна общественная задача: образование других, распространение прочитанных и нечитаемых книг между другими. ...Вопрос об уничтожении существующего строя и замены его новым оставался между нами в таком же тумане, как и 3-4 года назад. Но перед этим вопросом мы уже не могли и не хотели сидеть в пассивной тоске. Мы двинулись в активное искание выхода. ...«Хождение в народ» по своей хаотичности, по детской наивности и невообразимому непониманию действительного положения дела, по множеству отдельных маскардных глупостей может заставить пожимать плечами: настоящая поездка Дон Кихотов. И, однако, вспоминая то шальное время теперь уже со стороны, я не могу не видеть, что в конце концов молодежь была виновата лишь в чрезмерном доверии к рассказам передовой литературы. Если бы народ был действительно тем, чем его нам изображали, движение было бы далеко не смешным. ... Мы не имели понятия о народе, о его стонах и радостях, о его действительных бунтах, о его воззрениях на свободу и неволю. Сидит, бывало, какая-нибудь хорошенькая барышня в золотом пенсне, в модном платье, которого еще не успела переменить на, якобы, крестьянские лохмотья, и тоненьким голоском распевает: «Свобода-свободушка, воля вольная, что ж ты к нам, лебедушка, нейдёшь, не летишь?» И так искренне выводит, так глупо, с таким убеждением, что эта песня, найденная у какого-то крестьянина при обыске, становится тяжелой уликой. Бедные-бедные, желторотые, нелегко им пришлось расплачиваться за «разбитые горшки!» (Тихомиров Л.А. Критика демократии, с. 47).

Еще более яркой иллюстрацией этой темы может быть небольшой фрагмент из книги В.Я. Богуславского «Активное народничество 70-х гг.», приводимый Д.С. Мережковским в его эссе «Революционное народничество». Один из участников «Хождения в народ» пи-

сал: «Движение это едва ли можно назвать политическим. Оно было каким-то крестовым походом: социализм был его верой. Как в очевидное все верили, что не сегодня-завтра произойдет революция. Подобно тому, как в средние века люди иногда верили в приближение страшного суда, это была какая-то сказка, сон наяву, крестовый поход детей. Это явление – новейшее не только в русской, но, может быть, и всемирной истории.

По возрасту большей части – все девочки и мальчики. Одевшись в полушубки и сарафаны, идут они на Волгу, в Оренбургский край, в Киевскую, Подольскую, Екатеринбургскую губернии, доходят до самого Крыма. Идут от моря и до моря, по всей европейской России. Идут безоружные, ничего у них нет, кроме нескольких фальшивых паспортов да 30 плохих револьверов. Ничего им не нужно, потому что верят, веруют. Тут многое от детскости, школьнической удали, мечтательного рыцарства, донкихотства самого невинного». (Мережковский Д.С. Было и будет., стр. 58)

А еще раньше о так называемом «дьяволе в юбке», «безжалостной казнительнице» Софье Львовне Перовской, до последнего стоявшей за просветительскую работу в народе и пришедшей в «Народную волю» по нерасторжимости дружбы, как говорят, «за компанию»: «Настоящая подвижница, монахиня в миру, она – существом своим – одна деятельная любовь к людям. Живет с рабочими под паспортом жены мастера, делается для них сестрой милосердия. В повязанной платком мешанке, в ситцевом платье, в мужских сапогах, таскавшей воду из Невы, кто узнал бы в ней барышню, которая недавно блистала в петербургских аристократических салонах?! Она похожа на одну из тех древнеримских патрицианок, которые шли к рабам с благой вестью. «Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но доделать его надо», – говорила она так же просто, как те христианские мученицы первых веков (там же).

Идут политические процессы. Например, за 1 только год с сентября 1876 по сентябрь 1877 г. – прошло 17 процессов. Число подсудимых постоянно увеличивается. В феврале 1877 г. судят 50 человек, 18 октября 1877 г. начинается процесс 193-х. Подсудимые, как правило, молоды: 20-25 лет, в их числе немало женщин. А выстрел Веры Засулич показал, что русские женщины решили не ограничиваться пропагандой. Покушение на Александра II не состоялось бы 1 марта 1881 г., если бы в числе наиболее авторитетных членов Исполнительного Комитета «Народной Воли» не оказалось 27-летней Софьи Перовской.

Хотя Александр II отказывался дать согласие на конституцию, граф Лорис-Меликов осторожно подводил императора к мысли о её необходимости. Подписав утром 1 марта 1881 г. проект указа о создании общественной комиссии, в которую вошли бы правительственные чиновники и представители земств и городов для рассмотрения реформы российского абсолютизма в конституционную монархию, царь сказал сыновьям: «Я дал согласие на это представление, хотя и скрываю от себя, что мы идём по пути конституции». (Милютин Д.А. Дневник, Т.4, стр. 62).

Рассказы пропагандистов о прелестях социализма, с такой злобой воспринимавшиеся полицией и судьями, переросли затем в террор, открывшийся выстрелом Веры Засулич и ударом кинжала Сергея Кравчинского. Горячие молодые головы не могли простить несправедливой жестокости – гибели своих товарищей по борьбе и в качестве ответа выбрали крайние меры. Одобряемое обществом террористическое направление русской революции становилось всё более беспощадным и организованным. Стихийное, разрозненное хождение в народ теперь навело романтиков-идеалистов на мысль о создании революционной организации, и она не замедлила появиться. Началось с «Земли и Воли», кончилось «Народной Волей» и убийством Александра II по приговору Исполнительного Комитета Народной Воли.

Владимир Бурцев, как раз в эти годы окончательно определившийся в своих политических предпочтениях, с жаром, самозабвением погрузился в революционную работу и поэтому хорошо знал, о чём говорит в воспоминаниях: «Правительство боялось общественной инициативы и боролось со всеми проявлениями общественной свободной жизни. Хотя платонически, но сочувствие революционерам, несомненно, было общее. Выражалось это в сочувствии политическому террору и, в частности, царубийству. Террористы были выразителями общественного протеста, больше того – надеждой общества. Террора хотели и ждали. Против террористов, если негодовали иногда, то только за то, что они действовали неудачно или совсем не действовали. Между обществом и правительством был полный разрыв. У них не было общего языка. Разъединение народа и общества было чревато печальными последствиями. То, что было в начале 1917 г., имело свои корни в этой отчуждённости правительства от всего живого в стране». (Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию, стр. 12). Бурцев был человеком, вовлечённым в борьбу. Он мог быть необъективным – следовательно, лицом заинтересованным. Но вот мнение человека с абсолютным авторите-

том в глазах историков – мнение военного министра в правительстве Александра II Дмитрия Алексеевича Милютина. «Никогда ещё, – писал он в 1880 г., – не было представлено столько безграничного произвола администрации и полиции. Но одними этими полицейскими мерами, террором и насилием едва ли можно прекратить революционную подпольную работу. Трудно искоренить зло, когда ни в одном слое общества правительство не находит ни сочувствия к себе, ни искренней поддержки». В подтверждение Милютинского (Бурцевского. В.Г.) взгляда на политическую обстановку в России конца 70-х начала 80-х г.г. XIX века можно привести рассказ непререкаемого авторитета – Фёдора Михайловича Достоевского. О нём поведал в своём дневнике знаменитый журналист и издатель А.С. Суворин. Вот цитата из этого дневника:

«Представьте себе, – горячился Фёдор Михайлович, – что мы с вами сидим у магазина Дациро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Пошли бы Вы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к полиции, городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

Нет, не пошел бы.

И я не пошел бы...»

Если такую позицию занимал преданнейший охранитель монархии, что ж тогда говорить о несогласных с самодержавием? Они тянулись к револьверу, кинжалу и бомбе. Потому-то и стали афоризмом тогда скучные, но броские слова П.А. Гейдена: «Самодержавие есть путь к революции, ибо рабство и бунт неразделимы!».

В свете вышеизложенного возникает вопрос: «А так ли уж грешны, так ли виновны перед Россией народники и народовольцы?» Пишущему эти строки предстояло раскрыть читателям эту проблему. Но тут, на счастье, попала в поле внимания пишущего статья Н.А. Троицкого «Друзья народа или бесь», публиковавшаяся уже давно в журнале «Родина» (№2 за 1996 г.). Пишущему осталось лишь благодарно уступить свою роль: настолько блистательно сделана Троицким его работа. Ведь автором правит не тщеславное графоманство, а стремление раскрыть объективную обстановку в России в начале разгара русской антимоноархической революции. Итак, дилетант уступает слово талантливому профессионалу.

*Николай Троицкий,
доктор исторических наук*

Друзья народа или бесы? Как и кого защищали народники

Едва ли найдется в отечественной истории до 1917 года другой феномен, оценки которого так менялись бы в зависимости от политической конъюнктуры. Современники воспринимали народников адекватно своему миропониманию: революционеры – как самоотверженных борцов за освобождение трудящихся от самодержавного гнета; либералы – как благородных, но безрассудных донкихотов с праведными идеалами и нерациональными средствами борьбы; охранители – просто как злодеев. Оценки разные, но понятные, даже естественные. В советское же время то прославляли народников, то охаивали их, то предавали забвению саму память о них. Сегодня входит в моду критика народников с охранительных позиций.

Делается это так. Историки и (главным образом) публицисты цитируют прокламацию П.Г. Заичневского «Молодая Россия» (1862) и «Катехизис революционера» С.Г. Нечаева (1869) как документы, типичные для народничества, а нечаевщину выдают за уродство, якобы органически свойственное народническому движению, его родовое отличие. Партию «Народная воля» изображают преимущественно или даже всецело террористической. Между тем «Молодая Россия» к народникам 70-х годов никакого отношения не имеет. О ней и в 60-е годы мало кто знал, а в 70-е вспоминали единицы. Нечаевщина же была дружно отторгнута ВСЕМИ (за ничтожным исключением) народниками как аномалия, «олицетворенная срамота» (по выражению С.М. Кравчинского), из которой они извлекли «практический урок: ни в каком случае не строить революционную организацию по типу нечаевской, не прибегать для вовлечения в нее к таким приемам, к каким прибегал С.Г. Нечаев». Что касается «Народной воли», то неопровержимые факты и документы свидетельствуют: ни в программе партии, ни в ее деятельности террор никогда не занимал главного места.

Вместе с нечаевщиной народники начала 70-х годов отвергли саму идею централи зованной организации, которая так уродливо преломилась в деятельности Сергея Геннадиевича. Настало время кружковщины. Народники тогда, как правило, не признавали ни централизма, ни дисциплины, знать не хотели о каких-либо уставах и правилах и стремились «к полной индивидуальной самостоятельности». В результате движение

народников вплоть до 1876 года сохраняло парадоксальный характер: возрастая количественно, оно дробилось, мельчало в организационном плане.

Зато в кружках 70-х годов народническая молодежь укреплялась (опять-таки в противовес нечаевщине) нравственно. Все кружки жили тогда страстными дискуссиями о судьбах России и путях ее преобразования, а в основе этих дискуссий «лежали вопросы нравственные».

Именно на самоотверженной преданности своему делу, на взаимном уважении и доверии единомышленников строились все (за редчайшими исключениями) народнические кружки 70-х годов, особенно те из них, которые входили в федеративное Большое общество пропаганды (так называемые «чайковцы»). Сами «чайковцы» свидетельствовали, что в их обществе «все были братья», «все знали друг друга, как члены одной и той же семьи, если не больше», и никто из них не проявлял «ни малейшего поползновения генеральствовать над другими». Среди них не было, по наблюдению очевидца, «ни главнейших, ни последних, ни больших, ни меньших, ни активных, ни пассивных; следовательно, — ни головы, ни хвоста», а все были «равнозначащи». П.А. Кропоткин, тоже бывший «чайковец», на склоне лет вспоминал о них: «Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью».

Все народники первой половины 70-х годов в противоположность Нечаеву руководствовались правилом: «не только для народа, но и посредством народа». Высшей целью народников было тогда освобождение русского народа, которому они буквально поклонялись, как «самому даровитому из всех народов европейских», и сострадали в том, что он «за все свое историческое мученичество должен влачить такую нищенскую жизнь, ставящую его ниже даже негров Либерии». При всей пестроте народнического движения значительный, а в ряде кружков и основной его контингент составляли выходцы из сословных верхов, «кающиеся дворяне», стремившиеся искупить невольную вину своего привилегированного положения. Они сочли себя ответственными за народные бедствия, не считая себя «тряпками, слепцами, чтобы не сказать негодьями, которые могут наслаждаться оперой, театром, картиной, между тем как народ, которому они всем обязаны, мрет с голоду».

Все народники, начиная с А.И. Герцена, были социалистами, но их социализм означал не что иное, как «экономическую справедливость» при «полном демократическом равенстве», то есть обеспечение всестороннего (материального, гражданского, духовного) благополучия народ-

ных масс. «Социализм был его верой, – писал С.М. Кравчинский о народнике 70-х годов, – народ – его божеством».

Первой попыткой народников воплотить в жизнь идею такого социализма стало знаменитое «хождение в народ» 1874 года. Народники и здесь действовали не по-нечаевски. Нечаев стремился разжечь – не подготовить, а именно разжечь, даже спровоцировать любыми средствами – крестьянский бунт в сочетании с «разбойничьим бунтом», ибо, мол, «дикий разбойничий мир» и есть «истинный и единственный революционер в России». Народники же полагались на разум и волю миллионов русских крестьян. Правда, о том, как поднимать народ на борьбу за свободу, народники рассуждали по-разному. Одни, по Бакунину, считали, что народ сам уже осознал необходимость революции, и надо лишь подтолкнуть его к восстанию; другие, по Лаврову, готовились будить революционное сознание путем пропаганды; третьи (среди них и «чайковцы») предполагали сочетать в своей деятельности пропаганду, агитацию и организацию. Однако все они были заодно в главном: только сам народ осознанно может решить, необходима ли революция и готов ли он к ней.

Размах «хождения в народ» 1874 года был для России беспрецедентным. Все кружки (общим числом больше 200) в полном составе пошли в деревню, к крестьянам. Вся европейская часть России (51 губерния!) была охвачена «хождением». «Целый легион социалистов, – читаем об этом в жандармском обзоре, – принялся за дело с такой энергией и самоотвержением, подобных которым не знает ни одна история тайного общества в Европе».

Единственным орудием этого «легиона» было слово – устное и печатное. Возник даже особый жанр «ряженой литературы» – пропагандистских книг, сочиненных народниками под видом сказок, былин, песен. Все они, как, впрочем, и шедевры литературной классики (М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. Некрасов, Т.Г. Шевченко, В. Гюго), которые тоже использовались в народнической пропаганде, главным образом ПРОСВЕЩАЛИ крестьян.

Итак, «хождение в народ» было мирным, пропагандистско-просветительным движением. Как реагировали на него крестьяне? По-разному. Большинство охотно слушали беседы народников о «хитрой механике» эксплуатации россиян, но оставались глухими к проповедям социализма и к призывам подниматься на борьбу. Были даже случаи, когда крестьяне выдавали слишком рьяных пропагандистов властям.

Цивилизованное правительство в такой ситуации сумело бы оценить и просветительский энтузиазм народников, и крестьянский имму-

нитет к самой идее революции, а наказало бы, причем умеренно, лишь необузданных бунтарей, которых сами народники прозвали «вспышко-пускателями». Вместо этого царизм обрушился на всех «ходебчиков в народ» (жандармская терминология) с жесточайшими репрессиями. Россию захлестнула такая волна арестов, какой страна еще не знала. То была поистине всероссийская облава. Жандармский генерал В.Д. Новицкий, который осуществлял «проверку числа арестованных лиц», насчитал таковых за 1874 год только по 26 губерниям больше 4 тысяч (М.И. Венюков по всей стране – до 8 тысяч).

Венцом расправы царизма с «хождением в народ» 1874 года стал процесс «193-х» – самый крупный из политических процессов за всю историю царской России. Почти 800 человек были привлечены к жандармскому дознанию, 265 – к судебному следствию, которое затянулось на 4 года. Тем временем подследственные томились в жутких условиях одиночных казематов, теряли здоровье, умирали. К началу процесса власти насчитали среди них 93 случая самоубийств, умопомешательства и смерти. Улик для обвинения народников в «злодейском» заговоре против существующего строя не доставало. В лучшем случае выяснялось, что тот или иной подсудимый вел «предосудительные беседы» и распространял «запрещенные книжки». Тем не менее, суд приговорил 32 человека к тюремному заключению, 39 – к ссылке, а 28 – к каторге на срок от 3,5 до 10 лет. «Таким образом, – отметил С.М. Кравчинский, – то самое, что делается совершенно свободно в любом западноевропейском государстве, у нас наказывается наравне с убийством». Правда, 90 обвиняемых, многие из которых отсидели по 3-4 года в предварительном заключении (!), суд за отсутствием улик оправдал, но Александр II высочайше повелел отправить 87 из них в административную ссылку.

Расправа не испугала, а лишь ожесточила народников. Рецидивы «хождения» случались и в 1875, и в 1876 годах. Но отныне народники стали воздействовать на крестьян не абстрактными рассуждениями о социализме, а призывами к удовлетворению их конкретных требований, прежде всего – ЗЕМЛИ И ВОЛИ, всей земли и полной воли. Так возникло осенью 1876 года общество «Земля и воля», названное в память о первой «Земле и воле» – народнической организации 1861-1863 годов (а для той придумал название А. И. Герцен). «Земля и воля» 1876-1879 годов строилась на жесткой основе централизма, дисциплины и конспирации. Это отличало ее от первой «Земли и воли» и придавало ей внешнее сходство с нечаевской «Народной расправой». В § 9 ее устава записан даже «нечаевский» принцип: «цель оправдывает средства», но с многозна-

чащей оговоркой: «исключая те случаи, когда употребленные средства могут подрывать авторитет организации». Далее устав «Земли и воли» уже вопреки Нечаеву декларировал: «все члены Основного кружка (то есть центральной организации землевольцев. Н.Т.) совершенно полноправны»; каждый из них «обязан всеми силами поддерживать честь и влияние как всей организации, так и отдельных членов ее», между ними «должна существовать полнейшая искренность и откровенность в деловых отношениях».

Для более эффективной пропаганды среди крестьян «Земля и воля» ввела систему «деревенских поселений». В отличие от «бродячих» пропагандистов 1874 года, которые общались с крестьянами мимолетно, землевольцы устраивались в своих поселениях «оседло»: учителями, писарями, фельдшерами.

Однако деревенские поселения тоже не приносили успеха. Крестьяне обнаруживали перед «оседлыми» пропагандистами не больше энтузиазма, чем перед «бродячими». Джордж Кеннан, изучавший тогда Россию, свидетельствовал, что народников, которые устраивались писарями, «скоро арестовывали, заключая об их революционности по тому, что они не пьянствовали и не брали взяток» (сразу было видно, что писаря не настоящие).

Обескураженные неудачей своих поселений, народники сочли ее главной причиной правительственной репрессии. Отсюда напрашивался вывод: надо сосредоточить усилия на борьбе с властями, на борьбе политической.

Не все деятели «Земли и воли» согласились с таким поворотом. Начались разногласия. Сложились две фракции – «деревенщиков» и «политиков». Спорили они, вопреки расхожему теперь мнению, не просто о выборе между пропагандой и террором. Документы свидетельствуют, что вопрос стоял шире: продолжать ли по-старому аполитичную пропаганду среди крестьян в деревне или переходить к политической борьбе с правительством, одним из средств которой должен стать «красный» террор в ответ на «белый» террор правительства. Разногласия обострялись. Антиправительственные, особенно террористические, акции «политиков» (главным образом покушение А.К. Соловьева на Александра II 2 апреля 1879 года) вызывали резкий протест со стороны «деревенщиков».

«Единственная перемена, которую можно с достоверностью предвидеть после удаchi вашей самой главной акции, – внушал «политикам» Г.В. Плеханов, – это вставка трех палочек вместо двух при имени «Александр»!»

«Земля и воля» вступила в полосу кризиса. После того, как попытки обеих фракций найти компромисс внутри общества (на съездах в Липецке и Воронеже летом 1879 года) не удались, «Земля и воля» тем же летом раскололась на две организации. «Деревенщики» объединились в «Черный передел», «политики» – в «Народную волю». Таким образом, как выразился Н.А. Морозов, было разделено само название «Земли и воли»: «деревенщики» взяли себе землю, «политики» – волю, и каждая фракция пошла своей дорогой.

«Черный передел» возглавили Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.И. Засулич. Их организация представляла собой как бы агонизирующую «Землю и волю». Старые пути и средства борьбы уже были исчерпаны, приток новых сил постепенно сходил на нет. Очень скоро кадры «Черного передела» либо эмигрировали (как все перечисленные вожди), либо перешли в «Народную волю», либо вообще отошли от революционного движения.

Зато численность и мощь «Народной воли» стали быстро расти, сделав ее самой крупной, сильной и авторитетной из всех русских революционных организаций XIX века, *первой в России политической партией*. Численность активных, юридически оформленных членов партии составляла 500 человек, но реально участвовали в ее деятельности в 10-20 раз больше. По ведомостям Департамента полиции, только за два с половиной года, с июля 1881 по 1883-й, подверглись репрессиям за участие в «Народной воле» почти 8 тысяч человек. Что же касается террора, то он был делом рук лишь членов и ближайших агентов Исполнительного комитета да нескольких сменявших друг друга метальщиков, техников, наблюдателей. В подготовке и осуществлении всех восьми народовольческих покушений на царя участвовали из рядовых членов партии 12 человек, известных нам поименно.

Таков был удельный вес террора в практике «Народной воли». Так предопределяла его партийная программа. Но как борьба вооруженная, как своего рода боеголовка революционного заряда «Народной воли», террор оказывался на виду, заслоня собой остальную, глубоко законспирированную работу партии. Обывательская молва отсюда заключала, что народовольцы вообще все или главным образом – террористы, а царские охранители намеренно раздували такое представление о народовольцах. Нынешние же филиппики историков и публицистов против «Народной воли» как партии террористической сочетают в себе и обывательское неведение, и охранительное пристрастие. Здесь важно подчеркнуть, что «красный» террор народников был исторически обусловлен, навязан им



А. И. Желябов
С фотогр. 1870-х гг.
Из собр. музея «Каторга и ссылка»

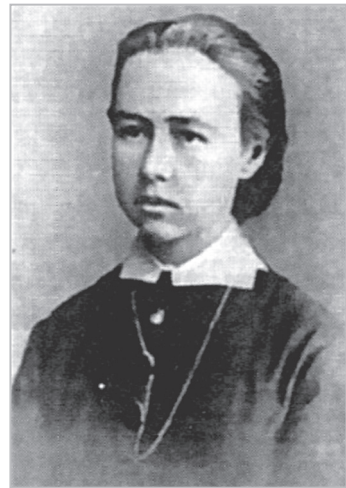
как ответ на «белый» террор царизма против мирного «хождения в народ». «Когда человеку, хотящему говорить, зажимают рот, то этим самым развязывают руки», – так объяснил переход от пропаганды к террору один из лидеров «Народной воли» Александр Михайлов («Дворник»).

Конечно, в семье не без урода: были среди народовольцев авантюрист Г.Г. Романенко, предатель Н.И. Рысаков, провокатор С.П. Дегаев. Но истинные герои «Народной воли» в любой цивилизованной стране были бы национальной гордостью. Это, в первую очередь, великолепный агитатор и организатор с интеллектом первоклассного государственного деятеля Андрей Иванович Желябов. Это и главный администратор «Народной воли», ее «Катон-Цензор» Александр Дмитриевич

Михайлов, которого товарищи метили в премьер-министры будущего демократического правительства. Это, конечно же, и высший моральный авторитет, «нравственный диктатор» партии (по выражению С.М. Кравчинского) Софья Львовна Перовская.

Из агентов (то есть фактически кандидатов в члены) ИК выделялся главный техник партии, гениальный изобретатель Николай Иванович Кибальчич – провозвестник космической эры, первым в мире (за 15 лет до К.Э. Циолковского) разработавший – в камере смертников! – проект летательного аппарата с реактивным двигателем.

Вообще среди народников 70-х годов было много высокоодаренных, культурных людей. Десятки из них стали (иные – после долголетней тюрьмы, ссылки, каторги) выдающимися учеными: трое – почетными академиками (Н.А. Морозов, Э.К. Пекарский,



Софья Перовская

Д.Н. Овсянико-Куликовский), восемь – академиками (В.И. Вернадский, М.М. Ковалевский, С.Ф. Платонов, Д.Н. Прянишников, Е.С. Федоров, А.Н. Бах, Д.П. Коновалов, Д.К. Заболотный), пятеро – членами-корреспондентами Российской академии наук, в том числе великий русский физиолог Н.Е. Введенский...

Некоторые публицисты и даже серьезные историки усматривают в «Народной воле» некий поворот к нечаевщине, ссылаясь при этом на общеизвестный факт, когда ИК обсуждал возможность освобождения С.Г. Нечаева из Петропавловской крепости. Но речь может идти не более чем о готовности ряда членов ИК задействовать в своих интересах личность Нечаева, чуждого «Народной воле» идейно и нравственно, но полезного по своим деловым качествам, подобно Ф.Н. Юрковскому (по кличке «Сашка-инженер»), о котором Вера Фигнер говорила: «Быть может, одного Сашку-инженера в партии иметь должно, двух можно, но терпеть трех невозможно».

Враги и критики «Народной воли» много (особенно в наши дни) говорят о том, что она злодейски преследовала и умертвила Царя-Освободителя. При этом замалчивается неоспоримый, кричащий факт: к концу 70-х годов царь, в свое время освободивший от крепостной неволи крестьян (хотя и ограбив их), снискал себе уже новое титуло: Вешатель. Это он утопил в крови крестьянское возмущение методами проведения реформы 1861 года, когда сотни крестьян были расстреляны и тысячи биты кнутами, шпицрутенами, палками (многие – насмерть), после чего выжившие сосланы на каторгу и в ссылку. С еще большей кровью Александр II подавил народные восстания в Польше, Литве и Белоруссии, где генерал М.Н. Муравьев в течение двух лет каждые три дня кого-нибудь вешал или расстреливал. Не случайна в этом контексте и жестокость царизма к народникам-пропагандистам 1874 года.

Когда же некоторые из народников в ответ на «белый» террор царизма начали прибегать с 1878 года к отдельным актам «красного» террора, Александр II повелел судить их всех по законам военного времени. За 1879 год он санкционировал повешение 16-ти народников. И.И. Логовенко и С. Я. Виттенберг были казнены за «умысел» на цареубийство, И.И. Розовский и М.П. Лозинский – за «имение у себя» революционных прокламаций, а Д.А. Лизогуб – за то, что он по-своему распорядился собственными деньгами, отдав их в революционную казну. Характерно для Александра II, что он требовал именно виселицы даже в тех случаях, когда военный суд приговаривал народников (Б.А. Осинского, Л.К. Брандтнера, В.А. Свириденко) к расстрелу. Стоило петербургскому военному

генерал-губернатору И.В. Гурко помиловать террориста Л.Ф. Мирского (вечной каторгой вместо виселицы), как царь кольнул его презрительным отzywом: «Действовал под влиянием баб и литераторов».

Все это ИК «Народной воли» учитывал, вынося смертный приговор царю. Лев Толстой, который знал об этом меньше, чем народовольцы, и тот восклицал в 1899 году: «Как же после этого не быть 1-му марта?». Действительно, за всю историю России от Петра I до Николая II не было столь кровавого самодержца, как Александр II Освободитель.

Русские народники в отличие от царских карателей (и от современных террористов) всегда старались – по возможности, конечно, – избегать в своих терактах посторонних, невинных жертв. Именно так они казнили шефа жандармов Н.В. Мезенцова, харьковского военного генерал-губернатора Д.Н. Кропоткина, проконсула Юга России В.С. Стрельникова, главаря тайной полиции Г.П. Судейкина, нескольких жандармских чинов и шпионов. Народоволец Н. А. Желваков даже осведомился у самого Стрельникова, точно ли он генерал Стрельников, прежде чем застрелить его. Царь же появлялся на людях только с охраной и свитой. Поэтому здесь народовольцы могли лишь свести число жертв к минимуму.

Все возможное для этого они делали: тщательно планировали каждое покушение, выбирали для нападений на царя самые малолюдные места – Малую Садовую улицу, Каменный мост, Екатерининский канал в Петербурге. Чреватый наибольшими жертвами план взрыва в Зимнем дворце все же исходил не из самой «Народной воли», а был предложен ей со стороны (лидером «Северного союза русских рабочих» С.Н. Халтуриным). ИК официально выразил сожаление по поводу жертв взрыва в Зимнем 5 февраля 1880 года, выставив вполне определенное условие (отказ Александра II от власти в пользу Учредительного собрания), при котором народовольцы готовы были прекратить свою «вооруженную борьбу». Царь, однако, и мысли не допускал о каком-либо (тем более всенародном) Учредительном собрании. Даже проект «конституции» графа М.Т. Лорис-Меликова, смысл которой сводился к образованию в лице временных комиссий (из чиновников и выборных от «общества») совещательного органа при Государственном совете, который сам был совещательным органом при царе, – даже этот проект Александр II согласился рассмотреть скрепя сердце, воскликнув при этом: «Да ведь это Генеральные Штаты!». 1 марта 1881 года за считанные часы до смерти он, вопреки бытующей донныне версии, одобрил не саму «конституцию», а лишь ее «основную мысль относительно пользы и своевременности

привлечения местных деятелей к совещательному участию в изготовлении центральными учреждениями законопроектов» и повелел созвать на 4 марта Совет министров для того, чтобы согласовать правительственное сообщение о лорис-меликовском проекте. Но этой инициативе не суждено было осуществиться. Реформы отца Александру Александровичу были не по душе еще тогда, когда он был наследником престола. Продолжать их он, естественно, не пожелал, хотя и дал слово над гробом отца, что исполнит свято его последнюю волю относительно созыва комиссии из представителей народа для участия их в разработке некоторых законопроектов. Окружив себя мракобесами К.П. Победоносцевым и Дмитрием Толстым с примкнувшим к ним ренегатом Михаилом Катковым, Александр III уже через неделю после гибели отца заявил, что вопрос о созыве представителей от земств и городов, несмотря на подпись Александра II, **нельзя считать предпрешенным**. Через две недели после этого на совещании правительства почти все министры высказываются за продолжение реформ, в том числе и два великих князя: Константин Николаевич (дядя Александра III) и Владимир Александрович (брат нового царя). Против созыва общественных представителей наиболее яростно выступил обер-прокурор Синода Константин Победоносцев. Воля императора по этому вопросу была оглашена в подготовленном Победоносцевым «Манифесте» от 29 апреля. Содержания этого важнейшего правительственного документа министры не знали до момента его публикации. Новый император объявлял, что «глас Божий повелевает Нам стать БОДРО на дело правления в уповании на Божественный промысел, с верою в силу и истину САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на него посползновений». Выбор был сделан: сын отверг наследство отца и пошел в обратную сторону. Он стал «царем-удавом», как его называли, верховным распорядителем и живым олицетворением реакции 80-90-х гг. В отличие от Александра II, он отрицал какие бы то ни было уступки и считал единственным способом обуздания недовольных насилие, с самого начала взяв за образец не отца, а деда – Николая I. Первый удар нанесли по судебным порядкам Александра II. Административная власть получила еще более широкие возможности для вмешательства в компетенцию судов, в неспокойных местах суды были, вообще, подчинены администрации. Даже местная власть получила право высылать недовольных или подозреваемых административным порядком, без суда, в отдаленные места. Судебные дела политического характера стали рассматриваться военными судами, в закрытом порядке, с почти

полным лишением адвокатов возможности сделать что-либо в защиту их подопечных.

Главу уездного дворянства стали называть капитан-исправником, и по Руси великой не единожды случалось, что раздраженный непослушанием своей «паствы» предводитель дворянства сажал «в холодную» уездный «парламент» в полном его составе. Звание профессора университета теперь стал присваивать попечитель учебного округа, перевод студента на следующий курс проходил через решение комиссии учебного округа. Университеты и преподаватели в этих процедурах не имели решающего слова. Цензурный гнет, подавление всякой непредписанной мысли в школьном деле, засилье церковников в любом учебном заведении вкупе с такими «светочами» благомыслия и разума, как обер-прокурор синода К.П. Победоносцев с его лучшим другом Ф.М. Достоевским, министром народного просвещения Ушаковым и профессиональным апологетом неприкосновенности необъятной царской власти М.Н. Катковым создали в стране совершенно невыносимую духовную и правовую атмосферу.

Третья часть российского исторического сериала под названием «Дней Александровых начало», вопреки традиции, началась не послаблениями, не посулами для либералов, а жесткой сменой курса внутренней политики, с дальнейшим «закручиванием гаек», которые, по мнению нового царя Александра III, его покойный батюшка во время контрреформ закручивал, но не до конца закрутил. Сразу же, 1 марта, он запретил публикацию в «Правительственном вестнике» подписанного Александром II манифеста о реформах государственного устройства с участием представителей сословий.

Отец решил, наконец, создать при своей особе народосоветательный орган, слегка смягчить абсолютизм императорского всевластия маревом грядущего парламента – сын, заявлявший о священной для него воле покойного батюшки, спустя несколько часов, взял свои уверения обратно... Каменносердному маньяку всея Руси (так называл Александра III Марк Твен) потребовались новые, решительные в расправах министры, особенно министр внутренних дел граф Дмитрий Андреевич Толстой. Могучий царь прятался за стенами дворца в Гатчине, но и там под страхом покушения, царь становился все более пуганным и мнительным. Был случай, когда он застрелил на месте в дежурной комнате своего адъютанта – барона Рейтерна, приходившегося родственником председателю Комитета министров. Барон курил папиросу и при неожиданном появлении императора поспешно спрятал руку с папиросой за спину.



*Н. Крамской. Портрет
императора Александра III*

*N. Kramskoy
Alexander III*

Император же подумал, что адъютант хочет бросить в него бомбу, и мгновенно всадил пулю в стоявшего навтыжку офицера.

Беспокоились за себя и исполнители репрессии, особенно Д.А. Толстой. «Он сидит в сыром домишке, окруженный стражей, как будто он сам – государственный преступник», – записал в дневнике 13 июня 1883 г. государственный секретарь Половцев /том 1, стр. 107/. Разнузданность полиции и жандармерии выводила иногда из себя даже организаторов политических зачисток. Товарищ обер-прокурора Синода Хвостов опасно предостерегал К.П. Победоносцева: «Аресты делаются зря, людей забирают, кто хочет. Если бы кто захотел

избрать нарочно такой способ действий, который может создать и для будущего запас горючего материала, то лучше трудно и придумать». При таком настрое высших чинов государства ничего не стоило захлопнуть публичность судебных заседаний, обуздать адвокатуру, свести на нет состязательность сторон, отменить независимость суда от администрации и несменяемость судей. Сам же царь всю жизнь не изменял взгляду, которым проникся под впечатлением процесса 1 марта 1881 г.: «С крамолой полагалось бы расправляться, вообще, без суда». Потому-то дела политического характера все чаще и чаще решались во внесудебном порядке, т.е. методом административной ссылки, без огласки.

Волеизъявлением Александра III было устранено все, затруднявшее или сдерживавшее судебный или административный произвол властей над привлеченными к следствию лишь по подозрению в знакомстве с неблагонадежными. Высылка в отдаленные или отдаленнейшие области Российской империи стала излюбленной формой злобных расправ, истеричного или барского, начальственного самодурства, банального немотивированного произвола. Число административно наказанных по

политическим делам росло из года в год. Например, в 1883 г. 33 человека, 1884 – 402, 1885 – 423, 1886 – 440, 1887 – 531. (Из книги «Хроника социалистического движения в России» 1878-1887 г.г. Официальный отчет. М., 1906 г.).

Менее всего считал Александр Александрович Романов, следует миндальничать с евреями. Когда ему доложили о массовых погромах еврейских поселений на юге России весной 1881 г., он, добродушно улыбаясь такому приятному для него сообщению, ответил: «А знаете, мне нравится, когда громят евреев». Позже войдя в «административный восторг», он распорядится революционерам-евреям высылки давать не менее 10 лет исылать не ближе, чем в Верхоянск и Среднеколымск, т.е. действительно наиболее отдаленнейшие и наиболее гиблые места Якутской области, куда и от Якутска добирались по несколько месяцев.

В 1888 г. начальник Юго-Западных железных дорог Сергей Юльевич Витте обратил внимание министра путей сообщения на то, что царский поезд ведут слишком быстро, может произойти крушение. Император, любивший быструю езду, услышав предупреждение Витте, рассердился: «я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость. А на вашей дороге нельзя ехать просто потому, что она – жидовская».

Председателем правления дороги был еврей Блехт. На другой дороге, управляющим, которой был, хоть и не еврей, но менее смелый человек, поезд Александра III сошёл с рельсов. Лишь чудом император и вся его семья спаслись от смерти. (Витте С.Ю. Воспоминания. Т.1, стр. 194).

Злобное, откровенное, показное юдофобство Александра III породило его предписание судам, присутствиям всякого рода, особому совещанию правительствующего Сената: «Евреев за политику»сылать не ближе, чем в отдаленнейшие места Якутской области и не меньше, чем на 10 лет». В обморок можно упасть, читая воспоминания Матвея Брамсона о бесчисленных притеснениях, ограничениях и лишениях, выпавших на долю евреев, ссылаемых по этому указанию монарха в Среднеколымск и Верхоянск за протест 22 марта 1889 г. в Якутске. Не зря эту ссылку, как и долгосрочное одиночное заключение в Петропавловской крепости, называли тогда *сухой гильотиной*.

Ужас бесправия российских евреев вызвал естественное возмущение и неизбежную солидарность с ними со стороны их европейских и заокеанских собратьев.

Писатель Олег Михайлов в своей книге об Александре III «Забывтый император» на стр. 176-177 приводит любопытные сведения о намере-

нии царя договориться с зарубежными евреями о прекращении субсидирования ими русского революционного подполья, в котором евреи были очень заметной составной частью. Цитирую: «Он (царь – В.Г.) вспомнил о петиции в защиту евреев, которую подписали, между прочим, и граф Лев Толстой, и философ Владимир Соловьев. Речь идет о протесте антисемитического движения в печати, составленном В.С. Соловьевым, подписанным Л.Н. Толстым и другими русскими писателями. Протест не был опубликован в России. ...Он был впервые опубликован на английском языке в лондонской газете «Таймс» 10 декабря 1890 г. В составе анонимной статьи автор сообщал, что протест поддержан русскими писателями во главе с Л. Толстым».

Процесс против антисемитического движения в печати

«Движение против еврейства, распространяемое русской печатью, представляет небывалое прежде нарушение самых основных требований справедливости и человеколюбия. Мы считаем нужным напомнить русскому обществу эти элементарные требования. Их забвение есть единственная причина так называемого еврейского вопроса, а простое и искреннее их принятие есть единственный путь к его разрешению.

1. Во всех племенах есть люди негодные и зловердные, но нет и не может быть негодного и зловердного племени, так как этим упразднилась бы личная нравственная ответственность, и потому всякое враждебное заявление или действие, обращенное против евреев как таковых, показывает или безрассудное увлечение слепым национальным эгоизмом, или же личное своекорыстие и ни в каком случае оправдано быть не может.

2. Несправедливо возлагать ответственность на еврейство за те явления в его жизни, которые вызваны тысячелетними преследованиями евреев в Европе и теми ненормальными условиями, в которые этот народ был поставлен. Если в течение многих веков евреев насильно принуждали заниматься одним денежным делом, закрывая для них все другие роды деятельности, то нежелательные последствия такого исключительного направления еврейских сил никак не могут быть устранены дальнейшими стеснениями, которые только увековечивают прежний ненормальный порядок.

3. Принадлежность к семитическому племени и Моисееву закону не представляет собою ничего предосудительного, не может сама по себе служить основанием для особого гражданского положения евреев сравнительно с русскими подданными других племен и вероисповеданий. Так как русские евреи, принадлежащие к известным сословиям, несут

одинаковые повинности со всеми прочими представителями тех же условий, то по справедливости они должны иметь и общие с ними права.

Сознание и применение этих элементарных истин важно и необходимо прежде всего для нас самих. Усиленное возбуждение племенной и религиозной вражды, столь противной духу христианства, подавляя чувства справедливости и человеколюбия, в корне развращает общество и может привести к нравственному одичанию, особенно при ныне уже заметном упадке гуманных идей и при слабости юридического начала в нашей жизни.

Вот почему уже из одного национального самосохранения следует решительно осудить антисемитическое движение не только как безнравственное по существу, но и как крайне опасное для будущности России». (В. Соловьев., С. Соч. в 2 т., Изд. «Правда», Т. 2. М, 1989, стр. 281-282, 682-684). Просьба была оставлена государем без ответа. А затем о том же написали Александру III 300 солидных и богатых англичан, прося его не притеснять евреев. Это письмо также не было уважено. И тогда один из крупнейших финансовых воротил – банкир Натаниэль Ротшильд заявил, что отказывается вести финансовые дела с Россией. 300 англичан, состоявшие у него вкладчиками больших денежных сумм, объявили, что, если Ротшильд будет иметь дела с Россией, то они заберут свои вклады и разорят его...» Далее О. Михайлов сообщает о совете поданном царю Сергею Юльевичем Витте, только что назначенным в министры финансов. «Ваше Величество, – говорит Витте, – я знаю, что можно было бы предпринять в этой ситуации на моем месте. Там, где нельзя добиться применением силы, надо попытаться достичь цели путем сговора. ... – Но какие меры Вы можете предложить для этого плана? – спросил Государь.

– Надо разведать, Ваше Величество прежде всего, где и с кем за границей следует вести переговоры. В России, Государь, говорить не с кем. Финансовая поддержка революции идет из-за границы. Для этого, по моему мнению, следует назначить агентом министерства финансов в Париже еврея, пользующегося полным доверием министерства, своего человека, так сказать, среди французских банкиров еврейского происхождения. Я считаю наиболее подходящим для выполнения такой задачи Артура Львовича Рафаловича.

... Рафалович был послан в Париж. Прошло несколько месяцев прежде, чем он мог доложить Витте, что в результате долгой дипломатической подготовки ему удалось, наконец, провести откровенный, с глазу на глаз, разговор с Ротшильдом. Финансовый король отнесся к сказанному

скорее сочувственно, однако пояснил, что в Париже ничего сделать нельзя. Он порекомендовал поговорить об этом в Лондоне, куда и отправился Рафалович.

Но начатый на эту тему разговор с Натаниэлем Ротшильдом привел к тому же нулевому результату. Русскому представителю было прямо и определенно указано обратиться на сей раз в Нью-Йорк к банкиру Шифу. Какая-то бесконечная сказочка про белого бычка! В очередном докладе царю Витте сообщил, что для переговоров в Нью-Йорке в распоряжении министерства финансов имеется весьма подходящий человек – некий чиновник Виленкин, женатый на мадам Зелигман – родственнице Шифа. Виленкин был немедленно назначен агентом министерства финансов в США с поручением вступить с Шифом в переговоры. Благодаря своим родственным связям, Виленкину не надо было готовить почву для переговоров. Разговор состоялся очень скоро после его прибытия в Америку. Оказалось, что информация лондонских Ротшильдов была верной. Шиф признал, что через него поступают значительные средства для революционного движения в России. Но на предложение Виленкина пойти на соглашение с русским правительством по еврейскому вопросу Шиф отослал его снова к парижским Ротшильдам. Заколдованный круг!... Чтобы разомкнуть его, Витте направил в Париж очаровательную княгиню Витгенштейн, которая выполняла некоторые сугубо секретные поручения министра финансов.

На одном балу княгиня танцевала «белый танец» с Морисом Ротшильдом и завела с ним разговор на ту же тему. Банкир, очевидно, уже получивший инструкции из Нью-Йорка, твердо и недвусмысленно ответил: «Слишком поздно, мадам. И никогда с Романовыми». (стр. 177).

Прозорливым людям стало ясно: «Все! Тупик. Приехали». Жаль, что ясным это стало слишком немногим. Не было ясно и Александру III.

Бывший член Исполнительного Комитета «Народной Воли» Тихомиров, находившийся в эпицентре самых главных дел организации, в своей книге «Критика демократии» сообщает, что бюджет «Народной Воли» некоторое время составлял 60 000 р. в год, или 5 000 р. в месяц. Правда, он не считал, как Витте (или Олег Михайлов?), что все эти деньги были жертвованиями только от зарубежных евреев. Скорее всего, большую часть их составляли взносы сочувствующих народовольцам россиян (Лизогуб, например, пожертвовал революционерам все свое большое состояние). Тупое, недалёковидное, жесткое подавление и попрание чувств подданных завело самодурствующую власть в тупик уже второй раз.

«А когда же был первый раз?» – спросит недоумевающий читатель, и этот вопрос нельзя оставить без ответа. Правда, этот ответ будет личным мнением пишущего эти строки, его представлением истории в согласительном наклонении, но тем не менее...

Как известно (см. у Льва Тихомирова и Юрия Трифонова), Андрей Желябов, возглавлявший Исполнительный Комитет «Народной Воли» уже в 1880 г. видел ошибочность ставки на поддержку террора русским крестьянством и начал тяготеть к мирным методам преобразования русской жизни. За это он получил презрительную кличку «Конституционалист» от Тихомирова, который тоже, в конце концов, откажется быть революционером. Убийство Александра II, спланированное как акт мести за гибель лучших сынов России, было намечено на 1 марта 1881 г., но срок исполнения заговора был не под угрозой срыва даже, а вообще, неисполним на протяжении еще 10-12 дней. Не был готов окончательно подкоп под Малой Садовой, не были готовы мины для закладки в этот подкоп. И, если б не арест Желябова 27 февраля 1881 г., Андрей Иванович, как и вся Россия, прочитал бы 2 марта в «Правительственном вестнике» манифест царя Александра Николаевича Романова о созыве совещательной комиссии из народных представителей и, наверняка, смог бы убедить Исполнительный Комитет «перековать мечи на орала», перейти от конфронтации к сотрудничеству с правительством. Такой вариант был предусмотрен в программе «Народной Воли». Живым остался бы царь Освободитель, быстро и результативно пошли бы преобразования российского общества, и сотни талантливых, бескорыстных, чистых совестью молодых людей еще не одно десятилетие отдавали бы свои силы на благо России. Знаменитый на всю Европу российский специалист по сооружению и осаде крепостей Э. Тотлебен заявлял после покушения: «Таких людей, как Желябов, вешать в любом случае нельзя, а Кибальчица я запер бы на всю жизнь, но предоставил бы ему самую лучшую техническую лабораторию для исследований. Но произошло то, что произошло. А произошло вот почему.

Департаменту полиции удалось склонить к предательству ранее арестованного Ивана Окладского, который своим рвением в исполнении заданий руководства заполучил доверие Андрея Желябова. Как близкий к Андрею Ивановичу, Окладский знал о предстоящей встрече Желябова с Тригоном, сообщил о времени и месте встречи департаменту полиции – и оба бойца были схвачены.

Софья Перовская, не дождавшись своего любимого в ночь с 27 на 28 февраля 1881 г., поняла, что Андрей арестован и будет казнён. Жизнь

без него она для себя не представляла и решила план цареубийства довести до конца и этим заслужить себе возможность быть повешенной одновременно с Желябовым. Для этого она предприняла невероятные усилия по завершению подготовки взрыва на Малой Садовой, по закладке мин в подкоп и по изготовлению метательных снарядов для метальщиков. К 10 часам утра 1 марта все было готово, и она лично проинструктировала исполнителей убийства, расставила их вдоль Екатерининского канала, сама дала сигнал начать атаку на монарха. И царь был убит. Получилось, что департамент полиции косвенным образом спровоцировал удачу заговора и гибель царя, перестарался, система провокаций уподобила себя унтер-офицерской вдове: сама себя высекла. Власть же, если она хочет, как лучше для себя, должна постоянно ожидать от пассионариев-максималистов любой неприятности, а лучше всего – не играть с огнём. Но им лучший выход для себя представлялся иначе.

Весьма показательно, что 10 марта 1881 г. Исполнительный Комитет «Народной воли» опубликовал свое *конструктивное* обращение к новому царю:

«Ваше Величество! Мы обращаемся к вам, отбросивши всякие предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что Вы – представитель той власти, которая только обманывала народ, сделала ему столько зла.

Мы обращаемся к Вам как к гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в Вас сознание своих обязанностей и желания знать истину. Озлобление может быть и у нас: мы потеряли не только отцов, но еще и братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личные чувства, если того требует благо России. Ждем того же и от Вас».

Кровавая трагедия, свершившаяся на Екатерининском канале, не была случайностью ни для кого, не была неожиданной. Вы знаете, Ваше Величество, что правительство покойного императора нельзя обвинить в недостатке энергии: у нас вешали и правого, и неправого, тюрьмы и отдаленные губернии переполнялись ссыльными. Целые десятки так называемых вожakov переловлены, перевешаны. Правительство, конечно, может еще переловить и перевешать многие множества отдельных личностей. Оно может разрушать множество отдельных революционных групп. Допустим даже, что оно разрушит самую серьезную из существующих революционных организаций. Но ведь все это несколько не изменит существующее положение вещей.

Революционеров создают обстоятельства: всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам. Окидывая беспристрастным взглядом пережитое нами в тяжелое десятилетие, можно безошибочно предсказать дальнейший ход движения, если только политика правительства не изменится: страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс разрушения старого порядка.

Из такого положения может быть два выхода: или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями, или добровольное обращение верховной власти к народу. Мы не ставим Вам условий, пусть не шокируют Вас наши предложения. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их. Этих условий, по нашему мнению, два:

1. Общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени, т.к. это были не преступления, но исполнение гражданского долга.

2. Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих норм государственной и общественной жизни и переделка их сообразно с народными желаниями.

Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация верховной власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произведены совершенно свободно. Поэтому выборы должны быть произведены при следующей обстановке:

1. Депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу жителей.

2. Никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не должно быть.

3. Избирательная агитация и сами выборы должны быть произведены совершенно свободно, а потому правительство должно в виде временной меры, впредь до решения народного собрания, допустить: полную свободу печати, полную свободу слова, полную свободу сходов, полную свободу избирательных программ.

Итак, Ваше Величество, решайте. Перед Вами два пути – от Вас зависит выбор. Мы же затем можем просить судьбу, чтобы Ваши разум и совесть подсказали Вам решение, единственно сообразное с благом России, с Вашим собственным достоинством и обязанностями перед родною страной». (Архив «Земли и Воли» и «Народной Воли»). Ответа на письмо не последовало.

С 8-15 марта 1881 года Л.Н. Толстой писал Александру III свою просьбу о помиловании цареубийцы. Он обращался к нему как к высшему на Земле удостоверенному для осуществления небесной справедливости и милосердия. Он писал: «Я – ничтожный, непризнанный и слабый советник, пишу письмо русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо были. Я чувствую как это странно, неприлично, дерзко, и все-таки я думаю, что если впоследствии ты узнаешь, что никто не сказал царю то, что ты хотел сказать, что вдруг может случиться так, что царь потом, когда уже нельзя будет ничего переменить, подумает и скажет: «Если бы тогда кто-нибудь сказал мне это», если случится так, то ты вечно будешь раскаиваться, что не написал того, что думал. И потому я пишу Вашему Величеству то, что я думаю. ...Отца Вашего – царя Русского, сделавшего много добра и всегда желавшего добра людям, старого, доброго человека *изувечили и убили не личные враги его, но враги существующего порядка вещей.* Убили во имя какого-то высшего блага всего человечества. ... Вы стали на его место и перед Вами те враги, которые отравляли жизнь Вашего отца и погубили его. Они – враги и Ваши! Потому, что Вы занимаете место Вашего отца и для того мнимого общего блага, которого они ищут, они должны убить и Вас.

К этим людям в душе Вашей должно быть чувство мести как к убийцам отца и чувство ужаса перед той обязанностью, которую Вы должны взять на себя. Более ужасного положения нельзя себе представить. Более ужасного потому, что нельзя себе представить более сильного искушенья зла. «Враги Отечества, народа, презренные мальчишки, безбожные твари, нарушающие спокойствие и жизнь вверенных миллионов и убийцы отца... Что другое можно сделать с ними, как не очистить от этой заразы русскую землю, раздавить их, как мерзких гадов?! Этого требует не мое личное чувство и даже не возмездие за смерть отца. Этого требует от меня мой долг, этого ожидает от меня вся Россия».

В этом-то искушении и состоит весь ужас Вашего положения. Кто бы мы ни были: цари или пастухи – мы, люди просвещенные учением Христа. Я не говорю о Ваших обязанностях царя. Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны сойтись с ними. Бог не спросит Вас об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей. Положение Ваше ужасно, но только затем и нужно учение Христа, чтобы руководить нами в те страшные минуты искушений, которые выпали на долю людей. На Вашу долю выпало ужаснейшее из искушений...». И на это письмо ответа не последовало.

Прогрессивные русские люди быстро разобрались в сути и стиле правления нового императора, и вскоре в сатирическом журнале «Будильник» появилась хлесткая эпиграмма:

Царь наш – юный музыкант.
На тромбоне трубит.
Его царственный талант
Ноту РЕ не любит.

Лишь министр преподнесет
Новую реформу,
Ноту РЕ он зачеркнет
И оставит «форму».

К чему привела царская привычка «тащить и не пущать», отлично высказала в своем письме императору Александру III первая русская женщина-публицистка Мария Константиновна Цебрикова, опубликовавшая свое обращение к царю в 1889 г. за границей. Вот этот текст, так мало известный россиянам.

«Ваше величество!

Законы моего отечества карают за свободное слово. Все, что есть честного в России, обречено видеть торжествующий произвол чиновничества, гонение на мысль, нравственное и физическое избие-ние молодых поколений, бесправие обираемого и засекаемого народа – и молчать. Свобода – существенная потребность общества, и рано ли, поздно ли, но неизбежно придет час, когда мера терпения переполнится, и переросшие опеку граждане заговорят громким и смелым словом совершеннолетия – и власти придется уступить. *В жизни единичной личности тоже наступает минута, когда мучительный стыд быть вынужденным молчанием своим, стать невольной участницей царящих неправды и зла заставляет ее рискнуть всем, что дорого ей, ради того, чтобы сказать тому, в чьих руках сила и власть, чье слово может уничтожить так много зла и позора родной страны: смотри, что ты допускаешь, что ты творишь, и ведая, и не ведая.*

Русские императоры обречены видеть и слышать лишь то, что видеть и слышать их допустит чиновничество, стоящее стеной между ними и русским земством, то есть миллионами, не числящи-мися на государственной службе. Страшная смерть Александра II бросила зловещую тень на Ваше вступление на престол. Вас уверили, что смерть эта была следствием идей свободы, разрастись которым

дали реформы лучшей поры прошлого царствования, и Вам внушили меры, которыми думают отодвинуть Россию к мрачной поре Николая I. Вас пугают призраком революции. Да, революция, уничтожающая монархию, есть призрак в настоящем. После катастрофы 1 марта у самих цареубийц не было ни малейшей надежды на созыв своего учредительного собрания. Враги царские казнены, всё подчиняется безмолвно монаршей власти. В силу какого же рокового недоразумения правительство вместо того, чтобы идти по пути реформ, намеченному в лучшую пору правления Александра II, уничтожает реформы эти? В одних только законах, расширяющих права граждан, уничтожающих сословные перегородки, открывающих народу широкий путь к образованию и улучшению быта его, и заключается ручательство в здоровом росте России.

Не реформы прошлого царствования создали террористов наших, а недостаточность реформ. Вас отпугивают от прогрессивной политики. Вам подсказывают политику в духе Николая I, потому что первая грозит самодержавию министров и чиновничества, которым нужны безгласность и бесправие всей земли русской; потому что вторые застраховывают самодержавие это, но только до той поры, когда земля сознает себя совершеннолетней. Власть опьяняет; для исключительных личностей, как покойный гр. Толстой, она нужна как средство уродовать русскую жизнь на прокрустовом ложе теорий своих; для дюжинных людей власть – мелкое, унижающее наслаждение сознать себя выше земщины и самовластно распоряжаться ею; для негодяев власть – средство безнаказанно обделывать свои темные дела. **Самодержавие**, как огонь, дробящий на языки все более и более мелкие по чиновничьей лестнице, спускающейся от царя до народа, **дает помазание на самоуправство** над стоящей под ступенями лестницы земщиной, на фактическую безнаказанность. Кары за превышение власти, за наглое грабительство, за неправду так редки, что не влияют на общий порядок. Каждый губернатор – самодержец в губернии, исправник – в уезде, становой – в стане, урядник – в волости. Прямая выгода каждого начальника – отрицать и прикрывать злоупотребления подчиненного. Узда на всех самодержцев этих случайная. Губернатора содержит кто-нибудь из крупного дворянства, имеющего связи в министерстве, при дворе, или местный денежный туз, аферами дающий наживу, которой не брезгают и высокопоставленные особы; исправнику свяжут руки землевладельцы, дружащие с губернатором; уряднику – те из местной земщины, которые нужны исправнику или становому. У народа нет связей, отводящих грома всех юпитеров этих, его редко выручает счастливая случайность: найдутся люди честные в

чиновничестве, которые не побоятся, что защита народа будет истолкована в смысле социализма, или найдутся в местной земщине люди, способные вступить за поправную правду и человечность. А если таких людей не найдется? Разве мало примеров, как высшие классы земщины в стачке с чиновничеством грабили юридически народ?! *Еще Александр I сказал, что честные люди в правительстве случайность и что у него такие министры, которых он не хотел бы иметь лакеями. И жизнь миллионов всегда будет в руках случайности там, где воля одного решает выбор.*

Везде, где люди, есть зло; все дело в мере, в большем или меньшем просторе для разгула его. В чем у нас гарантия от произвола? Судебная власть иногда защищала обираемый и засекаемый народ, признавала преступниками тех, которые вызывали протест негодующего чувства правды и человечности, а не протестовавших. *Реформы Ваши урезали в значительной доле судебную власть. Сопротивление незаконным требованиям властей, когда они в стачке с кулаками отбирают у народа скот и землю, есть бунт против царя – и народ мало-помалу приучается видеть в царе санкцию самоуправства. Теперь создается еще новая власть земских начальников, власть страшнее других, потому что она не только исполнительная власть, но и часть судебная. Новые начальники отчасти заменяют мировых судей, в которых народ имел все же хоть какую-нибудь гарантию. В руки этих новых самодержцев – фактически они будут самодержцами для народа – отдано решение дел маловажных.*

Знаете ли Вы, Ваше Величество, что какое-нибудь маловажное дело вроде ареста в рабочую пору за неуплату нескольких рублей может пустить по миру безбедно жившую крестьянскую семью? Мужик не отработает вовремя за землю, снятую у кулака, за выгон, пользование лесом – кулак взыщет свое с жидовскими процентами, и мужику не выбиться из мертвой петли. То, что я говорю, не сказки «печати народников», как зовут наше слово лакеи Ваши, а сама истина. Ее подтвердит Вам каждый и не читавший ни строки печати этой, если только знает народную жизнь и не захочет солгать.

Упорно держался слух, и, насколько можно судить из достоверного источника, что в проект покойного министра Толстого не входило упразднение сельских мировых судей, что мера эта была исключительно делом Вашим, когда Вам доложили, что для государственного бюджета слишком тяжел расход на содержание новой власти, что мера эта смутила даже сторонников проекта Толстого, но возразить Вам они не посмели.

Если эти слухи верны, то как же можно, Ваше Величество, не зная близко народной жизни, брать на свою совесть такую меру? Или Вы верите, что помазание на царство несет с собой и всеведение божества?

Если бы Вы видели жизнь народа не по тем казовым концам, которые Вам выставляют на глаза во время поездок Ваших по России, познакомились с русским народом не в лице одних волостных старшин и сельских старост, когда они в праздничных кафтанах подносят Вам хлеб-соль на серебряных блюдах, купленных на собранные гривны с души, у которой подчас нет и копейки на соль и для которой чистый хлеб – пряник про свят день, то Вы бы с такой легкостью сердца не решали бы меры, делающие еще более мучительным лежащий на народе гнет. Если бы Вы могли, как сказочный царь, невидимкой пройти по городам и деревням, чтобы узнать жизнь русского народа, Вы увидели бы его труд, его нищету, увидели бы, как губернаторы ведут войско пристреливать рабочих, не подчиняющихся мошенническим штрафам и сбавке платы, когда и при прежней можно жить только впроголодь, выдерживая голодный тиф или умирая от него; Вы увидели бы, как губернаторы ведут войско пристреливать крестьян, бунтующих на коленах, не сходя с облитой их потом и кровью земли, которую у них юридически грабят сильные мира. Тогда Вы поняли бы, что порядок, который держится миллионной армией, легионами чиновничества и сонмами шпионов, порядок, во имя которого душат каждое негодующее слово за народ и против произвола, – не порядок, а чиновничья анархия. Анархия своеобразная: чиновничий механизм действует, по-видимому, стройно, предписания, доклады и отчеты идут своим определенным ходом, а жизнь идет своим – и в обществе, и в народе не воспитано и не будет воспитано никакого понятия о законности и правде. Общество и народ видят над собой один произвол и посредственно, и непосредственно действующие рычаги и колеса механизма.

Гласность суда урезана теперь чуть не до нуля. Преступления по должности отныне будут судимы тайно. Отнята у не состоящих на службе подданных Ваших последняя гарантия, ограждавшая их от злоупотреблений власть имущих. Представители от общества вроде городского головы и др. – не ручательство. Где же у них найдется время вникнуть в дело, при решении которого они призваны присутствовать; где ручательство, что у них найдется гражданское мужество протеста в тех случаях, когда правдивое слово есть гражданский подвиг? Гарантия публичности и печати страшна, потому что на глазах мира не так легко кривить душой. Не раз бывало прежде, что при скандальных

делах, в которых замешаны сильные мира, печать получала от цензуры предписание молчать. Теперь нет суда перед лицом русского мира, где каждый представитель земщины мог бы видеть, как охраняются интересы правосудия, когда права земщины попораны чиновничеством. Теперь безнаказанность произвола вполне обеспечена. Прямая выгода каждого чиновника – доказать несправедливость жалобы на него и подчиненных его и заявить, что все обстоит благополучно в его ведомстве. Эта мера еще более укрепляющая за чиновничеством характер опричнины.

Слухи ходят о личном характере Вашего Величества, что Вы не терпите ложь. Как же Вы не поймете, что тот из чиновников Ваших, кто против гласности в суде и в печати, тот находит свою выгоду во мраке и тайне?! Каждый честный человек, кто бы он ни был, министр или простой смертный, который не скажет: «Вот вся моя жизнь, пусть меня судит мир, грязных пятен нет на совести», - тот не может быть честным человеком. Вас убедили доводами государственной необходимости; но правительство, прибегающее к безнравственным средствам, само роет себе пропасть. Вас отпугивают от гласного суда доводами, что гласность подрывает доверие общества к правительству своими разоблачениями, что и без того общество готово верить всему дурному насчет лиц, облеченных властью. Если это так, то это доказывает одно: что горький опыт веков подорвал в обществе доверие к правительству и нравственное обаяние его, и всего этого не воскресить ничем, потому что произволу нет оправдания. Тайна свидетельствует о неверии в себя. Кто верит в себя, тот света не боится. Тайна нужна только тому, кто сознает, что держится не нравственной, но одной материальной силой.

На сколько поколений еще хватит у правительства материальной силы, чтобы давить земщину в угоду чиновничьей анархии, это покажет будущее. ***Правительство делает все, что во власти его, чтобы раздуть общее недовольство и облекать в плоть и кровь страшный призрак революции.*** Даже принимаемые им для популярности меры роковым образом приносят только зло, потому что основаны не на справедливости. Есть зло, над которым бессильна власть, и желание Генриха IV, чтобы у каждого крестьянина варилась курица в супе, - мечта народолюбивого монарха. Борьба между сытыми и голодными не разрешается указами. Но во власти каждого правителя связывать или развязывать в известной степени руки, вырывающие кусок хлеба у голодного. ***Роль правительства быть регулятором в борьбе интересов, а не приносить одно сословие в жертву другому.*** Для нового земского начальства не требуется никакого умственного ценза; дворянское происхождение при-

знано достаточным ручательством, и каждый недоучка, Митрофанушка, гонявший голубей, может, если у него есть связи, держать в руках жизнь десятков тысяч крестьян. Власть, непосредственно действующая, самая страшная. Эта мера может только еще более раздуть затаенную вражду народа к барам. Чтобы спасти Дворянский банк, в котором, как того и ожидали при основании его, дворянство сумело только брать ссуды, а не уплачивать, правительство выпустило новый заем с выигрышами, в будущем и его уплатят, только усиливая налоги. Это мера, развращающая сословие, приучая его жить на счёт массы, развращающая общество усилением ажиотажа, отвлекающая от промышленности капиталы; а это поведет за собой уменьшение заработков, так нужных крестьянину, особенно в выпажанных полосах России. И без того полиция высылает на родину рабочих сотнями тысяч, не находящих работы в Петербурге. Крах дворянского банка только отсрочен. Крестьянин, обрабатывающий землю своим трудом, может платить от 5-7 процентов в свой банк, при условии постоянного урожая; землевладелец, обрабатывающий ее наемным трудом, не выдержит такого платежа и при нашей низкой заработной плате; урожай, понижающий цену на хлеб, не выгоден для него. Сытый крестьянин не пойдет ни обрабатывать, ни возить хлеб за бесценок. Дороговизна провоза хлеба, обусловленная и плохими путями сообщения, и порядками железнодорожных концессий и управления, разоряет производящего хлеб чужими руками. Новый заем не поднимает дворянство. Имена его будут дробиться, а оно нищать. Делаются попытки привить права первородства, держать землю в руках рода, создаются заповедные имения. Но и Петр I не мог сделать ничего в этом отношении, и единичные исключения не изменяют общих условий. Если бы Вам удалось то, чего не мог сделать Петр I в ту пору, когда царь считался чуть не Богом, то создается олигархия. Высшее дворянство не захочет быть игрушкой гнетущего земщину произвола; честолюбие его не удовлетворится немногими шансами попасть в число главных заправителей его, и оно само потребует своей доли в произволе. И без всякого права первородства бояре были страшны царям, вельможи XVIII и XIX века - императорам. Были примеры смерти Петра III и Павла I. Если бы было возможно привить право первородства в России, то создается новый революционный элемент в обществе – младшие обездоленные дети. Это доказано историей Европы. Обездоленные потомки дворянских родов будут сливаться с демократическими сословиями, и этого не отворотить никакими дворянскими банками.

Бедное дворянство наравне с другими сословиями раздражено последними мерами министерства народного просвещения, повышаю-

щими плату за учение и открывающими доступ к образованию и, следовательно, к государственной службе только людям достатка. И как много теряет Россия от того, что всем способностям, таящимся в массе, нет доступа к образованию. Все меры министерства народного просвещения имеют целью загасить просвещение. Студенты прикрепляются по округам и лишены права выбирать те университеты, где читают наиболее талантливые профессора. **Открытие университета в Сибири пугает.** Это меры близорукой полиции, а не просвещенного правительства. Еще спартанцы выкалывали глаза рабам ради того, чтобы те, не развлекаясь, вертели жернова. Но в XIX веке, на пороге XX, сомнительно, чтобы такие меры могли долго упрочивать порядок. Известный циркуляр министра Делянова, закрывающий гимназии для бедняков и открывающий такой широкий простор произволу и взяточничеству директоров гимназий, дал лишний козырь в руки террористов.

Какие уроки вынесет ребенок из школы, где гонят бедного брата?! Он с первого шага из дома видит противоречие правительства с учением Христа. Он в школе получает уроки предательства. В гимназиях есть шпионы. Такого растления школы не было и при Николае I, несмотря на известную записку Липранди. Преданиями корпусов передается факт, как Николай I назвал молодцом кадета, геройски вынесшего варварскую порку за то, что не выдал товарища. Дух многих гимназий таков, что матери, не имеющие понятия ни о каких неблагонамеренных теориях, с ужасом думают о том, как отдать в правительственную гимназию сына, честного и пылкого мальчика, не способного ни молча видеть, как гонят бедняка-товарища, ни покорно выслушать приказ фискалить и соглядатайствовать.

Ум детей калечится системой классицизма, которая не дает просветительного, очеловечивающего начала, как система Уварова при Николае I, не любившем классицизма. Нынешняя система дает одну мертвящую долбню слов, и это в таких приемах, что для наиболее нужных предметов не хватает времени. Выдерживают экзамен или необычайно талантливые и здоровые, или богатые, которые могли пользоваться приватными уроками – доходной статьёй гимназических учителей. *Для бедных классицизм – система изгнания из училища. Семье, приносившей тяжёлые жертвы, чтобы воспитать сына, свою опору, возвращали недоучку, изломанного душой и телом. Бывали примеры и страшнее. Юноша, чтобы не быть бременем семье, кончал самоубийством.* Кровавые жертвы не открывали глаз правительству, оно приказывало молчать о них. В «Журнале министерства народного

просвещения» уже несколько лет не печатаются более цифры процента оканчивающих курс учеников классических гимназий сравнительно с процентом поступивших. Цифра так красноречива, и её надо пополнить другой – цифрой искалеченной духом и телом и озлобленной гимназическим порядком молодежи, уходящей в ряды революционеров.

Пройдет благополучно гимназию юноша – и в университете его ломает та же система. Его, взрослого, подчиняют мальчишеской дисциплине, и полиция бьет его, когда он не хочет подчиняться. Инспектор Болдырев, история с которым в московском университете испортила жизнь сотням учащейся молодежи, был болен хроническим менингитом, как то доказало вскрытие мозга. Люди, знавшие его прежде как человека мягкого и порядочного, изумлялись его превращению в раздражительного и дерзкого деспота. Хороша же система, при которой выходки сумасшедшего считаются нормальным проявлением авторитета, законным охранением порядка! Юноша видит в храме науки учителей, считающих позором исправлять при учащейся молодежи должность полицейского сыщика. В последнее время покойный Орест Миллер, искренне религиозный человек и верноподданный, был лишен кафедры за свою неспособность к роли сыщика. Иллюзии жизни, которых гимназия не успела еще вытравить в юноше, вытравляются университетом. Один отец, защищавший сына – политического преступника, на упрёк прокурора, что семья растит врагов правительству, отвечал приблизительно так: *«Мы отдаем в школы правительства мальчика доброго, любящего; школа возвращает его нам поломанного, озлобленного»*. Юношество, имеющее средства, уходит учиться в заграничные университеты, и, конечно, сравнение их порядков с нашими не внушит ему любви к последним.

Ученый мир Западной Европы заметил, что за последнее двадцатилетие сильно понизился в наших представителях науки не только уровень талантности, но и добросовестного отношения к науке и человеческого достоинства. Бывают полосы урожайные, но повального неурожая во всех отраслях знания быть не может. Замеченный безотрадный факт есть прямое последствие систематического выпальвания талантливого юношества руками государственной полиции. Чем крупнее сила, тем менее она мирится с гневом. Чем сильнее в юноше любовь к знанию, тем менее может он чтить науку, преподаваемую в полицейских целях. *Американец Кеннан, предубежденный против наших революционеров, был, при близком знакомстве с ними, изумлен талантливостью и познаниями многих и мог только жалеть о стране, где гибнут такие силы.*

Уцелевшая учащаяся молодежь, сохранившая желание добра, идет на государственную службу, неся гнетущее сознание, что и крупица добра, внести которую она жаждет, должна пропасть в чиновничьей анархии, что порядок, служить которому она призвана, в сущности, – такая анархия. Молодежь вступает в практическую жизнь без необходимой подготовки. Уменье написать свою биографию по-латыни было признано ручательством способности быть, например, педагогом-воспитателем, судьей, заправителем жизни народа. Молодежь, уцелевшая, потому что не знала другого бога, кроме карьеры, будет плодить чиновничью анархию, насаждать сегодня, завтра вырывать насаждаемое по приказу начальства, вносить еще более яда разложения в язвы, разъедающие родную страну. И эта молодежь, изолгавшаяся и продажная, тоже на свой пай служит революционной пропагандой.

Неуклонно принимаемые меры для сокращения числа учащейся молодежи обусловлены тем, что у нас будто слишком много интеллигентных работников, не находящих мест, и оттого плодится интеллигентный пролетариат, элемент революционный. Ваше Величество, загляните в сравнительную статистику, которую так не любят охранители чиновничьей анархии, и Вы увидите, сколько на тысячу жителей приходится в Европе врачей, учителей, акушеров, техников всякого рода, сколько школ и больниц всякого рода там и сколько в России. А при редком, рассеянном на громадных пространствах населении нашем, при плохом состоянии путей сообщения нам нужен против Европы двойной и тройной процент на тысячу. Интеллигентный рабочий не находит места не потому, что рабочих много, а потому, что слишком мало учреждений, нужных России, и их надо создать. Молодежь, конечно, понимает настоящую причину ограничения числа учащихся, и это может только усиливать непопулярность правительства.

Правительство одержимо боязнью допустить интеллигенцию к народу. *Молодежь, которой кровь страшна и которая хочет уплатить свой долг народу самыми законными путями – или уча его грамотности, азбуке культуры и гражданственности, начаткам знаний, так нужных ему для улучшения его быта, или выступая законными защитниками его против притеснений, – эта молодежь считается опасной.* Бывало много примеров, что, побившись несколько лет и видя бесплодность усилий своих перед стачкой местного чиновничества с кулаками, дворянами и не дворянами, попами-ростовщиками и шпионами – дружной стачкой всех, кому выгодны невежество и беззащитность народа, – молодёжь в отчаянии уходила в революционеры.

Для народа признаны пригодными учителя-недоучки. Учительские семинарии не готовят учителей, нужных народу; а людям, чуждым всяких революционных целей, если только они окончили курс в университете, запрещено быть народными учителями. Школа, которой заправляют невежды и недоучки, признана единственной пригодной для народа; народу земледельческому не дают понятия о природе; выпахиваемая первобытными способами земля истощается. Народу нужны заработки на стороне, чтобы выправить подати, а у него нет ремесленных школ. Народу русскому не дают понятия о России, и он, когда не у чего станет жить на родине, идет зря за тысячи верст разыскивать теплые воды. Народу не дают основательного понятия о законах страны, которую он кормит своим хлебом, а пункт нашего Свода гласит, что незнанием законов никто отговариваться не может. Едва ли одна десятая детей народа учится в школах; и еще немало школ закрываются попечителями вроде графа Капниста, предъявляющими сельским обществам приказы «поставить школы сообразно требованиям науки». Несмотря на смиренную просьбу сельских обществ сохранить им существующую школу, так как они, при всём желании, по бедности не могут исполнить волю начальства, училища были закрыты. Это значит сказать обуютому в лапты крестьянину: снимай их и носи сапоги, – и он будет ходить босым.

Школы и учительские семинарии, устраиваемые земствами, преследуются, несмотря на то, что земства не смеют иметь иных программ, кроме утвержденных правительством, и во всякое время открыты инспекторам от правительства. Как ни малы крупицы знания, даваемые земской школой, все-таки они крупнее и питательнее тех, какие дает церковно-приходская школа, учащая преимущественно Псалтыри, – *Евангелие не всегда одобряется школой. Дьяконы, которых в качестве преподавателей разослали по приходам, радеют более о своем участке в приходской земле, чем о школе.* Школы эти не достигнут цели своей – поддержать православие, – не застрахуют крестьян от раскола, который народ вывел из той же Библии и Псалтыри. Школы эти не поднимают авторитет духовенства, потому что оно ставит свой тариф на спасение души, потому что сельский священник, исправно вносящий свою подать консистории, может безнаказанно грабить народ и в стачке с полицией избавиться доносами от каждого ходока за народ, ходящего самыми законными путями. Учительница, акушерка, учитель или врач, которые посоветуют во время дифтеритной или сыпных эпидемий не носить больных детей к причастию в трескучие морозы, давать в пост больным крошкам молоко, лечить кликуш и тем отбивать доход за за-

клинательные молитвы, объяснять законы природы и рассеивать мрак суеверия, несущий гроши в приходскую казну, лишаются места, хотя бы ни словом не колебали основы религии. Приходские школы отдадут бесповоротно элементарное образование народа в руки безграмотных отставных солдат, выгнанных за пьянство семинаристов. Духовенство, нанимая учителей, дает ничтожную плату 3 руб. в месяц. Школа ускользает от влияния инспекторов, духовенство ответственно только перед своим начальством, а оно – люди, отрехшиеся от мира.

На батраков, число которых растет вследствие обнищания крестьян, у городских рабочих нет убежища под старость. Изжив все силы на работе, приходится умирать, где придется – под забором, в придорожной канаве. Переселение народа с выпаханной земли на плодородную устроено безобразно, если устройством можно назвать средство наживы чиновничества. После мучительного пути в тысячи верст, потратив последние крохи, переселенец нередко находит свою землю занятой кулаками всякого рода, которые воспользовались его незнанием законов и надули посланных вперед разведчиков. Переселение стеснено; с уходом переселенцев дорожают рабочие руки. Еще в прошлое царствование штыками гнали обратно латышей, ушедших от непосильной арендной платы баронам. Все лучшие земли в крае, завоеванном кровью народа, всегда раздаются приближенным царя, и он сам берет себе львиную долю. Много ли оставлено удобной земли народу для колонизации в новых азиатских владениях? Одни пески. Наш громоотвод от пролетариата – государственные земли расхищаются.

На школы и больницы, на устройство приютов для детей, брошенных без призора, пока мать на работе, богаделен для престарелых бесприютных работников нет средств. А находятся средства на массу непроизводительных расходов: например, нашлись миллионы на покупку Мариинского дворца для государственного совета, имевшего приличное помещение; тратятся миллионы на министерство двора, управление именными царствующей династии. И на это тратит народные деньги только одно русское правительство: в западных монархиях должность министра двора исполняет церемониймейстер, а управление именными царствующей династии оплачивается доходами с имений, не считается государственной службой и не ложится на государственную казну, то есть на народ, который несет на себе главную тяжесть государственного тягла.

Лакеи Вашего Величества скажут Вам, что высказанное здесь – идеи нечестивого Запада, но это идеи справедливости. Дающий более полу-

чае менее. *Сибирь была завоевана и колонизована народом, а главная доля золота, добываемого в ней, идет не на нужды народа и даже не в государственную казну: по количеству добываемого золота казенные прииски занимают третье место, первое принадлежит императорскому кабинету. Одним росчерком пера прадед Ваш обратил собственность государственную в собственность кабинета.* Цензура запретила газетам печатать сведения о количестве добываемого золота. Чему служит запрещение это? Справедливости ли и истине? Что подрывает запрещение это – кредит ли печати или кредит правительства?

Цензура наша ведет к тому, что молодежь жадно кидается не только на то, что есть верного в подпольной и заграничной печати нашей, но и на нелепости. Если гонят слово – значит, боятся правды. Ваше Величество с семейством своим едва не поплатились дорого за гонение на слово. Печать, обличавшая систему концессий, наживаться которой не брезгают и высокопоставленные лица, подвергалась преследованию. Покойный гр. Толстой по просьбе бывшего министра путей сообщения Посыета приказал уничтожить обличительную брошюру, в которой заключались верные сведения. Цензура наша доходила до таких нелепостей, что, получив от III отделения предписание обращать внимание на такого-то автора, вырезала из его книги детских рассказов вещи, уже напечатанные в подцензурных изданиях. Случалось, что московская цензура пропускала то, что запрещала петербургская, и наоборот. Писатель – игрушка цензурского произвола и никогда не может знать, как взглянет на его труд и в какую минуту тот или другой цензор. Замечено только, что преследования сильнее перед Рождеством и Пасхой – пора наград есть пора большего усердия. *Наконец, цензура дошла до геркулесовых столбов – император Александр II оказался нецензурным в своей империи. Прессе было запрещено перепечатывать его речь болгарам о конституции.*

Правительство признает силу печатного слова, потому что субсидирует свою прессу и пропагандирует ее через исправников и становых. Если слухи верны, то за границей оно создает органы агентов-подстрекателей. Оно открывает объятия перебежчикам из оппозиционной и революционной прессы – и ошибается в расчете на силу их поддержки: слово предателя не может иметь силы слова искреннего убеждения. Цитович, предпринимая издание официозного органа, находил сотрудников только среди бездарностей. *Когда цвет мысли и творчества не на стороне правительства, то это доказательство того, что создавшая его идея вымерла и оно держится лишь одной материальной силой.* Только живая идея может вдохновлять таланты. *Не пе-*

чать создает общее недовольство, печать только отголосок общественного настроения. Призыв к революции бессилён там, где народ не задавлен и не обобран, где закон не маска, которой прикрываются сильные, чтобы давить слабых. Печать гонят, когда она указывает на зло тех мер, какими сильные мира, не зная жизни общества и народа, ломают ее во имя теорий, измышленных в канцеляриях и кабинетах своих. После сравнительно льготной поры первое гонение на печать было подяно по влиянию гр. Толстого, бывшего тогда министром просвещения, и это за критику вводимой им системы классицизма. Сам гр. Толстой, как утверждают слухи и из достоверных источников, незадолго перед смертью сознался, что был введен в заблуждение Катковым и что система эта принесла с собой притупление ума учащихся. Один человек, не занимавшийся никогда практически обучением и воспитанием, мог вершить судьбы образования десятков тысяч юношества. Возвратит ли позднее сознание страшной ошибки даром загубленные годы и забытые силы юношества? Воскресит ли тех, которые покончили самоубийством, высушит ли слезы матерей и обратит ли проклятия их в благословения?

Опыт прежних царствований и Ваш собственный должен был показать Вашему Величеству, что внутренняя политика преследований не достигает цели. Раскол преследуют со времен Петра I и ранее, а он растет. Множатся рационалистические секты, потому что мысль народа, в лучших представителях его, переросла мёртвую обрядность, в которой держит его духовенство. Народ ищет духа Евангелия и отворачивается от буквы. Сельское духовенство оказывается бессильным в борьбе не только с сектами в виде штундистов или молокан, но даже с диким изуверством скопцов и защиту православия возлагает на полицию и застенки тюремные и монастырские. Придет пора, когда гонение за право мыслить и веровать по совести будет казаться страшным сном: гонение ведет к тому, что пора эта придет в зареве пожаров и дымящейся крови.

Гонение – лучшее средство вытравлять в народе любовь к царю, то есть к его идеалу царя. Она ослабела, это замечено всеми, помнящими пору Николая I. Народ еще толпами бежит встречать царя, но случается гораздо чаще, чем прежде, что полиция подсказывает ему: «ура». Тогда «ура» сильнее и восторженнее рвалось из груди толпы. *Масса народа верит еще, что зло не от царя, а от чиновничества. Его царь наконец увидит, что терпит народ, вступится за обиды народные и даст ему землю. «Царь обманут, если бы он знал!» – говорит народ. Но сегодня и завтра обманут, и здесь и там обманут, столетиями*

все обманут! Эта роль вечно обманутого подрывает обаяние царя. Не на то он был помазан, чтобы быть вечно обманутым, каким же отцом народу будет он? Вот вывод, к которому самодержавие ведет народ. И губернаторы, призывающие войско пристреливать народ, когда он на фабриках не принимает сбавки платы, которая его жизнь часом впроголодь обратит в непрерывную голодовку, или когда он, бунтуя на коленях, не сходит с земли, неправдой отнятой у него, – эти царские слуги приводят его к такому выводу.

В интеллигентном обществе, в чиновничестве вымер культ царя, доживавший последние дни в начале Крымской войны. *Нельзя судить по придворным, чья преданность так много зависит от подачек за счет народа, ни по постройкам храмов, учреждению училищ, стипендий и пр. в память избавления от катастрофы 17 октября.* В основе многих жертв лежит паника; неприятие участия в подписке есть оглашение себя неблагонамеренным; лежит расчет для иных обойти препятствия, какие мраколюбивое чиновничество ставит каждому полезному предприятию; для других – расчистить себе путь к монополии, отличиться, получить кавалерию, так или иначе обделать свои дела. Если верить слухам, то министр просвещения, отставки которого ждало раздраженное его мерами общество, остался на месте, потому что несколько учащихся юношей целовали руки Ваши по возвращении Вашем в столицу после 17 октября. Следовательно, по мнению общества, эти знаки азиатского раболепия были сочтены за такую важную заслугу, что вполне изгладили зло, нанесенное обществу знаменитым циркуляром.

Честные чиновники и офицеры, сыновья и внуки тех частных царевых слуг, но не рабов, так искренне оплакивавших смерть Николая I, теперь служат не царю, а России. *Отцы и деды служили царю, видя в нем воплощение России. Сыновья и внуки служат, подчиняясь со стыдом и скорбью, видя, как порядки самодержавия уничтожают девять десятых пользы, которую они хотят принести.* Они ищут чистых должностей и не идут ни в жандармы, ни в государственную полицию. Крупный процент чиновничества сам не верит в прочность существующего порядка, потому что воочию видит, как далека от жизни чиновничья регламентация ее. После катастрофы 1 марта 1881 года объятые паникой провинциальное чиновничество воображало, будто в Петербурге политический переворот и террористами созывается учредительное собрание, о котором не мечтали и Желябовы. Наконец, чиновничество терпит от того же произвола и само, и в детях своих. *Офицеры тоже ропщут; дисциплина фактически сводится к тому, что стар-*

ший всегда прав. В последние годы снова множится редевший тип офицеров-дантистов, воскресает прежнее палачество. Теперь снова, как и в пору Николая I, водятся офицеры, с сознанием своей правоты рассказывающие о том, как они «дали в зубы солдатам». На солдат дисциплина обрушивается с удвоенной и утроенной тиранией. Суханов пытался бороться законными путями, вступаясь за обкрадываемых и побиваемых нижних чинов, – и кончил смертью террориста. Чем были порядки флота при Николае I, я знаю хорошо: отец мой, верный слуга царев, но не раб, не мог равнодушно говорить о них; и судя по слухам, они недалеко ушли вперед от прошлого. Масса чиновничества и офицерства – карьеристы, по приказу насаждающие сегодня то, что завтра будут выпалывать, и наоборот, и всегда доказывающие, что и насаждение и выпалывание на благо России, потому что на то есть высочайшая воля. Они сами отлично ведают, что творят; но их девиз: хватит на наш век и детей наших, а там хоть трава не расти!

Верховная власть не может руководствоваться таким девизом: на ней лежит ответственность не только за настоящее, но и за будущее страны, на котором неизбежно отзываются все меры ее. Наметенное зло не может входить в цели ее, но самодержавный монарх оказывается неизбежно ответственным за каждую кроху зла, творимую именем его. Он назначает чиновничество, управляющее Россией, он преследует все обличения зла, он оказывается солидарным с каждым губернатором, по-шемякински правящим краем, с каждым монополистом, живущим за счет народа, с каждым офицером-держимордой, с каждым шпионом, по доносу которого сошлют в Сибирь человека, политически невинного или виновного.

Во всех мерах правительства сказывается цель найти себе опору – это признание в слабости. Оно ищет опору в православии; но религия, поддерживаемая полицейскими мерами, застенками, – не опора. Охранители сами подрывают ее. Вот, на выдержку, один факт. Истеричная, немолодая девушка из московского титулованного семейства отправилась для исцеления к тихвинскому источнику, была как бесноватая схвачена монахами, насильно выкупана в источнике, заключена в грязную келью и от заклинаний, изгонявших бесов, сошла с ума. Родные нашли ее в ужасающем, отвратительном состоянии, и она вскоре умерла. Обер-прокурор синода не дал хода жалобам родных и замял дело, «чтобы не подрывать религию», что, конечно, ведет только к большему подрыву ее. В среде духовенства чиновничающего и побирающегося есть и люди честные, искренне проникнутые учением Христа; но эти люди счи-

таются подозрительными, вольнодумцами: нужна не мораль Христа, а обрядность, как политическая мера. И, несмотря на все меры, присяга все более и более утрачивает для простых сердец религиозное обаяние, и вера в помазанника вымирает. Белое духовенство озлобляется порядками консисторий и семинарий; из семинарий выходят самые крайние отрицатели. Все, что есть честного в духовенстве, видит всю ложь государственной системы, враждебной духу христианства. Людей, исповедующих Христову мораль, людей любви и мира, которые, как Соловьев, напомнили гласно о христианской заповеди «не убий», когда полиция и рабы кричали «убий!», преследуют именем монарха, носящего звание «благочестивейшего».

Земство, помощь которого призывало прошлое царствование, теперь лишается и прежних крайне скудных прав. Благодаря земству основано столько школ и больниц, сколько в тройной период времени не основало бы чиновничество. Тесный район самоуправления, отмежёванный земству, урезается оттого, что стесняет произвол мелких и крупных саграпов. Бывали примеры, что председатели получали секретное предписание от губернатора не выставлять имен таких-то кандидатов; губернатор исполнял приказ министра. Выборное право для ведения хозяйственных дел земства, законом дарованное земству, попиралось по воле министра. Пример неуважения к законности был подан им. На призыв правительства о помощи в борьбе с террористами земства некоторых губерний высказали свои желания: в них не было ничего республиканского, были скромные желания конституции; земство хотело гарантий от чиновничьего произвола, хотело, чтобы законы, управляющие жизнью миллионов, не создавались по воле одного человека, выработанные чиновничьими комиссиями, из которых редкий член имеет какое-нибудь понятие о жизни русской и еще более редкий найдет в себе мужество возразить против меры, проводимой министром, а еще менее – против одобренной свыше.

Земство хотело свободы слова, уничтожения административной ссылки, хотело гласности суда, неприкосновенности личности, права съезжаться на совещания по общим нуждам земств. Если в настоящую минуту земство безмолвно подчиняется новым мерам, еще более урезающим права его, то это не ручательство затаенным недовольством отцов. Не умер Бог в душе людей! Сознание человеческого достоинства, правды будет расти, и явятся не рабы подневольные, безмолвные, потому что они бессильны, – но граждане. Сила отпора копится медленно в ряду поколений и, наконец, скажется. История других стран дает уроки.

Люди слова, люди науки озлоблены, потому что терпится только слово лжи, рабски славословящее, распинающееся доказать, будто все идет к лучшему, которому само не верит; потому что нужна не наука, а рабская маска ее, передержка научных фактов для оправдания чиновничьей анархии. Молодежь озлобляется, озлобляются даже дети.

Вся система гонит в стан недовольных, в пропаганду революции даже тех, кому противны кровь и насилие. За неосторожное слово, за первый подпольный и часто взятый из одного любопытства листок юноша, ребенок – государственный преступник. Бывали 15-и даже 14-летние государственные преступники, сидевшие в одиночном заключении. Правительству ста миллионов страшны даже дети. У нас ссылают на 12 и более лет в Восточную Сибирь и даже на каторгу за то, за что в Австрии политические преступники отделяются двухнедельным арестом при полиции. В Австрии не было 1 марта. Изломанная, озлобленная молодежь уходит в красные. *Мне кровь противна, с какой бы стороны ни лили ее, но когда за одну кровь дают ордена, а за другую – веревку на шею, то понятно, какая кровь имеет для молодежи обаяние героизма.*

Рядом с карами по приговору суда у нас существуют еще полицейско-административные: последними правительство отделяется от врагов своих, когда нет достаточных улик для первых. Но что же это, как не незаконный произвол? Человека губят не на основании выясненных доказательств его действий, но на основании «внутреннего убеждения» чинов государственной полиции; а убеждение это складывается из перехваченного и произвольно истолкованного письма, потому что законной уликой для суда оно не могло служить; по доносам шпионов, «мутного источника», по признанию самих высших чинов. Приказы административной ссылки сформулированы так: хотя нет достаточных улик для осуждения по суду Н.Н», но он или она ссылается туда-то. Эти шемякинские приговоры перейдут к потомству; говорят, будто под ними стоит подпись Вашего Величества. Сколько гибнет жертв! Охранителям Вашим выгодно раздувать каждое дело: это доказательство усердия, приносящего чины, оклады и крупные суммы на секретные расходы, в которых отчетность невозможна. На суммы, поглощенные такой системой охраны, можно бы было в ином случае основательно улучшить быт народа и отнять у революционеров хоть один повод упрекать правительство.

Политические преступники – беззащитные жертвы произвола, доходящего до зверства. Сам гр. Толстой ужаснулся бы, видя

*всю меру превышения власти, грабежа и насилия, обрушивающуюся безнаказанно на несчастных, когда из столицы отдан приказ о строгих мерах. В силу забегания каждого низшего чиновника перед начальником, желания отличиться, паники быть заподозренным в сочувствии к политическим, если даст волю состраданию, каждый тюремный смотритель, этапный офицер, каждый сторож может безнаказанно грабить, зверски бить и истязать арестантов, даже женщин. Чем ниже падает камень, тем более растет сила удара, и каждая репрессивная мера, спускаясь все ниже и ниже по лестнице чиновничества, увеличивает в прогрессии свою губящую силу и падает на беззащитные жертвы. Жалобы оказываются бесплодными, и жертвы протестуют добровольной голодовкой или актом насилия, вызванным часто припадком сумасшествия. Все меры устрашения и исправления, начиная с административной ссылки и кончая виселицей и расстреливанием, не достигают цели. Является, конечно, известный процент сломленных и оподлеленных ссылкой, но люди эти вносят только разложение в общество и опорой власти быть не могут. Число политических преступников будет расти с временными колебаниями, расти, потому что воображение молодежи свыкнется с ссылкой, с казнями, расти, потому что в корне государственного порядка и общественного строя лежат причины, рождающие политические преступления. **Правительство, охраняющее себя безнравственными средствами – административной ссылкой, сонмами шпионов, розгами, виселицей и кровью, – само учит революционеров наших принципу: «Цель оправдывает средства».** Там, где гибнут тысячами жертвы произвола, где народ безнаказанно грабится и засекается, там жгучее чувство жалости будет всегда поднимать мстителей.*

Наконец, во имя чего в действительности принимаются все меры стеснения и пресечения? Во имя чего задавлено слово, уничтожена гласность суда, задавлена кроха самоуправления и плодятся новые власти – во имя ли мирного развития России, улучшения быта народа, просвещения общества или самодержавия дома Романовых, то есть, в сущности, для усиления власти чиновничества, этой современной опричнины? Хотя века изменили форму, принцип тот же: с одной стороны, опричнина, с другой – безгласная, всевыносящая земщина. Злоупотребления опричнины сознавали сами цари: Александр I, Николай I, Александр II бесплодно пытались искоренить их. Впрочем, всегда казнокрады подходили под манифесты, приносявшие политическим преступникам очень жалкое облегчение участи. Вы сами, Ваше Величество, окажетесь бес-

сильным в борьбе с злоупотреблениями, если и осуществятся учрежденные суда, имеющего судить и министров: бессилие неизбежно, потому что в основе всех царских мер лежит все то же бесправие, все та же безгласность общества.

Внутренняя политика Николая I стоила дорого России. Реформы Вашего Величества отодвигают Россию назад к этой мрачной поре. Горькие уроки Крымской войны заставили Александра II в конце 50-х и начале 60-х годов изменить политику. Неужели нужны еще такие же горькие уроки, чтобы вывести наружу всю гнилость государственного порядка? Спасение только в возвращении к реформам отца Вашего и дальнейшем развитии их. Свобода слова, неприкосновенность личности, свобода собраний, полная гласность суда, образование, широко открытое для всех способностей, отмена административного произвола, созвание земского собора, к которому все сословия призвали бы своих выборных, – вот в чем спасение.

Мера терпения переполняется. Будущее страшно. Если до революции, ниспровергающей монархию, далеко, то очень возможны местные пугачевщины, и вновь назначенное Вами земское начальство, которое еще лишним бременем неудобноносимым ляжет на плечи сельского мира, сделает, чтобы вызвать их более, чем могли бы то сделать революционеры наши. ***Народ будет привлекать к крови. Честные граждане с ужасом предвидят бедствия, которые в более или менее отдаленном будущем несет порядок опричнины, всевластной над земщиной, – и молчат, но дети и внуки их молчать не будут.***

Вы самодержный царь, ограниченный законами, которые сами издаете и отменяете, ограниченный еще более не исполняющим законы эти чиновничеством, которое Вы сами назначаете. ***Одно слово Ваше – и в России переворот, который оставит светлый след в истории.*** Если Вы захотите оставить мрачный, Вы не услышите проклятий потомства, их услышат дети Ваши, и какое страшное наследство передадите Вы им!

Вы, Ваше Величество, один из могущественнейших монархов мира; я – рабочая единица в сотне миллионов, участь которых Вы держите в своих руках, и тем не менее я в совести своей глубоко сознаю свое нравственное право и свой долг русской сказать то, что сказала».

Не знаю у кого как, а у меня после прочтения письма Марии Константиновны Цебриковой возникла мысль о жуткой исторической параллели, сложившейся в российской истории. Оказывается, и через сто лет после

падения Романовых, в сути нашего государства ничего не изменилось. Оно все также феодально-закоснелое, оно все так же презирает низы, все так же ломает через колено то, что противоречит интересам правящего сословия, все те же старо-феодальное воровство, кумовство, коррупция. И получается, что и через 125 лет после сигнала, поданного российской власти талантливой журналисткой, правящие круги России ничему не научились. Теперь упущен уже вдвое больший исторический срок, в течение которого можно было бы довести государственное устройство до совершенства. Сотни раз десятки тысяч людей пытались сделать как лучше, но в итоге получался феодализм в различных модификациях. Нынешнее государство, с его закабалением, угнетением, ограблением трудящихся – не исключение из этого.

Показательна реакция Александра III на обращение видной русской писательницы, журналистки, издательницы журнала «Воспитание и образование».

«Запереть эту старую дуру в монастырь» – вспылил, было, вся Русь самодержец, но внял учтивым возражениям приближенных и распорядился сослать Марию Константиновну в Вологодскую губернию.

В общественном мнении все сильнее стала нарастать обеспокоенность за будущее страны. Интеллигенция все активнее втягивалась в политику. Студенты агитировали по всякому поводу, земства, выходя за рамки своей компетенции, выступали за обязательное народное образование, отмену телесных наказаний, за справедливость и свободу. Наиболее отважные из этих собраний даже создали за рубежом нелегальный журнал «Освобождение», печатавшийся в Штутгарте, а затем в Париже. Нелегально проникавший в Россию, этот журнал стал настольной книгой всех тех, кто ждал перемен без загвоздок.

Необыкновенный взлет экономики России в царствование Александра III не улучшил жизни заводских рабочих, численность которых ежегодно прирастала десятками и сотнями тысяч. Этот люд, пришедший из деревни, концентрировался в пригородах крупных городов. При каждой фабрике строились огромные серые, мрачные казармы, где скученно обитала рабочая сила. Несколько семей снимали вскладчину одну крохотную комнату-каморку, отгораживаясь друг от друга лишь занавесками из тряпок. Кровати стояли вплотную друг к другу. Обитатели: мужчины, женщины, дети – делили друг с другом сон, любовь и отношения, недуги, ссоры и примирения. Порой, уходя на смену, рабочий освобождал свою койку за пятак другому работяге, едва приволокшемуся с ночной вахты. Койки не остывали, потому и звались «горячими» постелями.

Еще хуже приходилось обитателям ночлежек: там лежбища устраивались в 2-3 этажа, и никаких занавесок или шторок не было.

Убогие жилища, бедное питание, грошовое жалованье, отсутствие защиты от произвола фабрикантов – все это превращало пролетариат в превосходную почву для взрывных идей.

Крестьянство, насчитывавшее 80 процентов населения, роптало на обнищание, вызванное распределением земель не в его пользу. На 139 млн. десятин общинных земель приходился 101 млн. частновладельческих, значительной частью которых владели дворяне. Такое неравенство казалось крестьянам все более нетерпимым. Мужик постепенно стал подражать рабочим в их коллективной стачечной борьбе.

Как раз в эти годы и вступил на тропу революционной борьбы Владимир Бурцев. Вступил, зная, к чему приведет его это занятие, не страшась царских гнева и кары.

Растянутым, нескладным, однобоким получилось мое освещение романовских реформаторских конвульсий. Сознаю, что пошел на поводу у фактов, но очень хотелось, чтобы еще раз предстали красноречивые свидетельства истории, о которых нынешние господа России не желают знать сами и скрывают от ведения угнетаемой ими массы. Аплодирую оценкам описываемого периода знаменитого русского писателя Михаила Петровича Арцыбашева, почерпнутым мною в его «Записках писателя». Из-за своих резких суждений он был неугоден царизму, большевизму, крепостникам, но опровергнуть его выводы все они были не в силах. Поэтому сначала его изругали, а затем воспользовались приемом замалчивания. Прием этот, как известно, и незатратен, и очень действенен. Так и стал Михаил Петрович персоной incognito для современных образовальщиков. Вот что сказал Михаил Петрович в своих «Записках»: «Задыхаясь в рабстве, разлагаясь, страна дошла до пределов отчаяния и скорби, и внизу, под почвой, началась разрушительная работа, началось всенародное брожение. Подготавливался стихийный взрыв, страшный народный бунт, всероссийская пугачевщина. Было очевидно, что еще два-три десятка лет – и разразится ужасающая катастрофа, которая смет всю плесень рабства, омоет душу народа, и она, наконец, станет во весь свой рост, сильная, страшная и свободная. Увы, этого не случилось. Если нарывающий нарыв заклеить липким пластырем, гной, не находя естественного выхода, рассосется по всему организму и отравит его тысячами болезней. По условиям горькой действительности (жесткое табу на критику самодержцев – В.Г.) я не могу здесь говорить о тайнах и настоящих причинах того, что 19 февраля только загнало болезнь внутрь. Оно

наложило пластырь на страшную рану, вогнало гной в глубину жизни, отравило ядом холопства все русское общество. Гной стал проступать повсюду, по всему телу пошли нарывы. Холопство и хамство стали чуть ли не национальными чертами. Во всей стране почти не осталось человека, к которому не пристало бы слово «холоп». У нас даже и барин – сугубый холоп... Нигде во всей мировой литературе не было такого поэтизирования рабской преданности. Сколько прекрасных и умильных страниц написано нами о типах старых крепостных лакеев, готовых живот положить за своего господина. В их преданности, в их бесконечном унижении мы одни ухитрились увидеть поэзию и красоту и не заметили, что они – просто-напросто махровые цветы холопства, лакейства, доведенные до утраты человеческого Я. ...По-прежнему рабски трусливым и темным остался народ. Деспотизм и рабство продолжали оставаться обычными формами политической жизни. Покорный, притаился по углам обыватель.

...Тяжело и душно жить в стране, где за каждое смелое слово, если не пошлет тебя на конюшню барин, то тебя изругают и затолкают в холопы.

Нерешительное, несмелое возвратно-поступательное топтание русских реформаторов перед радикальным освобождением крестьянства не могло погасить подпочвенный жар народной злобы, нескрываемая, даже демонстративная солидарность монархов с исторически зажившимся в нашей стране феодально-привилегированным сословием, безбоязненные, самодурские высылки «за Валдай» (т.е. за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток – короче говоря, туда, где Макар телят не пас – В.Г.) привели в итоге к тому, что стихийная, тайная злоба вылилась в открытую организованную революционную борьбу за справедливость, за то, что крепостной – человек божий, а не тварь дрожащая».

Крайний индивидуалист, человек, принципиально считавший себя не бойцом, а художником-наблюдателем общественных ристалищ, Михаил Петрович Арцыбашев в очередной раз вразумлял русских: «Вся история человечества – история гибели мучеников и героев, и каждая эпоха – расцвет торжествующей пошлости. Лучшие люди, те, которым молится человечество, гибнут и гибнут, а по их трупам идет многоголовое человеческое стадо. Герои и мученики только на то и созданы, чтобы своей кровью спаять кирпичики общего счастья, а в каждом этаже воздвигнутого ими здания, прежде всего, поселяются торжествующие свиньи, на них похрюкивающие с нескрываемым презрением. Им, тупым животным – ВСЁ: новые изобретения, красивые здания, роскошь, богат-

ства, свобода и прекрасные женщины. А горе, страдания, мучительные раздумья и самопожертвование – всем тем, кто поверил в право на лучшую жизнь».

Но раньше других расправе над народовольцами радовались каратели и, сколь ни удивительно, социал-демократы. Каратели долго не замечали, что их представление о народовольцах как о самых опасных врагах самодержавия перестало соответствовать действительности. Сосредоточив все внимание на предотвращении террористических умыслов, царские силовики тогда явно недооценили социал-демократическую пропаганду и агитацию. В народовольце, даже если он был всего-навсего безоружным пропагандистом, они видели потенциального террориста, заслуживающего, следовательно, тяжкого судебного приговора или неременной высылки в отдаленнейшие места империи.

Социал-демократов же каратели считали куда менее опасными, преследовали вполсилы и наказывали умеренно. В результате, как свидетельствовал об этом М.С. Ольминский, революционная агитация и пропаганда стали требовать неизмеримо меньше жертв: за что раньше платились десятками лет каторги, и даже жизнью, за то после 80-х г.г. стали расплачиваться немногими годами ссылки. Народовольцы приняли удар на себя, создали социал-демократам более благоприятные условия нелегальной работы, и к 1895 г. разночинский этап русского освободительного движения сошел на нет, его сменил социал-демократический.

Поражение «Народной воли» в борьбе с царизмом вызвало острые споры об обоснованности террористической тактики. Большой вклад в прояснение политической обстановки сделал тогда (за короткий срок до своего ареста) возвратившийся в Россию Герман Лопатин. Уезжая из Лондона он провел много часов в теоретических размышлениях совместно с Фридрихом Энгельсом. Сошлись на многом, даже на том, что **свергнуть монархию в России вполне возможно и мирным путем**. Надо лишь создать объединение демократически и либерально-ориентированных общественных сил.

Лопатин Г.А. объяснял народникам, что они напрасно отвергают возможность для России развития по капиталистическому пути, зря не находят в капитализме ничего положительного. «Как можно не признавать то многое прогрессивное, что приносит капитализм? – горячо недоумевал дедушка русской революции. – Производство нужно развивать! Для нас капитализм – только хищник, вампир и зверь, эксплуататор, мать его ети. А надо, чтобы капитализм рос, развивался, чтобы создал действительные

условия для устройства социализма. Марксята же (т.е. марксисты, так у Лопатина – В.Г.) желают создать социализм декретом, сразу, одним махом. Вынь да положь – и баста! Коли не сегодня, так завтра. Не понимают, что социализм революционный – абракадабра, страшная чепуха. Он лопнет, оставляя страшное зловоние. А ведь Маркс предупредил: «Коли сместите сроки, прольете напрасно реки крови». Дальнейшее я вижу глазами Энгельса. Начнете вы изображать коммунистический кунштюк – и мир сочтет всех вас чудовищами. И даже хуже...».

Горьким откровением текли в душу начинающего революционера Владимира Бурцева слова корифея «Народной воли», легендарного в смелости и находчивости ее ветерана Германа Лопатина. Радовало, что до всего этого удалось добраться собственным разумением. Отрадным было совпадение мыслей о необходимости объединения антимонархических общественных течений, о достижении революционных результатов путем проведения радикальных общественных перемен, через общественное согласие, эволюционно. Нельзя вводить социалистические порядки в пылу неуправляемой народной ярости, в обстановке беззакония и погромов. Лишь в одном не совпали взгляды Энгельса с мнением Лопатина и Бурцева: в недопустимости террора, как стратегического средства революции. «Почему бы революционерам не иметь у себя в тылу вооруженные, обученные боевые единицы, которые в крайней нужде можно выставить против солдат, полиции и жандармерии? Имея перед своей физиономией столь увесистый кулак, правительство будет уважительнее и основательнее реагировать на народные требования, – не соглашались они с патриархом революционной теории. – Вооруженная борьба не является самоцелью, а лишь крайним средством, которое быстрее подтолкнет власть к обновлению общества».

Они ясно сознавали, что значимой военной силой революционные боевые отряды можно сделать, лишь объединенными усилиями, согласованными действиями всей оппозиции. Столь же ясно предвидели, что достичь такого единения антимонархических сил России почти невозможно. И, тем не менее, Владимир Львович долгое время лелеял надежду на такой исход, постоянно звал революционеров действовать сообща, не раз содействовал террористическим затеям социалистов-революционеров не только косвенно, но и непосредственно. Поняв неосуществимость своей идеи, он оставил ее. Но мечта о социализме, надежда на возможность этого чистого, гуманного, справедливого общества, свободы и естественного самовыражения жила в нем до самого конца.

От помыслов – к делам, от бесстрашия – к мужеству

Итак, пройдя основательный курс политического самообразования, Владимир стал активно искать контакта с революционерами-подпольщиками. Такую возможность судьба предоставила ему достаточно скоро. Уже в конце 1882 г. Бурцев впервые попал в тюрьму за участие в студенческой сходке во время так называемых поляковских беспорядков.

В воспоминаниях В.Л. об этом говорится так: «Известный в то время миллионер С. Поляков, у которого в обществе была установлена репутация казнокрада и крупного спекулянта, пожертвовал 200 000 рублей на устройство студенческого общежития при Петербургском университете. Об этом щедром пожертвовании Полякова открыто говорили как об одной из его новых афер. ... Когда императору Александру III доложили об этом крупном пожертвовании Полякова, он, говорят, (по крайней мере, нам об этом так говорили) тогда спросил: «А сколько он наворовал?». Прислужники Полякова добились того, что несколько студентов от имени всего студенчества преподнесли Полякову холопский благодарственный адрес и опубликовали его. Большинство студентов открыто протестовало по этому поводу. Подписи под контрадресом собирал студент В.А. Крыленко. За это он был исключен из университета, потом выслан из Петербурга. Студенты на сходке оказали сочувствие В.А. Крыленко, выразили свою с ним солидарность». (Бурцев В.Л. «Борьба за свободную Россию» стр. 6)

Упомянутый Бурцевым В.А. Крыленко – это Василий Абрамович Крыленко. Он – отец Николая Васильевича Крыленко, который отметился в русской истории гораздо отчетливее своего родителя. Небо было к Николаю исключительно благосклонно. Оказавшись в юрисконсультах фракции большевиков в 4-й Государственной Думе, он произвел хорошее впечатление на вождя партии В.И. Ульянова-Ленина, что впоследствии имело значение для назначения Крыленко-младшего верховным главнокомандующим русской армии, несмотря на то, что по военной части Николай Крыленко дослужился лишь до звания прапорщика. Затем буча революции вознесла его в кресло прокурора республики Советов, сделала его верховным инквизитором большого сталинского террора.

Но вернемся к куда менее счастливой судьбе Владимира Бурцева. По тогдашним временам обсуждение дел, подобных делу об исключении из университета, приравнивалось к стремлению ниспровергнуть существующий государственный порядок. Сходка была многолюдной, потому и арестованными оказались около 400 студентов. Некоторых выслали из Петербурга, некоторым довелось лишь побывать в тюрьме, но

потом быть выпущенными из нее. Бурцева тоже арестовали, и он просидел несколько недель в тюрьме Александровской полицейской части Петербурга. Сидел он, нужно сказать, с такими, кто со временем тоже попадет на государственные высоты: Крыжановский будет помощником премьер-министра П.А. Столыпина, его правой рукой, Илья Штрэнберг будет министром юстиции Временного правительства и некоторое время будет возглавлять народный комиссариат юстиции, сыграет судьбоносную роль в участии Бурцева. Константин Михайлович Станюкович – в данный момент народоволец, в будущем известный писатель.

После освобождения из тюрьмы Владимир успешно сдал экзамены так называемого годичного университетского акта, т.е. ликвидировал «хвосты» по учебной программе, и в феврале 1883 г. его снова зачислили в университет. Только это и было бы известно нам, если удовлетвориться лишь книгой воспоминаний Бурцева, увидевшей свет в 1923 г. Во втором издании этой книги (а в России – первом), вышедшем в 2012 г., дополненным указателем имен, составленным Татьяной Леонидовной Пантелеевой, имеются краткие сведения о виновнике беспорядков в Петербургском университете в конце 1882 г. Самуиле Соломоновиче Полякове. Там говорится следующее: «Годы жизни – 1837-88, предприниматель, строитель и владелец ряда железных дорог. Меценат жертвовал большие средства на благотворительные цели, особенно в области образования. На его средства были открыты несколько частных технических училищ, гимназий, детские приюты и проч. В 1882 г. пожертвовал 200 000 рублей на общежитие для студентов Петербургского университета».

Нам остается лишь поразмышлять, насколько правы или неправы были Бурцев и его коллеги, бунтовавшие против приветствия благотворителю, дарившего им комфорт и лучшие условия для учебы. По нынешним меркам такой щедрости С.С. Полякова остается только поклониться, но классовое предубеждение к имущим слоям общества, подогретое еще и подозрительным отношением к Полякову царя-антисемита, вызвало, как утверждает Бурцев, у большинства студенчества резкий протест против жертвователя. Студентам, как и царю, тоже казалось, что Поляков в очередной раз погреет руки за счет, якобы, благодетения.

А ведь благодетение было действительное, реальное, не инспирированное. Оно действительно облегчало жизнь сотням разночинцев на все годы их учебы в университете. Жизнь в общежитии университета освобождала их, перебивавшихся в труднейших условиях бедности, от необходимости снимать на последние гроши углы и каморки с отвратительными бытовыми условиями. Но убежденность русских людей, что богатый

человек не может быть хорошим человеком, а еврей – тем более, поднимала молодежь не благодарить почтенного жертвователя, а выразить ему неприятие и презрение. Вряд ли правы эти люди в своем безотчетном максимализме.

Бурцев говорит далее, что в тюрьме среди подвергнутых временному заключению были и царисты, которые относились к революционерам резко отрицательно и, уж тем более, к убийству царя Александра II. Завязались острые споры, в которых одним из самых горячих сторонников революционеров был, конечно же, Владимир Бурцев. Вскоре один из тех, кто внимательно и молча следил за юношескими дебатами, отвел бесстрашного оратора в сторону и посоветовал быть осторожным, т.к. среди содержащихся в камерах он определил несколько человек, которые студентами не являлись. Этим человеком оказался подпольщик, который и ввел Бурцева после освобождения из под ареста в так давно и так жадно чаемую Владимиром группу революционного действия. «Таким образом, – продолжает Владимир Львович, – когда я вышел из тюрьмы, то у меня уже было то, что мы называли тогда революционными связями».

Однако острастка Бурцеву со стороны полиции не дала ей желаемого результата. Упрямого, горячего, резкого и смелого, его не пугали предстоящие превратности судьбы борца за свободу и справедливость. Похоже, что, наоборот, подталкивали к лихости, бравате, показному неподчинению требованиям власти. Буквально на следующий же день после освобождения из тюрьмы он отправляется на контролируемый полицией студенческий бал в технологическом институте и там втайне от соглядатаев участвует во встрече с весьма популярным литератором и общественным деятелем Николаем Константиновичем Михайловским. Николай Константинович был подлинно любимцем молодежи, она устроила ему бурную овацию: аплодисментам, крикам не было конца. Такой прием оппозиционера вполне был похож на своеобразную политическую демонстрацию, на новый вызов власти, т.к. о прошедших беспорядках все еще горячо говорили, а на бал были приглашены несколько только что освобожденных из-под ареста протестантов, и Бурцев в их числе.

Присутствовала на бале и полиция, которой очень не нравился этот ажиотаж вокруг неизобличенного еще государственного преступника, каким она считала. Н.К. Михайловского. В поднадзорной части встречи со студентами Николай Константинович напомнил молодежи, что в жизни у каждого человека должны быть совесть и честь. Совесть обязывает человека служить народу, а честь требует давать отпор тем, кто мешает

этому служению. «Слова Михайловского, – признает Владимир Львович в своих воспоминаниях, – резюмировали то, что я давно вычитывал, давно усвоил в себе. Они остались на всю жизнь моими путеводными принципами». Тезисы Михайловского были восприняты присутствующими как призыв к революционной борьбе за народ против правительства. Публика аплодировала своему кумиру все горячее.

В конце вечера Михайловского и бывших вместе с ним Шелгунова и Ядринцева студенты незаметно для полиции увели в небольшую отдаленную комнату, в которой поместилось человек пятнадцать, где разговор пошел откровеннее и свободней. Эта встреча оставила в сердце пылкого Бурцева глубочайший след на всю жизнь, а Михайловский за свою речь был выслан из Петербурга вместе с Шелгуновым, который тоже сказал на том вечере несколько слов.

Революционные связи устанавливались Бурцевым очень быстро. Он пишет, что принимал участие в распространении литературы, гектографировании, печатании, был посредником в революционной переписке с границей, устраивал свидания революционеров, доставал инсептор, распространял литературу, помогал в устройстве типографий, принимал участие в печатании тайных литографированных изданий Лаврова, Маркса, Лассалья, Льва Толстого. Но делал это всегда на свой страх, как вольный человек, а не как член какой-либо революционной организации.

Свидание с нелегальными революционерами, распространение нелегальной литературы и т.д., все то, что я тогда изо дня в день делал, постоянно было сопряжено с риском быть арестованным. Я это прекрасно сознавал, но это нисколько не останавливало меня. Крах мог случиться ежедневно и он случился в начале 1885 г.» (Бурцев В.Л. Борьба за свободную Россию, Берлин, 1923, «Гамаюн», стр. 12).

Но не идейные расхождения были главной проблемой «Народной Воли», когда ряды сочувствующих ей пополнил Владимир Бурцев. Партия в то время рушилась под ударами грандиозных провалов, массовых арестов, провокаций и предательств. Сказывались трагические последствия чистосердечных признаний, сотрудничества со следствием введенных в заблуждение Григория Гольденберга, Ивана Окладского, Николая Рысакова. В придачу к этому полиция со злорадным торжеством пожинала плоды успешной работы втершихся в доверие Исполнительного Комитета провокаторов. Аресты шли один за другим, провал следовал за провалом. Чтобы не угодить под арест, нужны были и особая интуиция, и незаурядная предусмотрительность, и умение «прочитать» и проверить

человека. Видимо, отсюда и берет начало выдающаяся бурцевская «контрразведка революции», его опыт разоблачения провокаторов.

Борьба с революционерами находилась тогда, главным образом, в руках знаменитого мастера этих дел полковника Г.П. Судейкина. Пробился он на должность главного инспектора секретной полиции грязно, не брезгуя никакими способами для карьерного продвижения. Умный, вдумчивый, циничный, он по-настоящему стал виртуозом провокаторства, т.е. засылки агентов тайной полиции во враждебные царизму организации. Когда подосланному или завербованному в агенты полиции члену такой организации удавалось втереться в большое доверие революционеров, а то и пробраться в руководство революционной организации, Судейкин с его помощью подготавливал громкое покушение. Кого и как он разоблачил, на чем засыпались осведомители, Бурцев умалчивает, сообщает лишь то, что за справками об агентах к нему приходило много посыльных от различных партий. И здесь он не расписывает своих достижений, а показывает читателям лишь итог своей работы. В этом вся скромность Бурцева, его великолепная выдержка в замалчивании собственных заслуг.

Современный человек, невольно пресытившийся детективными историями, прекрасно представляет себе, сколько повседневного, порой круглосуточного изматывающего труда, сколько ума и интуиции требуется для избличения даже небольшой группы опытных преступников, а у Бурцева этих избличений сразу несколько десятков в одной упаковке, но он об этом говорит лишь упоминательно. Все потому, что это сделал он сам. Не коллектив, не бригада угрозыска. Такая сдержанность, закрытость, утаивание методов своей успешной работы по раскрытию замаскированных врагов понятна, когда борьба еще не закончена, когда впереди еще годы строжайшей осмотрительности, всесторонней конспирации. Но ведь Владимир Львович писал свои воспоминания сорока-тридцатью годами позже, когда невидимые поединки были позади, когда тайная борьба была кончена, и можно было открывать имена, явки, пароли, когда можно было и похвалиться своими победам. Но он не мог позволить себе такого.

Чтобы не касаться более тихого бурцевского героизма, приведу еще один красноречивый факт, но из другой сферы деятельности Владимира Львовича. В 1895-96 г.г. в Лондоне он в результате титанической работы создал огромный по объему справочник «За 100 лет» по истории русского освободительного движения с 1800 по 1896 г.г. Он гордился этой работой, но никогда не похвалялся ею, и в воспоминаниях ей отведено

всего несколько строчек. «В Британском музее много работал по истории русского революционного движения, составил и напечатал кропотливую работу». Вот только и всего об увесистом 2-х томнике уникальной информации, ни одного слова о трудностях и никаких подробностей. Почти так же, как в дневнике у Льва Николаевича Толстого в одной из его подённых записей: «Ничего не делал, писал «Хаджи Мурата»», о которой, разумеется, Владимир Львович знать не мог и Толстому не подражал.

Наверное, в немалой степени от лаконизма и завышенного самоограничения, в рассказах Бурцева личная сторона его очень мало освещена, мотивация поступков неоднозначна, и сам герой неоднократно предстает перед нами как человек непонятный, как персона incognito. Тем более что дневников он не вел, а в письмах к товарищам личной жизни не касался.

Летом 1883 г. Владимир переходит учиться на юридический факультет Петербургского университета, в мае 1884 г. перешел на второй курс, а осенью перевелся в Казанский университет. Несколько месяцев безвылазно работал в библиотеке Казанского университета, снова погрузился в историю русского революционного процесса и намеревался написать обстоятельную книгу, которая явила бы молодежи многие уже забытые имена. Довести задуманное до конца не удалось. Завершилась эта работа лишь во время нахождения Бурцева в Великобритании выходом сборника «За 100 лет», о котором упомянуто выше. В Казани же он не мог устраниваться от нелегальной работы, а это отвлекало от любимого дела, отнимало и время, и силы. В воспоминаниях он признается, что не мог тогда систематически и надолго отдаваться чему-нибудь кроме революционного движения. Приходилось подавлять в себе желание отдаться литературе, которую он, по его признанию, страшно любил и верил в ее огромное значение. Добавлю от себя, что временами Владимир Львович (правда, в более позднее время) даже переоценивал силу и значимость печатного слова в ряде конкретных ситуаций, ставя **газетно-журнальную работу впереди организационной**, и это тоже говорит о его глубокой, страстной любви к литературной деятельности, его **надеждах разбудить людскую совесть и сознание, прежде всего, через чтение революционных материалов**.

Напряженную работу прервал арест Бурцева в Казани 20 февраля 1885 г. Ко времени ареста он сделался заметным по активности нелегалом. Тяжело было на душе: революционные организации были разбиты, в обществе не было никакого оживления, всюду господствовал суровый полицейский режим. Жестoko подавлялось даже робкое про-

тестное выступление, как в прессе, так и в земствах. Но молодежь не падала духом, сбивалась снова и снова в революционные группы, искала единомышленников, надеялась на воссоздание мощной революционной организации, подобной легендарной «Народной Воле». Еще в начале 1885 г. Бурцев занялся вербовкой молодого пополнения восстанавливаемой «Народной Воли», для чего приходилось ездить и в провинцию, чтобы инструктировать новичков о способах революционной работы. В мае 1884 г. в Петербурге он встретился с известной активисткой старой «Народной Воли» Неонилой Михайловной Саловой, а летом в Москве – с Германом Александровичем Лопатиным. Однако формально **в «Народную Волю» Бурцев не вступил и во всю свою последующую жизнь он не был членом ни одной из множества партийных группировок.** Но практически в любом справочнике авторы статей приписывают ему членство в партии эсеров, иногда даже в анархистах. Это неправда. С Н.М. Саловой и Г.А. Лопатиным он встречался также и в Казани в ноябре 1884 г. и получил от них адреса конспиративных явок, как и адреса для переписки. К несчастью, он имел в то время общие дела с Германом Александровичем, адрес В.Л. Бурцева был внесен в блокнот Лопатина, который Лопатину не удалось ликвидировать до ареста. Следователи довольно быстро разобрались в лопатинском шифре: начались аресты. При обыске Бурцева полиция тоже обнаружила у него записи со сведениями о революционных кружках. Не успел он отделаться от обвинений в действиях, направленных на создание противоправительственной организации, как против него у полиции появилась гораздо более тяжелая улика. Это было его собственное письмо, которое он недавно отправил в Петербург в надежде на то, что оттуда ему помогут в расширении конспиративных связей. По всему было видно, что автор письма знаком с центральными фигурами революционного подполья и активно работает в провинции. В этом же письме Владимир просил прислать ему нелегальной литературы, а также прокламаций с печатью Исполнительного Комитета «Народной Воли», чтобы документально доказывать, что партия жива, действует, что в силе остаются заявленные ею программа и цели. С особым жаром он призвал питерцев заняться сбором средств на партийные нужды. Таким образом, оснований для признания молодого энтузиаста государственным преступником было достаточно.

После трех месяцев заключения в Казани Бурцев был переведен в Петербург и помещен в Дом предварительного заключения (ДПЗ). Месяца полтора сидел он там вместе с Николаем Шелгуновым и... Константином Станюковичем (!). Потом содержался в Петропавловской крепости,

в Трубецком бастионе. 6 ноября 1886 г. его приговорили к высылке в отдаленнейшие места Сибири на 4 года, и в декабре 1886 г. он оказался уже в Московской пересыльной тюрьме для отправки в ссылку.

Но не буду уподобляться сказочнику, нацелившемуся лишь на то, чтобы сказка скоро сказывалась. Надо ведь показать и условия, в которых действия «сказки» разворачивались. Тем более что условия заточения, в которых Бурцеву довелось обречь немало времени, были будто списаны с жуткой страшилки. Ведь кроме дома предварительного заключения, на этот раз, во время второго ареста, Владимиру довелось отдавать и одиночного заключения в каменном мешке Трубецкого бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Бастион этот представлял собой мощное пятиугольное фортификационное сооружение, составную часть оборонительного комплекса будущей столицы Российской империи. Возведен он в 1703 г. под руководством инженера Г.А. Герштенштейна при личном участии царя Петра Алексеевича Романова, т.е. Петра I. Надзор за строительством укрепления осуществлял сподвижник царя князь Трубецкой, имя которого и было присвоено бастиону. Строили бастион на скорую руку: сделали деревянно-земляным, т.к. несколько недель назад были разбиты наголову шведами под Нарвой и опасались нежеланного появления шведского десанта на зыбких берегах Невы, Бог поберег, и схватиться с Карлом XII войску Петрову довелось не на слабой «насыпнушке», а на более крепких местах. Зная о ненадежности такой фортеции, Петр I 13 мая 1708 г. лично заложил каменный бастион: назревала Полтавская баталия, строили быстро, и через год бастион был готов.

Вскоре казематы Трубецкого бастиона стали использоваться как арестантские камеры Тайной канцелярии. Мастерам пыточного дела было над кем и было где показать свое злодейское искусство. Там Петр I лично пытал своего сына-наследника.

После победы в Северной войне особой надобности в Петропавловке не стало, и с 1724 г. в Трубецком бастионе разместили Монетный двор с его мастерскими и вспомогательными службами. В начале 1826 г. часть казематов переоборудовали под камеры одиночного заключения для размещения дворян – участников восстания 14 декабря 1825 г. После этого за бастионом закрепилось название русской Бастилии.

В 1870-72 гг. в связи с мощным подъемом молодежного демократического движения («Хождение в народ») и намерением Александра II действительно проучить молодежь, взыскующую справедливости и

просвещения для народа, потребовалось резко увеличить количество «посадочных» мест. Трубецкой бастион был срочно перестроен, значительную его часть отдали под оборудование одиночной тюрьмы. Это двухэтажное пятиугольное здание содержало 69 одиночных камер и стало главной следственной тюрьмой в императорское время. Такой она оставалась и после революции, вплоть до 1922 г. Изменилось лишь название: она стала тюрьмой ПетроЧК. В этот период в ней содержались сотни заключенных, которых в ускоренном порядке «ставили к стенке»: юнкера, вставшие на защиту Временного правительства во время большевистского переворота, затем члены «Союза защиты Учредительного Собрания», лидеры кадетской партии, заложники времен «Красного террора», участники Кронштадтского восстания, другие реальные и мнимые враги большевистской власти. Все камеры были наполнены до отказа отправляемыми на расстрел. Расстреливали тут же, на территории тюрьмы, не останавливаясь перед тем, что выстрелы винтовок и треск пулеметных очередей слышат обыватели всей округи. Невинные люди гибли тысячами. Например, великие князья Дмитрий Константинович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович и Павел Александрович были расстреляны «в отместку мировой буржуазии» за то, что в Германии были убиты поднявшие восстание коммунисты Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

Само собой разумеется, что власть старалась всеми возможными способами не выпускать за стены темницы никакой информации об условиях содержания узников и установленных для них правилах поведения. С этой целью и стражникам приходилось поневоле отбывать пожизненное заключение с теми, кого они обязаны были строжайше охранять. Для них не было возможности сменить место службы, жить с семьей, пользоваться хотя бы малыми благами свободной или самостоятельной жизни. Здесь, в бастионе, они старились и умирали, не имея для себя иного прибежища. А обреченные на пожизненную каторгу не имели права на переписку, как и на свидания с кем бы то ни было, в том числе и со своими родственниками. Поэтому жизнь этой тюрьмы стала тайной тайн несокрушимою. И так протянулись более 150 лет полнейшего безгласия относительно участи заживо погребенных.

Но, по мере все большего проникновения в сознание народа необходимости сопротивления свинцовым мерзостям жизни, революционерам, начиная с Сергея Нечаева, удалось постепенно преодолеть полнейшее молчание тюремной обслуги, повести с ними разговоры о нетерпимой по несправедливости мужицкой доли, о необходимости покончить с по-

мещицей кабалой. Постепенно устанавливалась доброжелательность и поддержка между некоторыми охранниками и отдельными заключенными. Тем более что помощь узникам почти всегда была материально мотивированной, а служивые за свои услуги заламывали поначалу непомерные цены. Таким способом стали проникать сквозь тюремные затворы на волю записочки к товарищам по борьбе и ответы от них друзьям-каторжанам. Бывало, что и нелегальные газетки проносили в ранее безмолвствовавшие камеры-склепы.

Таким же образом прорвались на свободу так называемые «Письма от мертвых к живым». Их было три, совокупно они составили полную тетрадь душераздирающего текста. Тетрадка пошла по рукам, текст переписывали, распространяли по сохранившимся революционным кружкам в провинции. Весной 1885 г., именно тогда, когда Бурцев ждал своей участи в одиночке Трубецкого бастиона, текст писем поместил в свою книгу «Россия под властью царей» Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский. Книга вышла в Лондоне на английском языке и предназначалась именно для британских читателей, среди которых было огромное число сочувствующих борьбе русских революционеров.

Предвидя упреки за «чрезмерный» пессимизм в оценке царского режима и публикацию фактов, поверить в достоверность которых отказывается здравый рассудок, Сергей Михайлович пояснял в предисловии к книге: «Книга написана беспристрастно. Заранее зная, какие факты в книге будут восприняты с особенным недоверием, как непреложное правило, я избегал преувеличений, стремясь сказать лучше слишком мало, чем слишком много. Это было нетрудно, ибо злодеяния царского правительства столь безмерны, что смягчать их так же бессмысленно, как вычерпывать кружкой беспредельный океан. Я не хочу класть слишком густых теней, но и не собираюсь смягчать красок. Я рассказываю лишь голую, неприкрашенную правду. Я подошел к выбору фактов с величайшей осторожностью, отбрасывая все, что казалось мне недостаточно обоснованным, не вполне достоверным».



С. М. Степняк-Кравчинский

Письмам из бастиона Сергей Михайлович предпослал собственные сведения о режиме содержания заключенных в Петропавловской крепости вообще. «Здесь во все времена, – говорит он, – заключенных подвергали наиболее суровому и строгому контролю. Брошенных сюда без приговора, просто по личному указу царя, их держали в казематах крепости долгие годы, часто – всю жизнь. ...Особое внимание обращалось на то, чтобы узники, погребенные в ее мрачных глубинах, хранилищах позорных и зловещих тайн властителей, никогда не получили возможность открыть эти тайны ни одной живой душе. Отсюда практика скрывать личность заключенного под номером, словно под железной маской, утаивать его имя, его происхождение, его прошлое. Даже комендантам крепости под страхом строжайшей кары запрещалось об этом узнавать. Стражники, приносившие пищу такому таинственному узнику, входили в камеру в страхе и убегали оттуда со всех ног, боясь, как бы случайно оброненное ими слово, не привело их в камеру пыток никому не доверявшей Тайной канцелярии. ...Штат охранников непревзойденно вышколен, исполняет свои обязанности, как немые рабы какого-нибудь султанского сераля. В крепости все поставлено на военную ногу. Здесь нет штатских или наемных смотрителей. Все обязанности тюремщиков выполняют солдаты и жандармы, и над их головой всегда висит дамоклов меч военного устава. Соглядатайство и взаимный шпионаж надежно вырабатывает неукоснительность соблюдения стражниками своих обязанностей. ... Тюремная стража никогда не меняется, ведет замкнутую жизнь, ни с кем не общается, даже с другими стражниками крепости.

Петропавловская крепость отличается не только своей военной организацией, но и строгостью надзора и суровостью дисциплины. В то время, как в большинстве тюрем считается достаточным не допускать общения политических арестантов между собой, в этой крепости им не дозволено разговаривать даже со служителями. Последним запрещено отвечать на самый простой и невинный вопрос политического узника. Стражников всегда по двое. Если один из них проявит хоть малейшее сочувствие или снисхождение к участи заключенного, второй обязан донести об этом начальнику. Поэтому всегда двое и всегда молча. Молча они подают еду, молча уходят. В полном одиночестве и молчании происходит все, связанное с прогулкой, и т.д. Толстые каменные стены глушат звук – перестукивание невозможно. Вдобавок к этому соседние камеры справа и слева то пустовали, то заселялись жандармами».

А вот несколько выдержек из наиболее содержательного, третьего, письма о жизни узников Трубецкого бастиона. «Политических узников

отправляют в Трубецкой бастион обычно через несколько недель после приговора. В один прекрасный день, возможно, как раз в то время, когда Вы больше всего рассчитываете на ссылку в Сибирь, Вам вдруг объявляют, что Вы должны переменить камеру. Вам приказывают одеть арестантскую одежду, самой важной частью которой является серая куртка, украшенная желтым бубновым тузом. В сопровождении двух жандармов: одного впереди, а другого сзади – Вас ведут через лабиринт переходов и подвалов, пока Вы не дойдете до двери, открывающейся, словно в стену. Здесь часовые останавливаются, дверь открывается, Вам приказывают войти.

Одну-две минуты Вы ничего не видите: такой здесь царит глубокий мрак. На Вас повеет таким холодом, что Вы сразу продрогнете до костей, и Вас обдаст затхлым запахом сырости и гнили, как в склепе или непроветриваемом погребу. Свет проникает сюда только из слухового окошка. Стекла темносерые, т.к. покрыты толстым слоем пыли, лежащей на них будто целую вечность.

Когда глаза привыкнут к темноте, Вы осознаете, что находитесь в каземате размером в несколько шагов по диагонали. В одном углу кровать с соломенным тюфяком, прикрытым грязным, тонким, как бумага, одеялом. В ногах кровати высокое деревянное ведро с крышкой. Это параша, которая будет отравлять Вас своим отвратительным зловонием. Узникам Трубецкого бастиона не дозволено покидать свой каземат ни для каких надобностей ни днем, ни ночью, за исключением установленной прогулки, и параша часто остается неопорожненной несколько дней кряду. Вы вынуждены жить, спать, есть и пить в воздухе, отравленном гниением и убийственным для здоровья.

В Вашей прежней камере Вы имели несколько необходимых предметов, обычно считающихся обязательными для людей, уже вышедших из состояния дикости, таких, как гребенка, щетка, кусочек мыла. Разрешалось также иметь несколько книг и немного чаю и сахару, доставляемых Вам, разумеется, за Ваш счет. Здесь Вам отказывают даже в этих жалких предметах «роскоши». По правилам Трубецкого бастиона заключенным запрещается обладать чем-либо, не выданным тюремной администрацией. А т.к. они не выдают ни чая, ни сахара, ни щетки, ни гребенки, ни мыла, то Вы всего этого лишены.

Но хуже всего отсутствие книг. Книги не дозволено получать ни в одной части крепости. Обыкновенные заключенные все годы своего заточения должны довольствоваться книгами, имеющимися в тюремной библиотеке, состоящей большей частью из журналов, восходящих к пер-

вой четверти века. Но узники Трубецкого бастиона обречены на участь в тысячу раз хуже смерти: не могут получать *никаких книг*. Они не могут даже читать евангелие. Никакие занятия: ни умственные, ни физические – не нарушают томительного однообразия их жизни. Малейшее развлечение, ничтожнейшая забава также строго караются... На прогулки каторжан всегда выводят на 10 минут. Часто прогулки совершенно отменяются в продолжение 3-4 дней без всякой причины, только из-за нерадивости слугителей.

Пища, выдаваемая арестантам, совершенно недостаточна и очень скверного качества. Но как бы она ни была плоха, заключенные ее получают. Поставщики продовольствия, они же администрация тюрьмы, чтобы сэкономить на отпущенном властями довольствии, покупают самые худшие и дешевые продукты, разумеется, кладя разницу себе в карман. Мука – всегда тухлая, мясо – редко свежее. Чтобы придать больше веса хлебу, его так плохо пропекают, что даже корка несъедобна. Если хлебный мякиш шлепнуть в стену, он прилепится к ней, как известка.

Вот состав пищи узника Трубецкого бастиона: 3 фунта ржаного хлеба вышеописанного качества, утром кружка мутного желтоватого кипятку, якобы чаю. В 11 полкружки квасу, в 12 обед, состоящий из миски щей, сваренных из хлебных крошек и кислой капусты и нескольких кусочков мяса, никогда не превышающих 20 г. К ужину те же кислые щи без малейших признаков мяса.

...Тюрьма плохо отапливается, и узники мерзнут так же жестоко, как голодают. В камерах всегда холод, стены сырые. Когда смотритель делает обход, он никогда не снимает меховой шубы. Заключенные же, у которых нет шуб, коченеют даже в постели, и в продолжение всей долгой зимы руки и ноги у них, как ледяные.

Но и летом узникам немногим легче, ибо в теплые месяцы в Петербурге, построенном на болоте, более нездоровый климат, чем в остальное время года. Отвратительные санитарные условия в крепости, сырость в камерах, отсутствие солнечного света, зловоние, исходящее от параша, скверная пища (летом она еще худшего качества, чем зимой) увеличивают мучения узников и роковым образом отражаются на их здоровье. Смертность среди них ужасающая, самые крепкие не в силах сопротивляться губительному воздействию тюремного заточения. Они вянут, как цветы, лишённые воды и воздуха. Тело у них исхудалое, а лицо одутловатое и покрытое пятнами. Руки непрестанно нервно дрожат.

Казалось бы, от отсутствия книг и постоянной темноты в камере у узников должно сохраниться зрение. Но как раз наоборот. Глаза у них

воспалены, веки опухли и с трудом раскрываются. Но самые губительные и частые болезни, вызывающие смертность и самые жестокие страдания – это дизентерия и цинга. Причиной обоих недугов является исключительно недостаточная и нездоровая тюремная пища. Однако захворавшим этими болезнями дают ту же еду наравне со всеми: тот же сырой черный хлеб, ту же бурду вместо чая, те же кислые щи, что для больных хуже яда. Не удивительно, что при таких условиях больной, лишенный всякого ухода, теряет силы и быстро умирает. У него отнимаются ноги, он не может больше дойти до параша, служители отказываются менять солому, и больной остается лежать и гнить в собственных испражнениях.

...Кошмары Трубецкого бастиона не поддаются описанию. Только Данте было бы под силу изобразить этот ад. Если бы Вы могли видеть наших больных! – восклицает автор. – Год тому назад цветущие юноши, здоровые и сильные - теперь это сгорбленные, дряхлые старики. Ноги им не служат более. Многие уже не встают с постели и преданы гниению до того, что они, живые, издают трупный запах. ...Врач боится подойти к постели больного, не только послушать его, но даже сосчитать пульс. Задав больному несколько вопросов, он изрекает свой стандартный приговор: «От Вашей болезни нет лекарства». ...По правилам Трубецкого бастиона больным нельзя оказывать никакой помощи. Для них нет лазаретной прислуги. Вдобавок ко всему вода из заржавленных труб так отвратительна, что, если бы даже все другие условия были благоприятны, из-за одной воды больной не может надеяться на выздоровление». «Не находят к себе снисхождения даже умалишенные, – говорится в другом письме, – а вы можете себе представить, сколько их на нашей Голгофе. Считают излишним отправлять их в больницу для излечения и справляются с ними здесь по-своему. По целым дням вы слышите иступленные крики над собой или где-нибудь в отдалении. Это ударами истязают умалишенного, привязанного смиренной рубашкой к кровати».

...Выдержка из правил Трубецкого бастиона: «Заключенные-каторжники беспрекословно подчиняются администрации крепости. За проступки администрация крепости может присудить к содержанию в карцере от 1 до 6 дней на хлебе и воде или присудить к плетям, но не более 20 ударов, к розгам, но не более 100 ударов. За более важные преступления военный суд приговаривает заключенных к шпицрутенам до 8000 ударов, к плетям – до 100 ударов».

«Но это еще не самое худшее, – продолжают узники. – В Трубецком бастионе сидят и женщины. Положение женщин здесь особенно ужасно. Наравне с нами они отданы во власть служителей и жандармов. Их полу

не оказывается ни малейшего внимания и снисхождения. Их постели, как и наши, ежедневно разрываются при обысках. Их белье прямо на теле рассматривается целой сворой солдат и жандармов во всякое время. И это еще не все. Жандармы могут входить в их камеры днем и ночью, как им будет угодно. ...Случаи насилия весьма возможны, и попытки к ним бывали нередко. Такова трагедия жизни политических каторжан в Трубецком бастионе.

Отрезанные от всего мира, окруженные гнусными и изуверскими тюремщиками, которые всегда хранят молчание, открывая рот для того лишь, что бы ответить грубостью и оскорблением на самый невинный вопрос. Узники под конец замыкаются в своем угрюмом безмолвии, живя в своих одиночных склепах без мыслей, без надежды, без будущего. Потеряв возможность общаться с товарищами, заточник постепенно теряет счет дням, затем – неделям и месяцам. Если он болен и не выходит на прогулку, он перестает замечать даже времена года. Так живет он в хаосе времени, и конец наступает лишь с умопомешательством или смертью.

Однако это еще не все, что можно сказать об ужасах Трубецкого бастиона. Есть еще казематы в подвальном этаже крепости – мрачные подземелья ниже уровня Невы, настоящие каменные склепы, полные мглы даже в полдень и кишашие отвратительными насекомыми. Это камеры смертников, предназначенные царским правительством для тех, кого оно ненавидит больше всех и кого обрекло на смерть: одних во мраке одиночества, других – при свете дня на эшафоте».

Далее в письме говорится: «Оконца этих казематов находятся на уровне земли и затапливаются, когда поднимаются воды реки. Они зашлонены толстыми прутьями решетки и облепившей их грязи. Если в ЛУЧШИЕ камеры никогда не заглядывает солнце, то легко вообразить, какая царит тьма в этих казематах.

Стены покрыты плесенью и по ним струятся грязные потоки воды.

Но что в них поистине ужасно – это крысы. В каменном полу оставлены большие отверстия для прохода крыс. Просьбы произвести починку пола остаются поэтому без последствий. Крысы постоянно врываются в камеру, поднимают отвратительную возню, стараясь взобраться на вашу кровать. В этих отвратительных клетках приговоренные к смерти проводят свои последние часы. ...Теперь здесь, между прочим, сидит женщина с ребенком. Это Анна Васильевна Якимова. День и ночь бережет она ребенка, чтобы его крысы не съели».

Тут не хватает сдержанности уже и автору книги. Полный негодования, Сергей Михайлович снова просит читателей поверить тому, что

прочли они в «Письме мертвых» к живым. Он пишет: «Но, – слышу я восклицание моих читателей, – возможно ли это?! Возможно ли, чтобы в конце 19 века в великой столице, хоть внешне похожей на цивилизованный город, могли совершаться столь чудовищные, столь вопиющие злодеяния?! Письма, написанные людьми истомленными, переживающими адскую агонию, не преувеличение. Слишком много прямых и косвенных свидетельств тому, что безымянные узники, к несчастью, написали только правду. Напомню, что выдержки из приведенного письма, опубликованные в «Таймсе», обошли всю европейскую печать, но русское правительство не осмелилось ни оспаривать его достоверность, ни опровергнуть изложенные в нем факты».

На этом Степняк-Кравчинский прекратил показ письма из Трубецкого бастиона. Можно было подумать, что на том оно и закончилось. На самом же деле в нем есть еще более отвратительные картины быта невольников. Опустив их, Сергей Михайлович просто-напросто пощадил нежные, впечатлительные сердца британской читающей публики. Продолжение (или часть его) напечатано в книге Юрия Владимировича Давыдова «Анатомия террора», и вот что можно почерпнуть из него. «Мужественная, великая мать! – говорится дальше о Якимовой. – Окруженная со всех сторон признаками смерти, она не перестает вдыхать жизнь в своего ребенка. Кормясь пищей, от которой груди должны наполняться водою, она заставляет свой организм вырабатывать молоко, чтобы спасти дитя от голодной смерти. Она не приходит в отчаяние, не разбивает ему голову о ненавистные стены, чтобы сразу положить конец его и своим страданиям.

Условия, нас окружающие, рассчитаны на то, чтобы отнять у нас человеческий облик. Тогда, как тело истощается, хиреет, лицо получает отеки до необыкновенных и уродливых размеров. Почти у всех трясение рук, потому что нервные центры должны были ослабеть.

Наших сестер едят вши. У мужчин вши заводятся в бороде. ...Из всех человеческих потребностей за нами признаются две: мы можем только принимать некоторое количество пищи и извергать ее. Мы низведены до степени червей.

Вооружитесь мужеством, чтобы продолжать чтение письма. Дорого дали бы мы, чтобы вам не приходилось читать эти строки, но вы, братья, должны знать, что здесь происходит. Здесь не делают различия между здоровым и больным человеком. Дизентерия и цинга – обыкновенное явление. Силы больного при таких условиях быстро падают, он лишается употребления ног. Он не может встать для отправления естественных надобностей. Но здесь не полагается лазаретной прислуги. Что же далее?

Больной остается лежать и гнить в собственных извержениях, пока служителю не заблагорассудится переложить его на чистую солому.

...Пройдет еще некоторое время, и места всех нас очистятся для новых страдальцев. Но есть сила, которая дает нам возможность если не жить, то, по крайней мере, страдать и умирать. Это – мысль, что мы служим точкою опоры для рычага революции. Как добрый гений, она при нас неотступна. Она застилает неприглядную действительность и на своих могучих крыльях уносит за пределы тюрьмы, за пределы одичалого, бесстыжого варварства и раскрывает перед нами книгу судеб человечества. Чем больше страдания и унижения, которым нас подвергают, тем выше полет наших мыслей. Поразительный факт: лица, унижающие нас, не смеют нас презирать. Мы видим это ясно в замешательстве какого-нибудь административного лица, случайно столкнувшись с ним, когда мы, слабые, плетемся на прогулку, или когда это лицо после полугодового отсутствия случайно заходит к нам в камеру. Они трепещут, видя нашу стойкость, они непроизвольно склоняют свой стан в почтительном поклоне, их глаза полны ужаса и вместе с тем уважения. Во избежание столь тягостных для них впечатлений начальство предпочитает скрываться от нас. Мы всецело во власти солдат и служителей».

Заканчивает С.Н. Кравчинский свое повествование об ужасах Трубецкого бастиона поистине эпическим апофеозом российской каторги. «Из всех этих фактов, – пишет он, – можно сделать лишь один вывод: каким же быть должен политический строй, если его деяния порождают столь страшные последствия? Не будь даже **кровью написанных писем**, поведавших нам о них, у нас не могло бы быть никаких сомнений».

Другой факт: «26 июля 1883 г. в Москву прибыла из Петербурга группа политических мужчин и женщин, находившихся в заключении в Петропавловской крепости и приговоренных к ссылке в Сибирь. Привожу рассказ очевидца – человека, заслуживающего абсолютного доверия, описавшего, в каком состоянии находились эти люди **после одного года заточения в казематах Трубецкого бастиона**. Добавлю лишь, что их преступления, несмотря на вынесенные им свирепые приговоры, не считались особенно важными.

Прибытие петербургского поезда вызвало большое смятение среди должностных лиц и всех, кто был на вокзале. Большинство узников не могли выйти из вагона без посторонней помощи, некоторые были даже не в силах двигаться. Конвойные хотели пересадить их прямо в наш поезд, чтобы скрыть от публики их состояние, но это оказалось совершенно невозможным.

Шесть узников сразу упали без чувств. Другие еле могли стоять на ногах. Начальник конвоя распорядился принести носилки. Но, носилки не проходили в дверь вагона, и конвойным пришлось поднять лежащих без сознания и вынести их на плечах, как мертвецов. Первым вынесли из вагона Игната Волошенко. Он сначала был приговорен к 10 годам каторги по процессу Валерьяна Осинского, затем к 15 годам каторги за попытку бегства из Иркутска. Впоследствии он был переведен на Кару и, наконец, в Петропавловскую крепость, где его продержали год. Тяжело представить себе ужасный вид и состояние этого человека. Снедаемый свирепой цингой, он больше походит на разлагающийся труп, чем на живое существо. Раздираемый ежеминутно конвульсиями, умирая... Но хватит: я совершенно не в силах писать о нем более.

После Волошенко вынесли Александра Прибылева, осужденного по процессу 17-ти в июне 1882 г. к 15 годам каторги. У него не было цинги, но длительное голодание и полное расстройство нервной системы так ослабили его, что он не мог стоять на ногах, то и дело теряя сознание.

Затем несли Фомина. Бывший армейский офицер, приговоренный к пожизненной каторге, он походил больше на мертвеца, и в течение 2 часов несколько врачей тщетно пытались привести его в чувство. Только уж к вечеру удалось немного подкрепить его, чтобы отправить в дальнейший путь. В 1882 г. в Женеве он был цветущим человеком, воплощением здоровья.

Следующим за Фоминым шел Павел Орлов, сначала присужденный к 10 годам каторги, затем к 25 годам за попытку к бегству и заточенный вместе с Волошенко в крепость, где его продержали год. Ему было всего 27 лет, и, прежде необыкновенно рослый и крепкий, он был теперь неузнаваем. Он весь согнулся, как глубокий старик. Одна нога была у него так сильно искалечена, что он едва передвигался. У него была цинга в самой ужасной форме: кровь непрестанно сочилась из десен и стекала с губ.

Пятая была женщина Татьяна Лебедева. Вынесенный ей смертный приговор 15 февраля 1882 г. был заменен вечной каторгой. Но для Татьяны тюремное заключение, будь то длительное или кратковременное, уже было не страшно: ее дни были сочтены. Величайшим благодеянием, которое могли оказать Татьяне, было бы ускорение её смерти. Она была не только в последней стадии чахотки и вся разрывалась от неистового кашля, но, снедаемая цингой, потеряла почти все зубы, и десны сгнили, оставив челюсти совсем оголенными. Она походила на скелет, покрытый пергаментно-желтой кожей. Единственно живыми были на ее лице все

еще живые лучистые чёрные глаза. Ей было лет 28. Хотя и хрупкого сложения, она до ареста в 1881 г. отличалась превосходным здоровьем.

За Лебедевой шла Якимова Анна, держа на руках своего 18-месячного младенца, рожденного в Трубецком рavelине. Самые бездушные из присутствующих не могли без жалости смотреть на бедного ребенка. Казалось, будто он вот-вот вздохнет в последний раз. Но сама Якимова не казалась сломленной ни физически, ни нравственно и, несмотря на предстоящую ей бессрочную каторгу, держалась спокойно и твердо.



Якимова А.В.

«Бурцев, несомненно, знал и о «Письме мертвых к живым» и о режиме содержания заключенных в Трубецком бастионе, т.к. «Народная Воля» распространяла это послание не только в рукописных списках, но и напечатала его в 1883 г. отдельной брошюрой, которая тоже широко пошла по России, а он в то время был в «Народной Воле» в числе самых деятельных активистов». Давно решивший отдать себя делу свободы в России, он прекрасно понимал, что путь в Трубецкой бастион или какой-либо другой каторжный централ ему всегда открыт, но попасть туда так скоро и с такими незначительными уликами он не предполагал.

Еще до ареста, для того чтобы создать к себе более или менее нейтральное отношение полиции, Владимир на случай обыска на видном месте сохранял кое-какие письма, рукописи, которые давали бы жандармам представление о нем как о благонадежном человеке. Это были наброски его литературно-научных работ, переписка с научными обществами (а ведь было-то Владимиру в то время 21-22 года!) и т.п. Впоследствии было установлено, что эта психологическая ловушка сработала.

Немало значило и то, что он отрицал авторство перехваченного полицией письма из Казани в Петербург руководству «Народной Воли», о котором было сказано раньше, Владимир смог так запутать ситуацию, что по подозрению в этой крамоле были арестованы десятки казанских Владимиров и даже писатель Владимир Галактионович Короленко, живший в то время в Нижнем Новгороде.

Положение казалось достаточно благополучным. В таком духе и были составлены бумаги о Бурцеве в министерстве юстиции, но испортил всю игру жандармский полковник, расследовавший дело. Ему

удалось обманом получить свидетельское показание одного из привлеченных к расследованию знакомого Владимира Львовича о том, что он об этом письме слышал от самого Бурцева. Но решающее значение имела характеристика этого полковника в отношении хитроумного нигилиста: «Его никак нельзя выпустить. У него все книги о народных школах, о народном образовании, о земствах. Мы знаем, куда это все ведет. Таких людей, как Бурцев, нельзя щадить. Их надо топить, как щенят». Потому-то и перевели Владимира Львовича из Дома предварительного заключения в Трубецкой бастион Петропавловки, и вместо предполагавшихся 3 лет ссылки в Западную Сибирь ему вкатили 4 года в Восточной Сибири.

Сам Бурцев писал об этой истории следующее: «Все сведения были в мою пользу, и через некоторое время я должен был быть выпущен на поруки. Об этом сказали тем, кто приходил ко мне на свидание. Я ждал освобождения со дня на день. Но вот однажды, часа в 2 ночи, когда я уже спал, в мою камеру вошел тюремный надзиратель и заявил мне, что меня требуют со всеми вещами в контору. Я был убежден, что меня освобождают, но в конторе я увидел усиленный конвой, очевидно, ожидавший меня, и понял, что речь идет вовсе не об освобождении.

Меня при таинственной обстановке куда-то повезли в карете. Когда мы ехали через Троицкий мост, я догадался, куда меня везут.

...В Трубецком бастионе Петропавловской крепости после краткого предварительного опроса меня ввели в камеру и там, в присутствии жандармов и человек десяти конвойных заставили меня раздеться донага.

Затем дали туфли, окружили конвоем и в таком виде меня повели по коридору в другую камеру. Здесь стали делать тщательный осмотр всего меня: расчесывали волосы, смотрели в уши, залезали в рот и т.д. Я чувствовал, что все присутствовавшие там 15-20 человек, внимательно следят за движениями двух обыскивавших меня жандармов. Того, что я тогда испытывал, мне не приходилось никогда раньше испытывать. Я чувствовал себя в положении какой-то вещи, которую бесцеремонно вертят в руках. Я тут только понял, что представляют собою обыски в Петропавловской крепости, о которых молва создавала легенды.

Соппротивление было, конечно, бессмысленным. Я только стиснул зубы и как-то одеревенел. Обыск кончился. Никакой, как тогда выражались, крамолы, спрятанной в моем теле, не нашли. Меня нарядили в арестантский халат, и за мной захлопнулась тюремная дверь. ...В продолжение многих месяцев я просидел в Петропавловской крепости. С воли

до меня не долетало никаких вестей. К лету следующего года меня снова перевели в Дом предварительного заключения. Зимой 1886 г. рано утром, часов в 6-7, когда было по-зимнему темно, я услышал, как отпирается дверь в камеру. Я думал, что это уже принесли мне кипяток, и схватил приготовленный с вечера чайник. Ко мне в камеру вошел старик-сторож в валенках.

Стражники ходили в валенках, чтобы они могли неслышно подкрадываться к камерам и в глазок подсматривать за заключенными. В одной руке у него был фонарь и тюремные ключи, а в другой – какая-то бумага. Сторож несколько присанился и прочитал мне о том, что по докладу министра внутренних дел состоялось всемиловиднейшее постановление о высылке меня в отдаленные места Сибири под надзор полиции на 4 года. Долгое мое сидение кончилось как-то по-семейному, как будто лишний раз принесли мне кипяток».

После этих слов невольно возвращаешься к мысли о необыкновенной скромности Владимира Львовича в описании своих бед, трудностей и успехов. Здесь же и место показать читателю первый документ из «Дела об отправлении под надзор полиции административного ссыльного государственного преступника Владимира Львовича Бурцева». Дело это хранится в фонде 32 Государственного архива Иркутской области, зарегистрировано в описи 5 под номером 405 за 1886 г. Но прежде необходимо поставить последнюю точку над *i* в рассказе о заключении Бурцева в Трубецком бастионе в последующие годы его долгой жизни. Оказалось, что Юрий Давыдов в «Анатомии террора», хотя и дополнил текст «Письма мертвых к живым», но не до конца.

Заключительную часть этого послания он приводит в другой своей книге, названной «Бестселлер», посвященной описанию жизни В.Л. Бурцева. Исходя из своих творческих соображений, Юрий Владимирович утверждает, что Бурцев прочел этот фрагмент, якобы, начертанный оловянной ложкой, на стене камеры. Не стоит разьяснять, почему такое дело было невозможно в условиях Трубецкого. Это ясно для тех, кто хоть по диагонали пробежался по строчкам письма каторжан.

Простим художнику его безвредный вымысел и дочитаем обращение «К живым» до конца. «Друзья и братья! Из глубины нашей темницы, говоря с вами, по всей вероятности, в последний раз в жизни, мы шлем вам наш завет. В день победы революции, которая есть торжество прогресса, пусть она не запятнает этого святого имени актами насилия и жестокости над побежденным врагом. О, если бы мы могли послужить жертвами искупления не только для свободы в России, но и для увели-

чения гуманности во всем остальном мире! Человечество должно отказаться от одиночного заключения, от насилий и истязаний заключенных в каком бы то ни было виде, как оно отказалось от колеса, дыбы, костра и прочего.

ПРИВЕТ ВАМ! ПРИВЕТ РОДИНЕ! ПРИВЕТ ВСЕМУ ЖИВОМУ!».

Каким величием духа, каким самозабвенным благородством дышит каждая строка этого необыкновенного, небывалого в мире завещания!

Погибающие безвинно, стоящие на самом краю могилы, измученные беспросветной несправедливостью, убиваемые теми, кто убил десятки их друзей, братьев и сестер, они могли бы зайти в яростном гневе, требовать от соратников отмщения врагам за безмерную несправедливость, истребления с корнем этого уродского сословия. А они заботились, прежде всего, о нравственности нового общества, о чистоте его помыслов и рук, заклинали не запятнать святое имя революции насилиями и жестокостями над поверженным врагом. Да было ли что-то подобное в мировой практике?! А если и было, то слава Всевышнему! – **и мы** не отстали в душевной красоте от лучших людей мира.

Владимир Львович, с юных лет преклонявшийся перед героизмом, самоотречением и благородством членов «Народной Воли», был потрясен последним напутствием старших товарищей. Их наказ стал для него главнейшим жизненным императивом. Не позволяя ни грамма бесчестия себе, он жестко требовал того же и от товарищей по борьбе, старался не допустить в революционных кругах силового разгула, очень много сделал для спасения высших чинов царской администрации и прочих неугодных советской власти социальных элементов.

Честь народовольца Владимир Львович не ронял до конца. Остаться самим собой, не поступиться порядочностью ни на йоту, живя среди циников, подлецов и предателей, в условиях безысходной бедности, бесприютности, непонимания и насмешек – такое под силу только человеку стоического мужества.

Бурцев сидит еще в Бутырке, ждет половодья весны 1887 г., а из министерства внутренних дел в Иркутск, генерал-губернатору Восточной Сибири особой почтой идет важная бумага, давшая начало названному выше делу о ссылке его в отдаленные места Сибири под гласный надзор полиции. Смотрим в лист I. «По высочайшему повелению Иркутскому губернскому правлению. Секретно. По всеподданнейшему докладу управляющего министерством юстиции по обвинению Владимира Львовича Бурцева в государственном преступлении Государь Император в

8 день октября 1886 г. высочайше повелеть соизволил разрешить дознание административным порядком с тем, чтобы выслать Бурцева на жительство под надзор полиции в местности Восточной Сибири на 4 года». Далее следует распоряжение исполняющего дела генерал-губернатора Восточной Сибири (подпись неразборчива): «Согласно предложению господина председательствующего в совете главного управления Восточной Сибири от 30 ноября (1886 г.) за №1524 назначить местом водворения Бурцеву г. Балаганск, я покорнейше прошу губернское правление по прибытии сюда этого поднадзорного распорядиться отправить его на жительство в назначенный ему город с учреждением на месте надлежащего полицейского надзора на указанный выше срок. О времени прибытия Бурцева в Иркутск прошу меня уведомить». Прибудет Бурцев в Иркутск практически через год, а о нем беспокоятся, определили куда его загонять, и как о человеке о нем уже кое-что знают.

ЧАСТЬ II

ПЕРВАЯ ССЫЛКА И ПОБЕГ

*Бедная Россия – осиротелая мать!
Отнимают от тебя твоих лучших де-
тей, в клочья рвут твоё сердце. Кро-
вавым восходит солнце твоей свобо-
ды. Ты твердо помнишь имена своих
палачей – сохрани в памяти и имена
их доблестных жертв, которые от-
дали за тебя жизнь. Облей их лаской,
омой их слезами. Награда живым –
любовь и уважение, награда павшим в
бою – славная память о них. Память
им всем! Память!*

Леонид Андреев

Прибудет Бурцев в Иркутск практически через год, а о нём беспокоятся, определили, куда его загонять, и как о человеке о нём уже кое-что знают.

Как и откуда им это известно? По перечню особых примет титульного листа, присланного из столицы «Дела». «Из каких званий?» – вопрошает вторая графа перечня, тут же и ответ: «Дворянин Уфимской губернии Бирского уезда». Дальнейшее целесообразней расположить столбиком, как и на листе «Дела».

Возраст – 22 года.,

Приметы: рост 2 аршина 7 вершков.

Волосы: на голове темнорусые, бакенбарды.

Борода едва пробивающаяся, усы едва пробивающиеся.,

Брови русые.

Глаза темно-серые.

Нос длинный, середина выше,
Рот обыкновенный,
Зубы: с левой стороны нижний выше соседнего зуба.

Где судился: административным порядком.

Год приговора и наказание: по распоряжению Главного тюремного управления от 6 ноября 1886 г. За № 1336 Бурцев с арестантской партией отправляется в г. Москву как осужденный к высылке под надзор полиции в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири сроком на 4 года.

Какую исповедует веру: православный /приблизительно/

Семейное положение: холост.

Как следует (закованным или под одним присмотром): под одним присмотром.

Они знают, в каких условиях доведется Бурцеву жить, как будет он чувствовать себя в Балаганском уезде. Короче говоря, жизнь ссыльных им хорошо известна. А много ли знает о ссылке как таковой наш неспокойный герой? Знает, и немало. И читал, и от возвратившихся оттуда, где Макар телят не пас, тоже немало слышал. Но полной картины изгнания, не побывав в нем, он, естественно, знать не мог. Надо думать, что горячность и авантюрная предприимчивость начинающего революционера мешали ему составить о ссылке действительное представление. Тяготы и губительность ссылки – это тоже своего рода заточение, и это снова покажет наше обращение к русскому Данте, т.е. к Сергею Кравчинскому и его книге «Россия под властью царей». «Ну и загнул, – запротестует сейчас новоявленный царист или старый скептик. – Степняка поставил на одну доску с Данте. В чем их сходство?». Да в том, что оба описывали ад, с той лишь разницей, что Данте измыслил страшилку для слабонервных и бездумно верующих, а Степняк-Кравчинский описал не выдуманные муки и страдания грешников в реальном мире, а с документами и фактами в руках показал, что жизнь русского трудового народа и его заступников-революционеров – это самый настоящий, реальный, не придуманный земной ад.

Одной лишь главы о Трубецком бастионе достаточно, чтобы согласиться с этим. А сколько еще столь же изуверского было в России под властью царей?! Поменьше мнить надо, а побольше знать.

Читайте, вникайте, ищите государственный смысл в повальных репрессиях против невинных людей и легко поймете, что реакция последней четверти 19 века стала причиной последующих революционных событий и пагубой для российского государства. А начните со

Степняка-Кравчинского: он и детали покажет и суть. Вам слово, Сергей Михайлович!

«Любой суд, каким бы он ни был, не может осудить человека лишь потому, что он невиновен, – пишет знаток русской юдоли печали Кравчинский. – Если у него найдут революционную листовку или он предоставит свою квартиру для революционных целей, его могут приговорить к смертной казни. Ну, а если невозможно уличить его ни в одном неблагонамеренном поступке или приписать двусмысленные речи? Считать его нескомпрометированным? Отпускать его на свободу? Нет, русское правосудие не может позволить себе такой мягкости. Российский суд приговаривает подозреваемого к самым тяжким наказаниям только потому, что полагает, что он поздно или рано может совершить преступление. Оно убеждено, что арестованный – такой же злонамеренный, как и его друзья, которых удалось упечь на каторгу. Кто может поручиться, что отсутствие доказательств – не чистая случайность? И даже если он до сих пор ничего не совершил, о чем это говорит?

Лишь о том, что ему не представился случай. Вот и все! Разве позволит полиция людям, попавшим в ее сети, уйти с миром? Это было бы также нелепо, как дать военнопленному вернуться во вражеский стан. Такое совершенно недопустимо. Будучи революционером по убеждениям, он при первой же возможности возьмется за свое. Это всего только вопрос времени». (Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей, с. 74).

Помните тираду жандармского полковника, добывшего при обыске Бурцева в качестве «улик» переписку молодого студента с учеными обществами и книги по организации народного образования и земских учреждений: «Ну и что, что это – не улики? Мы хорошо знаем, к чему это ведет. Таких людей, как Бурцев, надо топить, как щенят!»? Владимира по всем статьям должны были отдать на поруки, но мнение озлобленного чиновника обрекло юношу на 4 года ссылки в Восточную Сибирь.

С.М. Кравчинский полагал, что царское правительство с одинаковым безразличием отправляет в ссылку людей, оправданных судом, свидетелей, дававших правдивые показания, граждан, по каким-то необъяснимым причинам подозреваемых в близости к тайному сообществу, и резюмирует: «Из всего этого напрашивается вывод: для русских подданных возможность быть высланными в места, не столь отдаленные, ограничивается исключительно только волей жандармов и полиции. Кроме того, под тем предлогом, что поведение ссыльного было не вполне удовлетворительным, срок его изгнания может быть продлен до бесконечности». Среди высланных в 1871 г. по делу Нечаева была и Вера

Засулич, которой прокурор не предъявил никакого обвинения. Она провела в ссылке несколько лет и обрела свободу, лишь совершив побег. Родственник Веры Засулич и один из свидетелей на процессе, Никифоров, тоже был выслан и не вернулся.

Ссылка в Сибирь стала таким обычным явлением, что при упоминании о людях, оправданных по тому или другому политическому процессу, сразу же спрашивали: «А куда их сослали?». Удивлением было бы, если бы их не сослали.

Но что все-таки представляет собой эта административная ссылка? По сути своей, это тягостная, оскорбительная система ограничения свобод и прав человека, приводящая лишь к увеличению преступности. «К человеку, осужденному в административном порядке, отношение гораздо хуже, чем к преступнику», – писал Сергей Кравчинский. Он хуже преступника потому, что является источником заразы. Он будет отравлять своим ядом всех, с кем приходит в соприкосновение. Поэтому его надо изолировать даже в месте его изгнания. Он может развратить людей также и с помощью писем. Поэтому надо отрезать и этот способ общения с миром. На основе этих принципов и действует полиция.

Высланным запрещалась всякая педагогическая деятельность, принятие к себе учеников для обучения искусству и ремеслам. Запрещалось чтение публичных лекций, присутствие в публичных заседаниях ученых обществ и, вообще, всякого рода публичная деятельность. Ссылным не разрешалось работать печатниками, литографами, фотографами, библиотекарями, заниматься продажей книг и печатных материалов.

Физический труд дозволялся, но местный губернатор мог запретить такое занятие по своему усмотрению. Не допускалось использование ссылных на государственной службе или в местных общественных учреждениях. Из-за острой нехватки грамотных людей допускалось принять ссылного переписчиком, но лишь по персональному разрешению министра внутренних дел. Также по специальному разрешению МВД можно было сделаться врачом или аптекарем. «Имейте в виду, – подчеркивает Стенняк-Кравчинский, – получить специальное разрешение министра не легче, чем добиться отмены приказа о высылке. Нищенское, от казны пособие на полуголодное существование получают лишь люди из привилегированных сословий. Непривилегированные получали денег от казны вдвое меньше привилегированных, чисто символическую сумму. Мало того, предусматривалась возможность лишить сосланного и этой милостыни. Проверялось любое письмо, адресату выдавалось лишь то, в котором жандарм не усматривал ничего предосудительного».

Нетрудно представить себе, какова жизнь в подобных условиях, но это лишь часть душевных и физических лишений, которые довелось перенести каждому подневольному поселенцу. Где-нибудь подальше, вероятно, представится возможность дополнить сведения Степняка-Кравчинского впечатлениями о Сибири и ссылке от Константина Михайловича Станюковича, который, как помнит читатель, был некоторое время в Доме предварительного заключения одновременно с Бурцевым и был отправлен в ссылку в Томск в 1886 г., но немного раньше Бурцева. А через три года после Бурцева тем же самым путем ехал Антон Павлович Чехов, регулярно публиковавший свои путевые наблюдения в петербургском журнале «Новое время». Оставим по возможности в стороне законы, правила и параграфы и взглянемся в реалии сурового быта изгнанников.

Своеобразным везением, беспорной удачей в ссылке считалось попасть в населенный пункт, где томилось несколько изгнанных из России. В таком случае была возможность организовать коммуны и коллективным бытом спасти себя от депрессии, а то и голодной смерти. Коммуна – обычное явление в русской студенческой жизни. Беспорная полезность этого объединения и объясняет ее живучесть среди русских людей. Численность коммун бывает разная, слишком громоздкие не создаются.

Вместо одной трудноуправляемой и чреватой внутренними противоречиями, создаются 2-3 группы составом поменьше, в которых дела идут дружней. Каждая коммуна имеет общую кассу. Каждый из ссыльных вносил в кассу все, что получал из дома или каким-то способом зарабатывал, не считаясь с тем, больше или меньше вносят в кассу его товарищи. В таких коллективах был крепок дух братства, бескорыстия и совестливости. Только благодаря такому союзу множество бедных, полубоморочных от голода людей получали возможность продлить свое существование. Не будь братского объединения и содружества, сотни ссыльных ежегодно погибали бы от голода и лишений.

Облегчает скучную и скучную жизнь ссыльных летнее время. Летом не так страшно: можно собирать грибы и ягоды в окрестных лесах. Этого не положено по предписанию, но начальство обычно смотрело сквозь пальцы на такое нарушение правил, запрещающих ссыльным выходить за черту города. Летом можно читать, что зимой делать очень трудно, т.к. свечи дороги, а ссыльные бедны. Для освещения жилища они могут позволить себе лишь фитили, плавающие в жире или лучину из смолистых щепок. От такого света слабеет зрение. Зима для них – бесконечное время непрекращающихся бедствий и полного бездей-

ствия, проклятая пора. Единственный способ убить время – ходить друг к другу в гости. Жалкое и совершенно недостаточное это развлечение, но помогает то, что ссыльные живут как бы семьями, готовы поделиться между собой последней коркой хлеба. Но всегда одни и те же лица, всегда одни и те же разговоры. В их жизни не происходит ничего нового, им нечего уже больше сказать друг другу. Люди тащатся сначала в один дом, потом – в другой, надеясь найти там что-нибудь новенькое, интересное, но уходят разочарованные. Так повторяется изо дня в день, к кому ни зайди – результат одинаковый. Тоска, внутренняя опустошенность, нервная усталость не покидают изгнанников.

То, что жестокость политической ссылки бессмысленна в видах пользы для государства, доказывает официальный отчет генерала Баранова, служившего петербургским градоначальником и Нижегородским и Архангельским губернатором. «Из опыта прежних лет и из моих личных наблюдений, – писал генерал, – я пришел к убеждению, что административная ссылка по политическим причинам гораздо скорее может еще более испортить и характер, и направление человека, чем поставить его на истинный путь, а ведь последнее официально признавалось целью высылки. Переход от обеспеченной вполне жизни к существованию, полному лишений, от жизни в обществе – к полнейшему отсутствию такового, от более или менее деятельной жизни – к вынужденному бездействию производит настолько губительное влияние, что нередко, особенно за последнее время, стали попадаться между политическими ссыльными случаи помешательства, попытки самоубийства и даже самоубийства. Все это является прямым результатом тех ненормальных условий, в которые ставит развитую в умственном отношении личность ссылка. Не было еще случая, чтобы человек, заподозренный в политической неблагонадежности на основании действительно веских данных и сосланный административным порядком, вышел из нее примиренным с правительством, отказавшимся от своих заблуждений, полезным членом общества и верным слугой престола. Зато, вообще, нередко случается, что человек, попавший в ссылку вследствие недоразумения или административной ошибки, уже здесь, на месте, под влиянием частью личного озлобления, частью – вследствие столкновения с действительно противоправительственными деятелями – сам делался неблагонадежным в политическом отношении. В человеке, зараженном антиправительственными идеями, ссылка всюю своей обстановкой способна только усилить это заражение, сделать из человека идейного практического революционера, т.е. крайне опасного. Человеку, неповинному в революционном движении, она,

в силу тех же обстоятельств, прививает идеи революции, т.е. достигает цели, обратной той, для чего она установлена. Как бы ссылка административным порядком ни была обставлена с внешней стороны, она всегда вселяет в ссылаемого непреодолимую идею об административном произволе, и уж это одно служит препятствием к достижению какого бы то ни было примирения и исправления.» Прав был этот откровенный генерал: бывшие ссыльные почти поголовно вступали в террористические группы и партии. Как исправительная мера, административная ссылка оказалась нелепостью. Тем не менее, одержимые патологической злобой, и царь, и его ненормальный министр внутренних дел граф Д.А. Толстой считали, что положение о ссылке отменять не следует, и неуклонно проводили его в жизнь.

Гонимый тупой упертостью российских сатрапов, горькую чашу ссылки испробует (к счастью, не до дна) и наш молодой невольник, но прежде чем разворачивать его сибирскую Одиссею, мы прямо-таки обязаны представить читателю заключительный абзац главы об административной ссылке из книги «Россия под властью царей». В абзаце этом не публицистика, в нем – суровейшее обвинение тому, кто был угнетателем многомиллионного народа и не желал дать этому народу свобод и прав больше, чем его левая нога того пожелает, т.е. так обожаемому теперь многими Александру III. Вот что с гневом бросил в лицо царизму Сергей Кравчинский: «Сколько изгнанников! Сколько погубленных жизней! Деспотизм Николая убивал людей, уже достигших зрелости. Деспотизм двух Александров не давал и не дает им возмужать, набрасываясь саранчой на юные поколения, на молодую поросль, едва только показавшуюся из земли, чтобы пожрать эти нежные всходы. Какую другую причину можем мы найти нынешнему бесплодию России в любой области духовной жизни?! Наша современная литература, правда, гордится великими писателями, ...их творчество берет начало еще в 40-е годы. Романисту Льву Толстому 57 лет, сатирику Щедрина 61 год, Гончарову 73 года, ...новое поколение ничего не создает, ничего совершенно. Торжествует бездарность. Ни один из нынешних писателей не показал себя достойным наследником традиций нашей могучей словесности. ...Жизненные силы последующих поколений похоронены под снегами Сибири и в самоедских деревнях. Это хуже чумы. Чума приходит и уходит, а царское правительство угнетает страну уже 200 лет и будет продолжать угнетать ее еще, Бог весть, сколько. Чума убивает без разбора, а деспотизм выбирает свои жертвы из цвета нации, уничтожая всех, от кого зависит ее будущее, ее слава. *Не политическую партию сокрушает царизм – это*

стомиллионный народ душист он. Вот что творится в России под властью царей!».

Трудно не согласиться и не удивиться, что эти слова, провидчески написанные еще в 1885 г., были бы несмываемым обвинением царям Романовым, если бы революционеры устроили им суд. Такого суда не было. Зато есть суд истории, который принял обвинения великого гражданина России, ее самозабвенного патриота Сергея Михайловича Кравчинского.

Итак, о Бурцеве в Иркутске знают, поджидают его, и место жительства уже определили, а он томится в Московской пересыльной тюрьме, ожидая скорейшего прихода весны 1887 г. Он знает, что ссылают его на 4 года в Сибирь, а Сибирь-матушка велика, Якутия – тоже Сибирь. Тревожно на душе, ищут выхода изворотливый ум и непокорный характер, все настойчивее подступает мысль о побеге. Знать бы сейчас, куда зашлют, тогда можно было бы уже сейчас что-нибудь приготовить для драпа.

Немного конкретнее о месте поселения ему станет известно в Тюмени, где находится Главная экспедиция о ссыльных, которая распределяет изгнанников по направлениям и объявляет об этом направлении, но до Тюмени еще так далеко, так долго, так много времени уйдет впустую! Ищет в тюремной библиотеке справочники о Сибири, о путях следования, о городах, о занятиях населения. Но поиски тщетны. Ни справочников, ни атласов, ни карт здесь нет. Нет их и на воле. Знакомый ему по Дому предварительного заключения Константин Станюкович ехал в ссылку с семьей, ему дали возможность собраться, подготовиться к дальней дороге. Он искал путеводители и справочники по магазинам и книжным лавкам, но не нашел ничего, рождающего доверие. Случайно встреченный им бывалый человек посоветовал ему: «Ищите в попутчики сведущего человека. В книжках-то все вранье. Со сведущим человеком надежнее». И действительно, пожив в Сибири, Константин Михайлович лично убедился, что городами в Сибири можно считать – и то с большой натяжкой – 5-6 населенных пунктов. Лишь в этих центрах действительно водится жизнь, и где возможно предположить способы существования, хотя бы приблизительные к человеческим, по его словам. «Разные Нарымы, – сообщал он, – Сургуты, Каински, Гизиги, Вилюйки, Туруханки и немало им подобных собачьих мест на географических картах, в учебниках и в воображении наивных людей фигурируют под громким званием городов и важно значатся в списке населенных мест империи. А в городах этих случается жителей сотня-другая».

Тот же бывалый человек развеял ложно романтические предположения Константина Михайловича о сибирской жизни. «Везде нынче, – заявлял он, – не особенно сладко живется, везде дичь еще порядочная. Но такой дикой, такой заскорузлой стороны, как Сибирь, я не видал. Запасайтесь терпением и персидским порошком. Это необходимейшие вещи и в дорогу, и на месте. Да не забудьте купить самые высокие калоши, чтобы в сибирских городах ходить по улицам. Грязь везде такая, что потонуть можно». В тон бывалому человеку вторил и сведущий попутчик: «Там, в Европе, вы просто едете, а у нас вы, так сказать, совершаете нечто вроде военной экспедиции, сопряженной со всевозможными случайностями и историями, предвидеть которые так же трудно, как трудно не иметь их, хотя бы Вы обладали воловьими нервами и русским терпением».

Обратите внимание, эти страсти и тернии предстоит претерпеть человеку, практически свободному, едущему в коляске с запасом лекарств, одежды, кое-чего из продуктов. Бурцев же после Томска пойдет по Сибири пешком, по непролазной грязи, многие месяцы под дождем, зноем и снегом. Хорошо еще, что жандармы предписали ему следовать незакованным, под одним только присмотром стражников. Из описаний Станюковича и Чехова мы еще увидим, чего стоит этапнику всего лишь один день перехода от одного этапного пункта до другого. У Владимира Львовича же, как у древнегреческого спартанца, ни слова о своих дорожных страданиях. О многомесечном, в полторы тысячи верст, подневольном прогоне он в своих воспоминаниях написал следующее: «В мае 1887 г. нас через Нижний отправили в Тюмень. От Нижнего до Перми ехали на арестантской барже, из Перми по железной дороге до Тюмени, от Тюмени до Томска снова на пароходе, а от Томска до Иркутска пешком по этапу». Вот и все! Всего одно предложение в две строки. Не сказано даже, что в Нижнем его встречала мать, получив разрешение на свидание с сыном, но при виде арестантской баржи упала в обморок. Её унесли, а Бурцева увезли – свидание не состоялось.

Что представляла собой арестантская баржа, от которой слабонервные и чувствительные люди падали в обморок, описал Константин Станюкович. Сам он с женой и детьми ехал в ссылку в Томск за свой счет на пароходе, в каюте второго класса. Баржу тянул за собой именно их пароход, так что видеть арестантов Константину Михайловичу довелось и на ходу, и на остановках, когда баржа устанавливалась бок о бок с буксировавшим ее кораблем. Вот эта картинка из его книги «В далекие края»: «В некотором расстоянии за пароходом, на крепком, натянувшем-

ся буксире, бурава и вспенивая острым носом воду, двигалась длинная, черная, мрачная арестантская баржа. Она казалась безлюдной на вид: на палубе, кроме рулевых да часовых с ружьем – ни души. Многочисленные невольные пассажиры этого плавучего «мертвого дома» заключены в тесном и душном пространстве под палубой. Смотреть на берега они могли лишь в небольшие окошечки с железными решетками, пропускавшими мало свежего воздуха и света». В Тобольске Константин Михайлович видел и баржу, и арестантов в непосредственной близости, когда суда стояли бортами рядом. «В пространстве между крышей баржи и палубой, огороженном вдоль бортов толстой железной решеткой, толпились старики и дети, молодые мужчины и женщины. Эта громадная железная клетка была разделена на несколько отделений. В одном из них были люди в кандалах и арестантской одежде, в другом – без кандалов и в своем платье, в третьем были семейные, которых сопровождали жены и дети. Внизу, под палубой – жилое помещение, одиночные камеры. Рубки, расположенные по концам баржи, предназначались для привилегированных и для больных. Для политических есть особенное отделение. Они были невидимы. Еще одно свидетельство, подтверждающее утверждение Степняка-Кравчинского, что административно высланный содержался хуже преступника, что его старались обречь на максимально возможную изоляцию, лишить всяких контактов с людьми. Это делалось для того, чтобы политические не могли распространять свою «революционную заразу»».

Станюкович продолжает: «Арестанты стояли у решетки, глазели на пароход и на вольных людей, покупали у торговки хлеб под наблюдением этапных солдат, шутили, громко смеялись, острили, по временам позвякивая кандалами. У всех почти пассажиров баржи был бледно-серый, с зеленоватым оттенком цвет лица, тот характерный арестантский цвет, неразлучный с недостатком питания и свежего воздуха. С парохода арестантам передавали через этапных солдат милосердные подаяния: переселенцы передавали преимущественно копеечки, булки и куски сахара. Вносили свои лепты и классные пассажиры. Принимая подношения, арестанты крестились».

Легко представить себе, каким был цвет лица политссыльных, которых, как мы видим, даже на стоянках не выпускали не то чтобы прогуляться до торговки булками, но даже на палубу вообще. И таким образом они томились в барже все девять суток долгого водного пути протяженностью более двух тысяч верст по Иртышу, Тоболу, Оби и Томи до Томска.

Близкой по положению была участь свободных крестьян, переселявшихся тогда в Сибирь в надежде обрести там землю обетованную. Станюкович посвятил им немало страниц своей небольшой, но исключительно ценной по информации книге о России 80-х гг. «С Нижнего, – пишет он, – вы уже встречаетесь с массой переселенцев, направляющихся из разных концов России, а из Тюмени плывете, имея на буксире арестантскую баржу, в которой скучена партия человек в 700, плывущих на каторгу, поселение или в административную ссылку. Часто буксировали и баржи с переселенцами, иногда по две сразу, одна за другой».

Жутко читать описания пыточных условий, которые переносили эти несчастные искатели лучшей доли, и невозможно не возненавидеть правящий слой России, который был так бесчеловечно глух к страданиям своего народа, так беспричинно и бессмысленно презирал его. Константин Михайлович свидетельствует: «На кораблях и на баржах большинство живого груза составляли переселенцы – крестьянские семьи со множеством детей. ...Видели мы их постоянно. В Перми видели целыми вагонами, по Уральской же железной дороге обгоняли их между Екатеринбургом и Тюменью, плыли вместе 9 дней до Томска. На пути обогнали 2 парохода с баржами, специально нанятыми переселенцами. Труден и скорбен путь будущих колонизаторов, хотя они пробираются не по каким-нибудь лесным дебрям, непроходимым и пустым, а передвигаются цивилизованным способом: на пароходах и баржах на глазах у публики и чиновников. Взятки, бесправие, целые толпы народа по нескольку дней стоят лагерем под городами в ожидании парохода, не зная, куда двинуться. Тиф нередко косит этих людей. Они скучены во множестве на палубах, на небольших клочках свободного пространства, остающегося между рубкой, вторым классом, складом дров, дымовой трубой, машиной и бортами. Невозможно свободно пройти. Без преувеличения, люди сидели один на другом, под открытым небом.

Узенькие скамейки вдоль бортов занимает пубика почище. В распоряжении «серых» остаются проходы, разные закоулки и свободные пространства под скамьями. О нормах загрузки корабля людьми нет ни малейшей заботы: набивают, сколько влезет. Такое же отношение к безопасности плавания и удобствам для пассажиров.

Ночью палуба такого парохода представляет собой поистине жалкий вид. Вповалку, тесными рядами, держа на руках детей, валяются эти пассажиры нередко хуже собак. Страшно проходить в это время: в темноте легко наступить на человека или отдавить ручонку спящего ребенка. Ночью их, вдобавок ко всему, сгоняют с мест для загрузки дров. Палубников сгоняют на корму, сбивают в невозможную кучу.

Сухопутный способ дольше по времени, но несравнимо благоприятнее в санитарном отношении. Плавание же при невозможности сойти и, особенно при неблагоприятной погоде в осеннее время является отличным средством для развития заразных болезней, но до переселенцев никому дела нет. Заботиться о «сиволапых» никогда и никому не приходит в голову.

Такова обстановка на кораблях. Что же делается положения на буксирных судах и на баржах, где, кроме переселенцев, никого нет, там уж вовсе не церемонятся с людьми и нередко обходятся совсем варварски. Так, например, на буксируемой пароходом «Ерш» барже «Тура» в Томск прибыла огромная партия переселенцев численностью 2500 человек, втиснутых в пространство, на котором едва могло поместиться 800 человек. Подвергаясь всякого рода притеснениям и терпя голод, партия привезла с собой 80 детей, больных скарлатиной, дифтеритом и кровавым поносом. На самой барже найдено 5 трупов, и в первые сутки по прибытии умерло 9 детей. А по рассказам крестьян, во время перехода водой было еще 20 умерших».

Что же ждало этих мучеников на берегу по прибытии в так называемые переселенческие центры, созданные для решения переселенческих проблем? Снова смотрим у Станюковича. «Изнуренные такими лишениями, люди не могут устроить себе на зиму сносной избы, скучиваются в самые тесные помещения по несколько семей вместе, продолжают бедствовать от недостатка пищи и от морозов. Почва для заразных болезней, таким образом, самая лучшая.

Плохо приходится переселенцам во время стоянок в Тюмени, в ожидании парохода. Несмотря на возможности это перевалочного пункта, там до сих пор не устроено никаких строений, хотя в этом городе есть чиновник переселенческого ведомства. Со слезами на глазах рассказывают переселенцы об ужасах их пребывания в Тюмени. Людей валили, как скот: в сараи, в хлева, на открытом воздухе. О различии полов никто не помышлял, о возрастах никому не пришла мысль. В одном сарае поместили до 3 000 переселенцев, между которыми была масса больных. И в такой обстановке несчастным приходилось мучиться 17 дней!».

Да это уравновешенный Станюкович только то и делает, что стелает о невообразимых издевательствах над людьми. Будь Бурцев расконвоированным, как он, я не сомневаюсь, купил бы револьвер и пристрелил бы того самого чиновника переселенческого ведомства, по бездеятельности которого создано это чистилище.

Но вот перед Владимиром Бурцевым Тюмень, до которой ему повезло добираться железной дорогой. Это первый город, от которого, считалось, начинается Сибирь. Мрачный, разбросанный по оврагам, грязный, он представился новоприбывшим как бы пытающимся укрыться от них, не желающим иметь с ними ничего общего. Но долго вглядываться в это захолустье не пришлось: острог, к которому гнали партию, стоял на въезде в город. Это огромное белое каменное здание было главным пунктом рассылки арестантов по дальнейшим местам. Здесь все уголовные распределения, здесь и объявили Бурцеву, что этапируют его в Иркутск для ссылки в населенный пункт по усмотрению генерал-губернатора Восточной Сибири. «Наплыв арестантов /в тюменский острог. В.Г./ бывает так велик, – сообщает Станюкович, – что и острог, и пересыльная тюрьма буквально забиты людьми. Среди такой скученности тиф и другие болезни буквально косят людей.

Но не только тюменские тюрьмы таковы. Все тюрьмы и этапы в Сибири представляют собой нечто невообразимое, даже если читать лишь официальные отчеты. Трудно изобразить словами положение людей, скученных огромными массами в ограниченном пространстве. Этапные пункты – это прежде всего клоповники. В крошечное помещение набиваются вповалку мужчины, женщины, дети, и их на ночь запирают. А что происходит там, об этом лучше не рассказывать.

После ужина женщин покрасивее и постройнее отправляют в офицерские комнаты, а тех, что личиком похуже, – к стражникам. В книге С.М. Кравчинского «Россия под властью царей» (стр. 73) описывается жуткая сцена, произошедшая в красноярской тюрьме 30 августа 1883 г. «Хотел бы рассказать еще об одном эпизоде, дающем представление об обращении царских опричников с женщинами, попадающими в их руки. Он слишком типичен, чтобы я мог о нем умолчать. В данном случае жертвой произвола полиции оказалась Ольга Люботович – одна из героинь процесса пятидесяти.

30 августа 1883 г. Ольга, которая уже однажды бежала из Сибири, добралась до Женевы и снова возвратилась в Россию, но, оказалось, лишь для того, чтобы попасть в руки полиции. В красноярской тюрьме полицмейстер приказал ей переодеться в арестантское платье, но так как Ольга была приговорена к административной ссылке, а не к каторге, она имела право носить собственное платье. Это она и попыталась объяснить полицмейстеру. Однако при первых же ее словах этот самодур пришел в дикую ярость и крикнул, что она не только сменит свое платье, но и сделает это немедленно, тут же, в конторе, на глазах у всех.

Ольга наотрез отказалась исполнить это чудовищное требование. Произошла дикая сцена. По знаку полицмейстера на беззащитную женщину бросились несколько жандармов, стали избивать ее, рвать на ней одежду, таскать за волосы. Пока Ольга держалась на ногах, она еще кое-как защищалась. Но один из надзирателей ударом сапога сбил ее с ног. Что далее последовало лучше описать ее собственными словами:

«Я впала в какое-то оцепенение. Помню отрывочно, как тяжелый сапог надзирателя ударил со всего размаха в мою обнаженную грудь. Кто-то рвал мои волосы, бил по лицу и, наконец, я, обнаженная, распятая на полу, в присутствии мужчин пережила весь ужас и стыд изнасилования женщины.

Испугавшись дела рук своих «храбрые» подлецы бежали, а когда я пришла в себя, то увидела вокруг только бледных взволнованных товарищей и Фаню Морейнис, корчившуюся на полу в истерических судорогах».

Встретилось нуждающееся в проверке утверждение, что Фани Морейнис – это та девушка, которая в день казни первоартовцев, влезши на фонарь, бросила с высоты в сторону эшафота букетик красных цветов. Ее немедленно стащили с фонаря, посадили в тюремную карету и после длительной отсидки в тюрьме отправили в Сибирь. Но своей автобиографией Фаина Абрамовна Морейнис сообщает: «В конце марта 1881 я выехала в Одессу с объёмистым чемоданом, наполненным «Письмом Исполнительного Комитета к Александру III» и другой нелегальной литературой, а оттуда поехала в Киев, куда мне были даны явки. В апреле в Киев приехали А.В. Якимова и Ланганс... Явился Судейкин с нарядом жандармов, и мы были арестованы». (Деятели СССР и революционного движения России, М., – «Советская энциклопедия», 1989 г., кн. 1, стр. 165). Совсем непохоже, что она была на казни первоартовцев.

Впрочем, свидетельство К.М. Станюковича уже достаточно. Есть же еще один помощник в нашем деле: это Антон Павлович Чехов. Он и о клоповных ночевках немного добавит, и о ссыльных напишет прямо с места их обитания, и о дорогах, по которым Владимиру Львовичу предстоит брести от Томска до Иркутска.

Берем двоянный том (14-15 тома) 18-ти томного собрания сочинений А.П. Чехова и сразу же, на 18 странице, обнаруживаем, что он, в отличие от Станюковича, от Тюмени до Томска ехал не реками, а в собственной кибитке и этим дополнит наши представления о Сибири 80-х гг., хотя и проезжал он ее в 1890 г. В Сибири за эти 3-4 года ничто практически не изменилось, и Чехов как бы продолжает повествование Станюковича, ничуть не расходясь с его оценками.

И на этой же странице сразу встречаем главных персонажей Станюковича: переселенцев и арестантов на этапе. «Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.

– Из какой губернии?

– Из Курской.

...Переселенцев я видел, когда плыл на пароходе по Каме. ...Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные. Я гляжу на них и думаю: «Порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, человек-герой».

Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звенья кандалами, идут по дороге 30-40 арестантов. По сторонам их – солдаты с ружьями, а позади – две подводы. Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи. До деревни, где они будут ночевать, осталось еще 10 верст, а когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать. И тотчас же их облепят клопы – злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать».

И так густо, сжато, но очень выразительно у Антона Павловича написано о сибирском населении. На первых страницах его очерков «Из Сибири» находим его верные наблюдения о разлагающем влиянии ссылки на быдлового мужика /идейных интеллигентов он еще не встретил/. «Пристав к берегу, гребцы первым делом начинают браниться /это паромщики, которых несколько часов вызывали криком изо всей мочи/. Бранятся они со злобой, без всякой причины, очевидно, спросонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, и у воды, и у парома, и у вёсел есть матери. Самая мягкая и безобидная брань гребцов – это «чтоб тебя уязвило» и «язвина тебе в рот». ...Въезжаем на паром. Перевозчики, бранясь, берутся за вёсла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорам общества за порочную жизнь.

В деревне, где они приписаны, им живется скучно. Пахать землю не умеют или отвыкли, да и не мила чужая земля. И пошли они сюда, на перевоз.

Лица у них испытые, истасканные, битые. А какие выражения на лицах... Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тела невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей, а теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде, и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили все тепло, какое имели. И осталось у

них в жизни только одно: водка – девка, девка – водка. На этом свете они – уже не люди, а звери.

...Ямщики тоже ругаются нестерпимо. Сколько страсти, злости, душевной нечистоты нужно, чтобы придумать те гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему любо и дорого! Так умеют браниться только сибирские ямщики и перевозщики, а научились они, говорят, этому от арестантов.

Квартиры в городах скверные, улицы грязные, в лавках все дорого, не свежо и скудно. Многого, к чему привык европеец, не найдешь ни за какие деньги.

По отзывам местных обывателей: чиновников, ямщиков, извозчиков, с которыми мне приходилось говорить, интеллигентные ссыльные – все эти бывшие офицеры, чиновники, нотариусы, бухгалтеры, представители «золотой молодежи», присланные сюда за подлоги, растраты, мошенничества и др., ведут жизнь замкнутую и скромную. Исключение составляют только субъекты, обладающие темпераментом Ноздрева. Эти всюду и во все возрасты, и во всех положениях остаются самими собою. Они не сидят на месте, ведут цыганскую кочевую жизнь и до такой степени подвижны, что почти неуловимы для наблюдательного глаза.

Кроме Ноздревых, встречаются среди интеллигентных ссыльных люди, глубоко испорченные, безнравственные, откровенно подлые. Но эти почти все на счету. Их знает всякий, и на них указывают пальцами. Громадное же большинство, повторяю, живет скромно. По прибытии на место ссылки интеллигентные люди первое время имеют растерянный, ошеломленный вид. Они робки и словно забиты. Большинство из них бедно, малосильно, дурно образовано и не имеет за собой ничего, кроме почерка, часто никуда не годного.

Одни из них начинают с того, что по частям распродают свои сорочки из голландского полотна, простыни, платки и кончают тем, что через 2-3 года умирают в страшной нищете. Другие же мало-помалу пристраиваются к какому-нибудь делу и становятся на ноги. Они занимаются торговлей, адвокатурой, пишут в местных газетах, поступают в писцы и т.д. Заработок их редко превышает 30-35 рублей в месяц. Ссылный интеллигент с утра и до ночи пьет водку. Пьет неэтично, грубо и глупо, не зная меры и не пьянея. После первых двух фраз местный интеллигент непременно уже задает вам вопрос: «А не выпить ли нам водки?», и от скуки пьет с ним ссыльный, сначала морщится, потом привыкает и потом, в конце концов, конечно, спивается. Если говорить о пьянстве, то не ссыльные деморализуют население, а население ссыльных.

...Женщина здесь также скучна, как сибирская природа. Она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидная. И, как выразился в разговоре со мной один из местных сторожилов, жестка на ощупь. Когда в Сибири со временем народятся свои собственные романисты и поэты, то в их поэмах и романах женщина не будет героиней, она не будет возбуждать, вдохновлять к высокой деятельности, спасать и идти на край света.

...Спрос на художество здесь большой, но Бог не дает художников. На украшение стен идут и конфетные бумажки, и водочные ярлыки, и этикетки от папирос. «Живопись» на стенах и на печке, если она имеется, немудреная, но и она не по силам местному крестьянину. Девять месяцев он не снимает рукавицы, не распрямляет пальцев: то мороз в 40 градусов, то луга на 20 верст затопило, а придет короткое лето – спина болит от работы и тянутся жилы. Когда уж тут рисовать? Оттого, что круглый год ведет он жестокую борьбу с природой, он не живописец, не музыкант, не певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не услышите, чтобы ящик затянул песню. В каждом селе есть церковь, а то и две, есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворечник. И так низко, что до него можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются всеобщей любовью, даже кошки их не трогают. Садов нет.

А вот и рассказ о дороге, которая так длинна, так опасна, так невыносимо утомительна, что трудно верится. Так кому же верить, если не Чехову? Приключений, катастроф, тупости и безалаберности по ней так много, что просто диву даешься, как это тяжело больной Чехов выдержал столько пыток и доехал не только до Иркутска, но до самого Сахалина. Растет сострадание к Бурцеву, который одолевал эти хляби земные не в коляске, не на телеге, хотя бы, а пешком. Вообще-то он, как вы помните, был дворянского звания, а дворянам как привилегированным полагалось ехать на повозке. Бурцев же шел пешком. Почему? Он не говорит об этом. Скорее всего, за свой резкий язык, горячий нрав, за правдолюбие таким наглым образом конвойный старшина или офицер «стимулировали» Владимира Львовича за его донкихотство, за его неистребимый принцип: «Делай, что должно, и будь, что будет!».

Снова слово А.П. Чехову. «Сибирский тракт – самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем свете. От Тюмени до Томска, благодаря не чиновникам, а природным условиям местности, она еще сносна: тут безлесная равнина, утром шел дождь, а вечером уж высо-

хло. Местность ровная, и можно выбрать любой объездной путь. От Томска же начинаются тайга и холмы. Сохнет почва здесь не споро, выбрать окольный путь невозможно. Поневоле приходится ехать по тракту, и потому только после Томска проезжающие начинают браниться и «сотрудничать» в жалобных книгах. ...А нам говорят: «Это еще что, а вот погодите, что на Козульке будет». Пугают Козулькой на каждой станции... Козулькой называется расстояние в 22 версты между станциями Чернореченской и Козульской, между городами Ачинском и Красноярском. За две-три станции до страшного места начинают показываться предвестники. Один встречный говорит, что он 4 раза опрокинулся, другой жалуется, что у него ось сломалась, третий угрюмо молчит и на вопрос: «Хороша ли дорога?» отвечает: «Очень хороша, черт бы ее взял»... А до Иркутска еще более тысячи верст. Козулькам на этой дистанции нет числа». Как преодолел возница Антона Павловича это чистилище, как выбрался из сотен глубоченных выбоин, в которых повозка погружалась всей высотой колеса? Как... Всего не перечислить. Оставим эти вопросы для интриги без ответа. Читатель, взявшийся за названный чеховский том, не пожалеет об этом. Там приключения поубедительнее, чем у Жюль Верна или Майн Рида. Главное – потому, что дорога между Красноярском и Иркутском являла собою сплошную, непрерывную Козульку, Антон Павлович закончил свою серию «Из Сибири» приездом в Красноярск. Писать-то было уже не о чем. Зачем повторяться?

К месту административной высылки Владимир Львович прибыл гораздо более зрелым, более опытным революционером и возмужавшим человеком. Сидеть и ждать окончания ссылки он не собирался. Уже в дороге он решил бежать оттуда при первой же возможности, чтобы продолжать борьбу. В тюрьмах и на этапе он наслушался много неприятной ему критики в адрес Исполнительного Комитета «Народной Воли», не во всем справедливых оценок итогов массового самопожертвования народовольцев.

Он страстно спорил со своими оппонентами, не желая, чтобы на светлую память его кумиров пала бы хоть легкая тень неодобрения, но одновременно и прислушивался, воспринимал объективные наблюдения старых революционных бойцов. Он горел желанием продолжить дело своей жизни с учетом ошибок предшественников, с новым подходом к организации революционной работы, но под старые знамена он идти не хотел.

За время сидения ему удалась обширная переписка с видными революционерами. От них он тоже получил немало острой критики так назы-

ваемой «второй» «Народной Воли» и начал формировать свою личную политическую программу. Он понимал, что революционные силы разгромлены основательно, что погубило революционеров отчуждение от них широких масс народа. Но вести среди масс революционную пропаганду, поднимать темный народ на массовое сопротивление, по его мнению, было преждевременным. Он считал, что в народе надо продолжать просветительскую и общекультурную работу, а для облегчения доли трудящихся надо объединить демократические силы и скоординированными действиями убедить или вынудить царское правительство пойти на подлинное раскрепощение России, на предоставление русскому обществу прав и свобод человека и гражданина. Утрируя такую политическую платформу, можно сказать, что прогрессивные перемены в российском политическом строе, по мнению Бурцева и его либеральных единомышленников, должны быть даром интеллигенции простонародью, очередным освобождением сверху. В своих воспоминаниях он утверждает, что уже в то время он мало верил и мало занимался вопросом о рабочем движении как основе борьбы с правительством. «Уже смутно наместились разногласия с прежними товарищами,» – признается он. Но размежевание произошло не сразу. Максималистское мышление, радикальные предложения разрешения стоящих проблем Владимир Львович сохранил до конца своих дней. Он нередко оставался непрактичным, упорствующим в отстаивании неприемлемых для остальных товарищей предложений. Поэтому как политик он почти всегда *был один против всех*. Его считали *enfant terrible*.

Но все это выпадет на его долю позже, в 20 веке, а пока Владимир Львович являлся безусловным авторитетом среди революционеро-социалистов. Правда, позже, увидев, к чему приводит революционная ярость трудящихся, он стал считать революционерами большевиков и эсеров. А от социализма он не отрекся даже на склоне лет. В 1937 г. на банкете в честь своего 75-летия он твердо заявил русским эмигрантам всякого рода: и монархистам, и анархистам, и фашиствующим русским: «Часто задают вопрос: кто такой Бурцев? Левый? Правый? Умеренный? и т.д. На этот вопрос можно ответить уверенно и определенно: левый, левый и только левый! Я всегда был демократом, социалистом, республиканцем и по большей части революционером. Но революционером я не был во время Государственной Думы, во время войны, конечно, и во время Временного правительства, т.е. тогда, когда я надеялся, что можно действовать легальными способами» /См. статью О.В. Будницкого «В.Л. Бурцев и его корреспонденты» в журнале «Отечественная история» № 2, с. 111, 1992./.

Самое раннее из сохранившихся его заявлений на этот счет относится к лету 1888 г. Как бы оправдывая свой побег из ссылки, он говорит о несправедливости, царящей в России, о неизбежной победе светлых идеалов, за которые он борется. Высветлить этот идеал у него не получилось: торжество свободных учреждений, более правильный политический строй, энергично следующий народным, а не классовым интересам. Ничего собственно социалистического не было в этих нечетких откровениях, но письмо венчала гордая подпись: «Социалист Бурцев».

И вот в конце сентября 1887 года Бурцев очутился в иркутском тюремном замке. Тюремная власть дала ему возможность отдохнуть несколько дней от длительного пешего этапного перехода, и 10 октября 1887 года Бурцев был отправлен в Балаганск в сопровождении двух казаков, как он написал в своих воспоминаниях.

В книге «Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания 1882-1922 гг.», том 1 он утверждает, что прибыл в Малышевское в самых последних числах 1887 года. Это неверно. В нескольких полицейских документах дата прибытия его в Балаганск обозначена 11 октября 1887 года. Он пишет далее: «Поздно вечером, после почти трех лет тюрьмы, мне было как-то странно идти по улице без конвоя. Я скоро нашел своих товарищей. Нас, ссыльных, в этой деревне было человек 30» (Бурцев В.Л., указ. соч., том 1, с. 11).

Чем вызвана неточность указания Владимиром Львовичем времени прибытия в Балаганск, определить трудно. Возможно, подвела память: в момент выхода книги ему было более 60 лет. По сведениям иркутских метеорологов, в конце 80-х гг. и в 90-е гг. зимы в нашем крае были холоднее обычного, снежный покров устанавливался рано, а Балаганск, как никак, находится в нескольких сотнях километров севернее Иркутска, и там холоднее, чем в Иркутске. Возможно, сильный мороз и толстый снежный покров через 35 лет в памяти Бурцева ассоциировались со временем глубокой зимы.

Кто были его товарищами по этапу, в иркутском архиве данных нет: список арестантской партии, с которой он прибыл в Иркутск, не сохранился. Его старыми товарищами в Малышевском были, вероятно, люди, с которыми он познакомился раньше во время революционной работы. Находясь в тюрьме и идя по этапу, он обрел таких товарищей еще больше. Другим источником сведений, наверняка, была его остановка в иркутском тюремном замке. Он мог там со многими познакомиться, хотя и находился в тюрьме недолго.

Дело в том, что в октябре 1887 года, на реке Лене, по которой ссыльных отправляли в Якутию, уже устанавливался лед, отправлять суда в такое время было или опасно, или невозможно, и ссылаемых в Якутию оставляли в иркутской тюрьме до установления прочного льда, чтобы этапировать ссыльных в Якутию конным транспортом. За это время «якутских» накопилось в иркутской тюрьме очень много. Тюрьма была переполнена, даже камеры одиночного заключения были отомкнуты, разрешалось ходить из камеры в камеру, гулять по коридорам. На тюрьму это мало походило.

Встретить старых знакомых или завести новые знакомства в такой обстановке трудностей не представляло. Наверняка кто-то из бывших в это время в иркутской тюрьме, зная, что Бурцев едет в Балаганск и Малышевское, заочно представил ему тамошних своих знакомых, отбывающих срок в этих деревнях. Двумя днями раньше Бурцева в Балаганск прибыл из иркутской тюрьмы Виктор Павлович Кранихфельд. В Иркутске они, наверняка, познакомились. С 28 сентября 1887 года в Балаганске находился политический ссыльный Мавроган. Он был сослан в Сибирь за участие в политических кружках в Одессе и был знаком с Розой Львовной Прибылевой (у нее в то время (еще в Одессе) оставалась девичья фамилия Гроссман), которая была неформальным лидером одесского студенчества. Роза Львовна в это время тоже была в иркутской тюрьме. Находилась она, конечно, в женском отделении, но у нее была подруга Эвелина Улановская, ожидавшая отправки к месту поселения. Улановская дружила с Виктором Кранихфельдом (впоследствии в Малышевском они поженились) и через них и состоялось знакомство Бурцева с Прибылевой-Гроссман Р.Л. Друзья, почему-то, называли ее Раисой, по многим документам она проходит как Раиса Прибылева, но она – Роза Львовна Гроссман в девичестве. Впоследствии она станет женой Николая Тютчева, и ее фамилия усложнится еще больше: Тютчева-Прибылева-Гроссман. Николай Тютчев в это время тоже был в иркутской тюрьме, дружил с Раисой Прибылевой, имел возможность встречаться с ней часто.

Подробно говорить об этих отношениях приходится потому, что впоследствии дружба этих людей, вероятно, и обеспечила успех побега Владимира Бурцева из Сибири.

Что касается указанных Бурцевым 30 административно-ссыльных, проживающих в Балаганске и Малышовке, до последнего времени были известны лишь имена Виктора Кранихфельда, Эвелины Улановской, Павла Грабовского, Николая Ожигова, супругов Цвилиневых и Новаковских, но в 2013 году в фонде № 25 Государственного архива Иркутской области

привлекло к себе внимание толстое и увесистое дело № 24/К.198, зарегистрированное в описи № 2. В нем как лист 32 подшит «Список о поднадзорных, проживающих в Малышевском селении и в г. Балаганске». Список этот составлен небрежно: в нем нет даты составления списка, нет подписи составителя списка, и в нем указано всего 14 человек.

Следуя святой обязанности историка: «Мертвого имя назвать – все равно, что вернуть его к жизни», считаю обязательным привести эти фамилии. Имена, к сожалению, составитель или поленился написать, или не посчитал нужным.

1. Подпоручик в отставке Виктор Кранихфельд. Административно, за участие в государственном преступлении, на три года, с 15 октября (надо полагать в Малышевском), в Балаганске с 9 октября 1887г.

2. Ширяев. Административно, за государственные преступления, из крестьян, на 5 лет. Приговорен 22 октября 1886г., в Балаганске с 13 октября 1887г.

3. Журавский. Административно, за участие в Елизаветинских кружках, из мещан, на 5 лет. Приговорен 10 октября 1886г., в Балаганске с 25 сентября 1887 г.

4. Лонский. Административно, за участие в обществе «Пролетариат», из дворян, на 5 лет. Приговорен 30 апреля 1887г., в Балаганске с 13 января 1888 г.

5. Мавроган. Административно, за участие в одесских революционных кружках, из дворян, на 4 года. Приговорен 16 апреля 1886 г., в Балаганске с 28 сентября 1887 г.

6. Еврей Барский. Административно, за то же участие, из мещан, на 5 лет. Приговорен 16 июля 1886 г., в Балаганске с 17 января 1887 г.

7. Гловацкий. Административно, за участие в обществе «Пролетариат», из дворян, на 5 лет. Приговорен 30 апреля 1887 г., в Балаганске с 23 декабря 1887 г.

8. Кибинский. Административно, за то же преступление, запасной рядовой, на 5 лет. Приговорен 30 апреля 1887 г., в Балаганске с 21 декабря 1887 г.

Ясно просматривается порядок, по которому, приговоренных к ссылке по одному делу к месту ссылки отправляли непарно, не группами, а только поодиночке и в разные дни.

9. Новаковский Хаим. За участие в демонстрации на Казанской площади, по приговору Особого присутствия Правительствующего Сената был лишен особых прав состояния, а затем возвращены некоторые права, но он считается сосланным на место, из мещан, без ограничения срока. В Балаганске с 7 апреля 1886г.

10. Окрас. Административно, за участие в обществе «Пролетариат», крестьянин, на 5 лет. Приговорен 30 апреля 1887 г., в Балаганске с 7 декабря 1887 г.

Здесь заметна и другая тенденция: русские дворяне за политические преступления получали 3-4 года ссылки, поляки-дворяне – 5 лет, а мещане, крестьяне, солдаты – по 5 лет. А Новаковский Хаим оказался в ссылке, вообще, без ограничения срока. Номером 10 заканчивается архивный лист 32, лист 33 начинается с № 11.

11. Мозговой. По приговору Херсонской судебной палаты за принадлежность к социалистическому обществу по статье 43. Приговорен 22 декабря 1883 г., в Малышевском округе с 20 августа 1884 г.

12. Бурцев. Административно, по обвинению в государственном преступлении, дворянин, на 4 года. Приговорен 8 октября 1886 г., в Балаганске с 11 октября 1887 г.

13. Еврей Шлемензон. Административно, за участие в одесском революционном кружке, из мещан, на 5 лет. Приговорен 16 июля 1886 г., в Балаганске с 20 января 1887 г.

14. Саус. Административно, за принадлежность к обществу «Пролетариат», из крестьян, на 5 лет. Приговорен 30 апреля 1887 г., в Балаганске с 7 декабря 1887 г.

В дальнейшем дополнительно к этому списку читателю предстанут еще несколько имен административно-ссылных в Балаганское и Малышевское.

В Малышевском, зарегистрировавшись у исправника, Бурцев тут же написал прошение о выделении ему денежного от казны пособия, поскольку средств на существование он не имеет. Исправник сделал по этому прошению положительное заключение и просил губернское правление уважить просьбу административно-ссылного. Но время шло, пособие все не приходило, и 29 января 1888 г. Бурцев пишет в губернское правление заявление: «Несмотря на все наши прошения об ускорении высылки нам ассигнованного правительством пособия, мы до сих пор ничего не получили. Я, Журавский, Ширяевы, Кранихфельды и некоторые другие подали прошение 4 месяца назад.

В местном полицейском управлении видно, что ассигновка денег и все нужные документы препровождены в иркутское губернское правление. То же самое произошло и с Радченко, которому назначено пособие еще в августе того года.

Поэтому я покорнейше прошу губернское правление сделать распоряжение о скорейшей высылке нам пособий, так как благодаря не-

брежности членов губернского правления, мы все поставлены в крайне тяжелое положение. Административно ссыльный Владимир Бурцев, Балаганск, 29 января 1888 г.».

Видно, что за три с небольшим месяца в Малышевском Владимир приобрел среди ссыльных отчетливый авторитет. Он не опасается выступать ходатаем за ссыльных. Прошение губернскому правлению подписано только им. Он выступает как представитель коллектива, стал его неформальным лидером.

В связи с прошением Бурцева Иркутское губернское правление 12 февраля 1888 г. отправило письменный запрос в Уфимское губернское правление о наличии или отсутствии за Бурцевым Владимиром Львовичем какого-либо капитала или недвижимости в пределах Бирского уезда или Уфы. На листе 2 дела 405 в 32 фонде /опись 5/ ГАИО находится ответ Уфимского губернского правления от 25 мая 1888 г. В нем говорится, что Бирское уездное полицейское управление рапортом от 9 мая доносит губернатору, что по произведенному в г. Бирске розыску имущества административно-ссыльного государственного преступника Владимира Бурцева не оказалось. В деле имеется предложение исполняющего дела Иркутского губернатора Савенко назначить Бурцеву денежное от казны пособие 114 рублей в год. Документов о получении Бурцевым каких-либо денежных сумм в деле нет.

По приведенным датам видно, что более десятка прошений об оказании денежного от казны пособия месяцами лежали в губернском правлении без рассмотрения, но и, получив жалобу, подписанную Бурцевым 29 января 1888 г., губернское правление только через две недели обращается в Уфимскую губернию с запросом. В иркутском правлении прекрасно знали, как трудно живется ссыльным, не имеющим собственных средств для существования, и, тем не менее, выделением им казенного пособия не занимались целых четыре месяца. Это тоже показатель отношения государственных служащих к административно-сосланным государственным преступникам, которых везде и всегда содержали хуже, чем уголовников.

Уфимское губернское правление дало ответ в Иркутск лишь 25 мая 1888 г. Пока ответ из Уфы добирался до Иркутска, прошло почти 8 месяцев, но голодающие ссыльные пособие от казны все еще не получили. Но если учесть, что 3 июля он совершил побег из Малышевского, имея в кармане 80 рублей, то не исключено, что это были в основном казенные деньги, а не исключительно его личные средства.

В Малышевском Бурцев начинает продвигать идею объединения всех оппозиционных элементов. Он старается убедить догматиков исключить из их программы все, что не дает объединиться либералам и радикалам разного толка, т.е. прежде всего оспариваемый праволибералами социализм. Феликс Кон, находившийся в иркутской тюрьме в ожидании отправки в Якутию в 1889 г., отметил в своих воспоминаниях сильное впечатление, которое произвели на него сидевшие с ним в одной камере малышевские протестанты, отправившие правительству гневное заявление в связи с расстрелом 22 марта 1889 г. в Якутске большой группы политссыльных, предназначенных для отправки в отдаленнейшие места Якутии: в Среднеколымск и Верхоянск. «На мои рассказы о «Пролетариате» совершенно иначе реагировал Панько-Грабовский, – отмечает Ф. Кон. – Келейно-сентиментальный народник, впадающий в экстаз при одном звуке слова «народ», он даже в намеке на пролетарскую идеологию видел отступление от заветов апостольского народничества, что с ним даже спорить нельзя было. Это был верующий, сектантски реагирующий на всякое отступление от догмы, признаваемой им за святыню. На Каре было немало народников, но Грабовский даже по сравнению с ними казался ветхозаветным. Он даже не спорил. Он лишь скорбел по поводу извращений движения. В этом отношении он представлял полный контраст с Кранихфельдом, со страстностью неофита бросавшимся в спор. Он в то время и был неофитом. Ранее он был народовольцем. В Балаганске под влиянием Бурцева он стал глашатаем объединения всех оппозиционных элементов под одной партийной крышей с революционерами, с устранением из их программ всего, что могло отпугивать либералов и радикалов всякого толка и направления. С ним у меня были самые жестокие схватки, хотя лично, как человек живой, он мне очень был симпатичен» /См. журнал «Каторга и ссылка», 1928, №3, стр. 88-89/.

Очевидно, основной причиной побега Бурцева из ссылки и было желание широко заявить о своей новой идее. Попутно с агитацией Владимир Львович в своих беседах с представителями различных русских и польских организаций старательно выведывал, уточнял детали и обстоятельства для будущей своей истории революционного движения. Среди тех, с кем ему пришлось повстречаться в тюрьме, во время этапов и в ссылке, были люди с большим опытом борьбы. Он вел записи этих бесед, надеялся воспользоваться ими не только в практической работе, но и опубликовать. По пути в ссылку на одном из этапов Бурцев встретился с Е.Е. Лазаревым и поделился с ним своими планами бежать из Сибири, пробраться за границу, издать очерки революционного движения. Лаза-

рев дал ему много ценных советов. Другим серьезным обстоятельством, побуждавшим Бурцева к побегу, были жестокая расправа тюремщиков с заключенными иркутской тюрьмы и общее бесправное положение ссыльных. Их попытки отстоять свое достоинство, пресечь самодурство и произвол местных начальников часто приводили к противоположным результатам, к еще большему ухудшению положения протестующих и увеличению срока ссылки.

Как набирающий авторитет неформальный лидер в Малышевской колонии, как горячий поборник справедливости, Бурцев оказался активным участником громкого столкновения ссыльных с местным исправником Бубякиным. В архивном деле 24/к.198 из фонда № 25 Государственного архива Иркутской области (опись II) имеется телеграмма от 16 января 1888 г. В ней читатель в дополнение к вышеприведенному списку административно-ссыльных Малышевки и Балаганска в количестве 14 человек увидит новые фамилии. А текст телеграммы такой: «Прощение государственных ссыльных Таврыгина, Бурцева, Шада, Кранихфельда, Шлимановича, Журавского, Мозгового, Окраса, Радченко, Гловацкого, Цвилленевых, Новаковского, Барского, Кибинского, Ширяева, Пироженко, Горбунова, Лонского.

16 января в присутствии полицейского управления исправник оскорбил Пироженко без повода со стороны Пироженко. Исправник крикнул: «Выйди вон!» и велел вывести. Неприличный, оскорбительный для всех поступок исправника вызвал нас на объяснение с ним с требованием извинения. Исправник, ссылаясь на присвоенное ему законом право, отказался извиниться.

Обращаясь к Вашему сиятельству, просим рассмотреть дело для избавления нас от необходимости прибегать к мерам оградить себя от оскорблений. Просим распоряжения Вашего сообщить возможность в этом споре, ибо мы поставлены в невозможность входить в отношения с исправником».

Телеграмма была адресована иркутскому губернатору, подписал ее один за всех Виктор Кранихфельд 16 января 1888 г.

Коллизия инцидента заключалась в том, что административно-ссыльный Василий Пироженко имел какое-то дело, скорее всего коммерческое, с местной селянкой Лукашиной. Убедившись, что компаньонка ведет себя по отношению к нему нечестно, Пироженко пошел жаловаться на нее к исправнику. На его беду исправник был любовником дочери этой самой Лукашиной. Естественно, он принял сторону матери своей любовницы и вознегодовал на Пироженко. Зная, с чем придет Пироженко к нему, исправник Бубякин, едва лишь Пироженко открыл дверь к нему

в кабинет, закричал на него: «Вернись и попроси разрешения!». Пироженко не послушался, объяснив это тем, что он раньше всегда входил без стука и разрешения. Остальное ясно из текста телеграммы.

Попытка коллективного заступничества оказалась неудачной. Пока ссыльные ждали ответа от губернатора, Бубякин заслал Пироженко совсем уж в медвежий угол: в деревню Преображенку тогдашней Киренской волости. Эта деревня сейчас относится к Катангскому району, недалеко от Ербогачена. Местность эта – район крайнего Севера, с совершенно другими природными условиями, жестокими холодами и отдаленностью от Балаганска более чем на тысячу километров к северу.

Возмутившись таким диким самоуправством, каждый подписавший телеграмму 20 января 1888 г. подал от себя личное заявление теперь уже более высокому начальству – иркутскому генерал-губернатору. Получилось 17 заявлений совершенно одинакового содержания с указанием своего имени. Вот они: Владимир Бурцев, Ефим Новаковский, Павел Мавроган, Лазарь Шлемензон, Яков Барский, Виктор Кранихфельд, Андрей Молавин, Устин Ширяев, Владимир Лонский, Людвиг Сац, Владислав Гловацкий, Петр Мозговой, Афанасий Радченко, Николай Цвилленев, Варвара Цвилленева, Василий Пироженко, Василий Горбунов, Осип Кибинский, Антон Окрас /ГАИО, ф. 25, Оп. 2, д. 24/к. 198, л. 8-8об, 9/. Бурцев в воспоминаниях говорит, что письма были написаны в вызывающем тоне: «чтобы никакой Бубякин, никакой Разбубякин не имел права говорить нам: «Пошел вон!» и т.д.». Ответ был обескураживающим: недовольным сообщили, что все действия местного начальства в губернском правлении одобряются, а в случае повторного обращения они тоже будут высланы в отдаленные места губернии. Такой поворот дела еще больше разогрел в Бурцеве нежелание терпеть издевательства. Вырваться отсюда во что бы то ни стало, продолжить настоящую, результативную борьбу с врагами народа, бороться, жертвуя всем – такой неукротимый огонь жег Бурцева изнутри. Оставалось найти способ для успешного побега.

Дальнейшее известно лишь из воспоминаний Владимира Львовича: «Еще во время этапа я твердо решил бежать. Из 12-ти человек, решивших бежать, я один только бежал, из нашей же партии бежал ещё один: Лебедев, но как раз тот, кто бежать не собирался.

Месяца через два после моего прибытия в ссылку я под предлогом, что мне надо поговорить с доктором, выхлопотал себе разрешение съездить в Иркутск, на самом деле я ехал туда подготовить свой побег. Местные иркутские ссыльные направили меня к М.А. Натансону, и он обещал мне приготовить паспорт, записал мои приметы, дал мне советы разного

рода насчет побега, просил ни к кому больше не обращаться, а ждать, когда он пришлет мне всё, что нужно. Я и тогда почувствовал нечто нескрещеннее в его словах.

Срок моего отпуска в Иркутск прошел, и я должен был уехать обратно к себе в село Мальшевское. И там я стал дожидаться ответа от Натансона. Прошел месяц-другой. Ответа из Иркутска или не было, или ответы получались самые уклончивые. Наконец, я понял, что меня Натансон просто-напросто обманул, что он вовсе и не имел в виду устраивать мне побег. По его расчетам, ему не хотелось, чтобы я бежал, потому что я по своим взглядам был далеким для него человеком, потому что мой побег мог отразиться на тех, кто был в Иркутске, в частности, на нем.

Мои товарищи, с которыми я делился планами, поняли, что мы обмануты и впоследствии устроили Натансону по этому поводу не одну сцену».

Здесь уместно отметить, что Марк Александрович Натансон станет своего рода злым гением Владимира Бурцева. Их взгляды, их подходы к решению проблем всегда сильно расходились. После каждой размолвки их отношения становились все более холодными и неприязненными, и дело дошло даже до того, что, встречаясь в какой-либо компании, они делали вид, что не замечают друг друга, и не здоровались.

Особо трагическую роль Натансон сыграл в 1908-1910 гг., когда партия эсеров судила Бурцева за его подозрения в провокаторстве Азефа, пробравшегося по заданию департамента полиции в состав Центрального Комитета этой партии и ставшего руководителем их Боевой организации. Тогда судьба Бурцева висела на волоске, и лидеры эсеров В.М. Чернов и М.А. Натансон делали все, чтобы этот волосок поскорее лопнул, оборвался.

Владимир Львович продолжает: «Тогда я обратился за помощью к местным товарищам. На медном пятаке выгравировали печать, достали какой-то неважный бланк и приготовили мне паспорт. С 80 рублями в кармане 3 июля 1888 г. я решился бежать из Сибири».

То, что Бурцев упоминает перечислительно: граверные работы, поддельный бланк паспорта, сделать в обстановке Мальшевского было очень непросто. Наверняка, Бурцеву и его друзьям приходила помощь из Иркутска и Красноярска через переписку Улановской с Прибылевой.

Бежать через Иркутск было бы проще, но очень рискованно и опасно. А чтобы миновать Иркутск, скрыться более незаметным путем, необходимо было переправиться через широкую и быструю Ангару, найти надежного лодочника, подготовить на противоположном берегу лошадей,

повозку и все это сделать как что-то обыденное, повседневное, чтобы не вызвать подозрения чинов надзора, не привлечь внимания обывателей. Владимир Львович об этом в воспоминаниях не пишет, но оно само собой приходит на ум исследователю. Таким образом, удача тайной акции ссыльных проистекла из длительной заблаговременной подготовки ее силами не только соратников Бурцева в Малышевском, но и в результате большой помощи подпольщиков из Иркутска и Красноярска.

«Первые 80 верст я ехал проселочной дорогой, сообщает Бурцев, затем на большой почтовой дороге, на станции, кажется, Черемухове (ныне Черемхово – В.Г.) взял подорожную и под видом только что кончившего гимназию, в гимназическом костюме ехал некоторое время с каким-то попутчиком-купцом. В Красноярске я встретил ссыльных Тютчева и Р. Прибылеву, и они помогли мне доехать до Томска. Затем с помощью томских ссыльных я на пароходе по Оби доехал до Тюмени, из Тюмени по железной дороге доехал до Перми и оттуда на пароходе до Казани. Из Казани в Саратов, Ростов-на-Дону, Керчь и морем через Севастополь в Одессу. Там я встретил молодого революционера Ю. Раппопорта. Он помог мне тайно переехать границу через Волочиск, а потом через Краков и Вену мы вместе благополучно приехали в Швейцарию (См. конец главы 3 в книге В.Л. Бурцева «Борьба за свободную Россию» стр. 12).

Николай Тютчев во второй части своей книги «В ссылке и другие воспоминания» на странице 71 тоже очень кратко, но все-таки упомянул успешный побег Бурцева из под надзора балаганской полиции.

Опыт побегов доказал, что бежать политическому из Восточной Сибири без помощи на долгом пути к России весьма трудно, если и совсем невозможно. Поэтому в 1880 г. из России посланы были в Сибирь, с целью организации пунктов помощи для беглецов по тракту, известные впоследствии народовольцы Ю.Н. Богданович и И.В. Калужный (судился по «процессу 17-и» в 1883 г.). Им при помощи местных «сочувствующих», поляков-повстанцев и политических ссыльных удалось наладить притоны, явки почти по всему тракту от Иркутска до Москвы. Способствовал организации этого пути и Влад. Дебагорий-Мокриевич, после своего побега из партии, сменявшись с уголовным. Но организация эта вследствие провала В. Яковенкой



Дебагорий-Мокриевич В.К.
(1848–1926)

в Москве адресов и явок просуществовала очень недолго, создав лишь грандиозное дело о «Красном Кресте Народной Воли», в котором замешано было несколько десятков людей. Помощь беглецам прекратилась на несколько лет и притом в такое именно время, когда «Народная Воля», теряя вследствие арестов свои силы, очень нуждалась в пополнении их сибиряками – уже не новичками в революционной работе.

К концу 80-х г.г., когда в Иркутске и Красноярске уже прочно обосновались политические колонии, побегі одиночек были вновь значительно облегчены. В этих пунктах беглецы могли найти деньги, паспорта и казенные подорожные, притоны, могли изменить свою внешность и костюмы. В эти годы удачно бежали В. Бурцев, М. Сабунаев, Н. Паули, Н. Похитонова, А.И. Бычков и др.

Бурцев, тогда еще юноша, прибыл в Красноярск в июле 1888 года. Был наряжен гимназистом и в компании юной молодежи, ехавшей в Казань для поступления в университет и на курсы, благополучно проехал всю Сибирь, а затем и всю Россию».

Предположительны и другие детали побега, но считать их достаточно достоверными есть серьезные основания. Например, 3 июля 1888 года по старому стилю было воскресенье. Четыре дня назад, то есть 30 июня 1888 года по старому стилю народ отметил день святых апостолов Петра и Павла, и с этого дня, как было раньше заведено в Сибири, начинался сенокос. Шел уже третий день сенокоса, тем более день воскресный. Все селяне, в том числе и полицейские, подались на зеленую страду. Ссылные остались без надзора, но это не беспокоило надзирателей. Совсем недавно, в конце июня, они проводили проверку и все поселенцы Малышевского были на месте.

Обрядиться в костюм гимназиста могли посоветовать из Красноярска. Там знали, что Владимир очень моложав, щупленький и вполне может сойти за выпускника гимназии, а из Красноярска ежегодно для поступления в Казанский университет отправлялась партия молодых людей. Вот в составе такой веселой компании Николай Тютчев с Розой Прибылевой и наметили переброску Бурцева из Малышевского в европейскую Россию.

Чтобы сделать легенду Бурцева-гимназиста более убедительной вместе с ним до Черемхово ехала с ним якобы его мать, а на самом деле ссыльно-поселенка, переодетая под матушку-попадью. Легко представить, как изображала она тревогу за своего скромного неопытного «недоросля», который впервые уезжает так далеко от родного дома.

Замаскировать свою отлучку в воскресный день за пределы Балаганска Владимир мог утверждением, что он подрядился помогать на сено-

косе кому-то из местных жителей, а удалившись на достаточно большое расстояние от Балаганска он мог переодеться уже в гимназический костюм. Точно также преобразила себя из ссыльно-поселенки в попадью его якобы матушка.

Подтверждение сказанному Н.С. Тютчевым можно усмотреть и в описываемом нами побеге из Малышевского. Сопоставив ряд событий из жизни тамошних поселенцев, в частности, длительную задержку выдачи государственного пособия, обескураживающий исход их коллективного протеста в защиту Пироженко, происходившие в январе 1888 г., можно прийти к выводу, что Бурцев, так рискованно собравшийся в побег из Малышевского по кое-как сляпаным поддельным документам, вероятно, был обнадежен, что в Красноярске получит документы более высокого качества подделки. Похоже, что остановка в Красноярске у него была непродолжительной, так как документы для него были приготовлены заблаговременно.

Если иметь в виду, что в январе 1888 г. малышевцы коллективно протестовали против длительной задержки выдачи государственного пособия, дружно вступились за незаслуженно обиженного своего коллегу, что в феврале этого же года из Иркутска в Красноярск уехала Роза Прибылева, а месяцем раньше ее тюремную подругу Эвелину Улановскую отправили из Иркутска в Малышевское, что и по протестным делам, и в связи с тяжелой болезнью своей супруги Улановской Виктор Кранихфельд ездил в Иркутск, что желание Бурцева бежать из ссылки резко усилила неудача их протестных действий, можно считать весьма вероятным, что Бурцев, зная о скором отъезде Прибылевой в Красноярск, через Кранихфельда передал Розе Прибылевой свою просьбу приготовить для него надежные документы, по которым можно было бы спокойно ехать дальше в европейскую часть России. Времени для изготовления этих документов у Тютчева и Прибылевой было предостаточно: с февраля и по конец июня 1888 г. Непростым совпадением фактов представляется и то, что тогда же, в конце января 1888 г., Бурцев просил губернское правление выдать ему 12 его фотографических карточек, изготовленных еще 18 сентября «с автографом» «Стиль в Красноярске». Изъятием своих фотографий у жандармов он хотел не дать им лишнего козыря в поимке себя самого.

Письменных доказательств, что дело происходило именно так, нет и не могло быть в условиях глубокой конспирации. Создается впечатление, что у них кроме разрешения поехать в Иркутск под благовидным предлогом, имелся и другой способ обойти жандармский контроль за

перепиской административно-ссыльных. Скорее всего, это были местные жители, кое-кто из которых мог искренне сочувствовать сосланным и передавать их корреспонденции нелегальной почтой в Иркутске.

В пользу этой версии говорит также тот факт, что в июне 1889 г. в распоряжении малышевцев уже был гектограф, на котором они тиражировали и разослали по всей России текст своего протеста правительству и департаменту полиции о жуткой кровавой расправе над ссыльными евреями в Якутске 22 марта 1889 г. В условиях Балаганска и Малышевского, без помощи из Иркутска создать такой аппарат было невозможно, а поскольку гектограф был реальным, то реальны были и незамеченные полицейским надзором связи сосланных с народовольцами в Иркутске.

Хочется еще раз отметить лапидарность бурцевских повествований. Сколько же надо было иметь подпольных связей сколько изворотливости и предусмотрительности, чтобы с фальшивыми документами за несколько недель продраться через громадные российские пространства, пройти незамеченным, не вызвав подозрений при множестве полицейских проверок! Каким самообладанием и мужеством надо было располагать, чтобы вынести всё это! В полном игнорировании своих эмоций он дошёл до того, что не высказал своих переживаний о неудавшемся свидании с матерью. Они так и не свиделись вплоть до ее смерти. Они переписывались, и когда Владимир был в Сибири, и когда находился в эмиграции. Софья Александровна поддерживала сына психологически, одобряла его борьбу за лучшую долю русского народа, и только когда умерла в 1901 г. жившая с ней дочь Юлия, в письмах матери звучат трагические слова о своей несчастной судьбе, о том, что она всю себя отдала благополучию детей, а вышло так, будто детей у нее и нет. Это был не прямой упрек сыну, но Володе пути назад не было. Через год после смерти Юлии умерла и Софья Александровна.

В Иркутске после побега Бурцева осталось *нынешнее архивное дело №678* (ф. 25, Оп. 5) Иркутского губернского правления «О скрывшемся государственном преступнике Владимире Бурцеве и по произведенному розыску не найденном». Папка тощая: всего 2 листа. На ней означено: «Началось 4 августа 1888 г.. Окончилось 31 октября 1889 г. «.

Лист 1: «Иркутскому губернатору по общему губернскому правлению от 2 августа 1888 г. Исполняющий дела Балаганского окружного исправника 28 июля дня за №124 донес мне, что находившийся на жительстве в селе Малышевском административно-ссыльный Владимир Бурцев 24 июля дня с места водворения скрылся и произведенным розыском не найден. Соответствующее распоряжение о розыске Бурцева

по губерниям и сообщение направлено для сей же цели начальнику Иркутского губернского жандармского управления и Томскому, и Забайкальскому губернаторам и, равно уведомив о сём департамент полиции, я имею честь об изложенном дать знать губернскому правлению для сведения. Исполняющий дела губернатора ...» (подпись неразборчива).

А на листе 2 почему-то 4 августа 1888 г. и почему-то не исправник Балаганского округа, а какой-то назвавший себя «присутствующий Чиркашенин» написал: «Надзиратель за государственными преступниками в г. Балаганске Комаров доложил 25 сего июля, что государственный преступник, проживающий в Малышевском Владимир Львович Бурцев куда-то скрылся, о чем имею честь донести губернскому правлению и доложить, что к розыску Бурцева приняты меры. За окружного исправника присутствующий Чиркашенин» (подпись прочитывается свободно).

По всему видно, что проверки ссыльных в месте водворения проводились, скорее всего, 1 раз в месяц, ближе к его концу. Когда надзиратель Комаров обнаружил отсутствие Бурцева, тот был уже за Уралом. Балаганский исправник, вероятно, сказался больным, чтобы улизнуть от неприятностей, связанных с побегом. Донесение о побеге подписал «присутствующий», о котором неясно, то ли он – член какого-то присутствия, то ли просто свидетель отсутствия Бурцева.

Обращает на себя внимание то, что дело о побеге стояло на контроле 15 месяцев. Может быть, к этому времени департамент полиции уже известил генерал-губернатора Восточной Сибири о том, что Бурцев объявился в Швейцарии и начал издавать газету «Свободная Россия». С этого начался отсчет срока первой эмиграции Владимира Львовича.

А в подведомственном Иркутску Малышевском остались друзья Бурцева, не такие пассионарные как он, но стойкие и мужественные в борьбе:

Виктор Кранехфельд, Эвелина Улановская, Николай Ожигов, Павел Грабовский и др. Горячие, равнодушные люди, они, как личное горе, восприняли расстрел в Якутске 22 марта 1889 года партии евреев-революционеров, ссылаемых в отдаленнейшие места Якутии вместе с женами и детьми. Там озверение надзирателей дошло до того, что раненых их пулями они добивали прикладами и штыками. На докладе об этом жестоком инциденте император Александр III сделал указание следователям и судьям, чтобы “бунтовщики” не были оправданы ни в коем случае, чтобы случившаяся расправа стала поучительным уроком для других революционеров. Стоит ли удивляться, что после такой резолюции в Якутске состоялось судилище и казни. Не оправившийся от тяжелого ранения при расправе, бывший еще не в состоянии ходить, Лев

Коган-Бернштейн палачами был привязан к кровати и вместе с ней повис в петле.

Об этой тяжелой трагедии малышевским изгнанникам стало известно через несколько дней и они тут же, по горячим следам, составили гневный протест правительству и департаменту полиции. В августе о своем присоединении к этой акции письменно заявила Софья Иоахимовна (Ефимовна) Новаковская, находившаяся тогда в Верхоленске. Все протестанты незамедлительно были подвергнуты аресту и заключены в Иркутский тюремный замок, а затем были отправлены на вечное поселение в Якутию.

Весть о кровавом кошмаре разнеслась не только по всей России, но и по многим странам мира. Бурцев, находившийся тогда в Европе, тоже осудил со всей своей страстностью небывалую расправу царских сатрапов. Вот что писал он об этом спустя почти 35 лет в своих воспоминаниях «Борьба за свободную Россию».

«Когда мы готовили к печати номер 3 «Свободной России», я получил из Сибири от Павла Грабовского сообщение, что в Якутске было столкновение ссыльных с властями: несколько человек убиты, несколько ранены, остальные были преданы суду. Впоследствии по решению суда трое были повешены: Зотов, Гаусман, Коган-Бернштейн. И в каторжные работы были приговорены Гоц, Минор и др. Все это были по большей части хорошо знакомые мне лица, некоторые были моими близкими друзьями. Я еще так недавно сидел вместе с ними в Московской пересыльной тюрьме.

Кровавые события в Сибири взволновали не только мигрантов, но и европейское общественное мнение. Лондонская «Таймс» посвятила им несколько передовых статей. Все английские газеты были полны негодующими статьями против зверств русского правительства. Европейская пресса говорила о том, что нельзя мириться с таким варварством. Общие симпатии были на стороне пострадавших ссыльных. По поводу якутского расстрела в Англии были организованы митинги. Эта же агитация перенеслась и во Францию. Писалось об этом и в швейцарской прессе.

Зная о якутских событиях, я издал брошюру «Убийства политических в Якутске». Общая агитация по поводу событий в Якутске была такова, что с ней пришлось считаться русскому правительству. Для меня эта агитация была показателем того, что это несложно было сделать за границей и для борьбы с русской реакцией.

С каким горьким чувством я вспоминал тогдашние отношения заграничного общественного мнения, особенно английского, когда нам

приходилось переживать преступное равнодушие иностранцев к нынешним зверствам большевиков, перед которыми побледнели все тогдашние якутские убийства!» (Бурцев, указан. сочинение, 29-30)

Тут заканчивается наше недолгое повествование о малышевской ссылке. Отраднo, что в рассказе о ней, выражаясь словами великого русского баснописца Ивана Крылова «и моего хоть капля меду есть», что нашлись хоть несколько архивных документов, ранее не публиковавшихся, и здесь они были представлены любителем местной истории. А досадно, что не удалось достать текст воспоминаний Владимира Львовича «Из Сибирской жизни», опубликованных в журнале «Былое» №5 за 1933 год. На запрос в самой лучшей библиотеке России был получен ответ, что номера пятого журнала «Былое» за 1933 год в наших библиотеках нет. Феликс Лурье в книге «Хранители прошлого» и Олег Будницкий в своей статье «В.Л. Бурцев» и его корреспонденты утверждают, что в 1933 году Бурцев выпустил всего два журнала «Былое» (№1 и №2), что материалы, опубликованные в этих журналах к «Былому» мало относятся, так как почти полностью отведены под его личные воспоминания. Подумалось, что в №2 «Былого» за 1933 год есть эти самые воспоминания их сибирской жизни о ссылке Бурцева в Малышевском. Ответ Санкт-Петербургской публичной библиотеки на наш запрос об этом не порадовал: такой статьи в этом журнале нет. Возможно где-нибудь за рубежом найдется №5 за 1933 год – его надо обязательно найти.

Чтобы немного ослабить ощущение от не до конца исполненного долга снова возвращусь к приводившейся уже заповеди историкам: «Мертвого имя назвать – все равно, что вернуть его к жизни» и представлю вниманию читателя фрагмент приговора по делу 22 марта 1889 года о вооруженном восстании ссыльных в Якутске. В нем поименованы и участники восстания и вынесенная им за это судебная кара. Такую же тяжкую долю понесли и вступившиеся за них друзья Бурцева из Малышевского. Но сначала напомним имена шестерых убитых в Якутске 22 марта 1889 г. при подавлении сопротивления ссыльных произволу якутской администрации. Были убиты: Сергей Пик, Папий Подбельский, Г.И. Щур, Яков Ноткин, Петр Муханов, Софья Гуревич. Приговор гласил:

«Военный суд признает подсудимых – сосланных государственных преступников – Льва Когана-Бернштейна, Альберта Гаусмана, Николая Зотова, Марка Бродинского, Моисея Брамсона, Мовшу Гоца, Шендера Гуревича, Иосифа Минора, Михаила Орлова, Михаила Ратина, Менделя Уфлянда, Матвея Фундаминского, Иосифа Эстровича, Сару Коган-Бернштейн, Анисию Болотину, Веру Гоц, Паулину Перли, Бориса Гейма-

на, Сергея Капгира, Анну Зороастрову, Розу Франк, Анастасию Шефтер, Липмана Бирмана, Константина Терешковича, Михаила Эстровича и Евгению Гуревич виновными в вооруженном сопротивлении исполнению распоряжений начальства по предварительному между собой соглашению с убийством при этом служителя Хлебникова, с покушением на убийство исполняющего дела якутского губернатора Асташкина, с нанесением ран подпоручику Карамзину и рядовому Горловскому и приговорил: первых трех – Когана-Бернштейна, Гаусмана и Зотова как зачинщиков в обозначенном преступлении по лишении всех прав состояния подвергнуть смертной казни через повешение. Следующих затем четырнадцать, как сообщников по лишению всех прав состояния, сослать в каторжные работы без срока. Бориса Геймана, Сергея Капгира и Анну Зороастрову во внимание того, что они не участвовали в соглашении с товарищами своими в составлении заявления с целью противодействовать распоряжению начальства и явились на квартиру Ноткина, где было оказано затем сопротивление, в самый день происшествия незадолго до самого сопротивления, а Розу Франк и Анастасию Шефтер во внимание того, что перед началом вооруженного сопротивления изъявили намерение подчиниться требованиям начальства и уговаривали своих товарищей идти в полицейское управление под конвоем, по лишении всех прав состояния сослать в каторжные работы на 15 лет. А остальных: Липмана Берамана, Константина Терешковича, Константина Эстровича и Евгению Гуревич во внимании их несовершеннолетия (менее 21 года) ... по лишении всех прав состояния сослать в каторжные работы на 10 лет. Подсудимых: Исаака Магата и Иосифа Резника, из которых последний за отправлением в Верхоянск в суд для допроса не вызывался, за соглашение в числе тридцати человек на подачу заявления с целью противодействовать распоряжению начальства отправлению ссыльных в северные округа Якутской области без всякого участия в самом сопротивлении по сему обстоятельству на основании статьи вышеозначенного «Уложения» по лишении всех прав состоянию отправить в отдаленнейшие места Якутской области, привлеченного к делу поселенца Николая Надеева, который не принимал никакого участия как в соглашении на подачу заявления с целью противодействовать распоряжения начальства, а имел только патроны от собственного револьвера, оставшегося во время задержания его на квартире, от ответственности освободить».

И как долгое-долгое эхо, как свет далекой звезды в 1903 году в канцелярию иркутского генерал-губернатора поступили три прошения от бывшей невестки Бурцева – жены его покойного брата Александра.

Ниже приводится текст второго из этих посланий (первое не сохранилось, нет и копии жандармского ответа на него).

«Его Высокопревосходительству Генерал-губернатору Восточной Сибири от вдовы надворного советника Ольги Николаевны Переверзевой, по первому браку Бурцевой, проживающей в г. Оренбурге 1-й части по Преображенской улице в доме Шапира.

Прошение.

В дополнении к прошению своему от 8 марта сего 1903 с приложением к нему двух марок 60 копеечного достоинства еще раз осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство почтить меня уведомлением о наведении надлежащих справок о том, жив и проживает ли в настоящее время или где находится сосланный в административном порядке в 1887 или в 1888гг. в г. Балаганск Иркутской губернии Владимир Львович Бурцев, состоящий в то время студентом Императорского Казанского университета.

Сведения эти крайне необходимы мне в настоящее время ввиду возможности наследования детьми моими от первого брака – его родными племянниками Бурцевыми – принадлежащего ему, Владимиру Бурцеву, и находящегося в Уфимской губернии земельного участка, в хлопотах о чем я в качестве попечительницы могла бы присутствовать в случае смерти или безвестного отсутствия упомянутого выше Владимира Львовича Бурцева.

При чем прилагаю одну гербовую марку 60 копеечного достоинства. Вдова надворного советника Ольга Николаевна Переверзева, по первому браку Бурцева. 1903 года, июня, 6 дня». (ГАИО, ф. 25, оп. 2, д. 24/к. 198, л. 136)

Ответ на это прошение не был получен, и вдова вынуждена обратиться к генерал-губернатору в третий раз.

«Его Высокопревосходительству Генерал-губернатору Восточной Сибири вдовы надворного советника Ольги Николаевны Переверзевой, по первому браку Бурцевой, жительствующей в воинской части г. Оренбурга, почтовом переулке в доме Галиева.

Покорнейшее прошение.

В текущем 1903 году я дважды входила с прошениями к Вашему Высокопревосходительству, когда я просила распоряжения Вашего о выдаче мне сведений о сосланном в 1887 или 1888 гг. административным порядком в г. Балаганск Иркутской губернии бывшего студента Императорского Казанского университета Владимира Львовича Бурцева, необходимых мне для начатия дела в окружном суде о безвестном его от-

существовании, так как после него остался находящийся в Уфимской губернии земельный участок, долженствующий перейти по праву наследования к родным его племянникам и моим детям от первого брака с родным братом его Александром Львовичем Бурцевым.

На прошения мои последовало мне 11 июля сего 1903 года объявление от канцелярии Вашего Высокопревосходительства за номером 5028 о том, что сведения о Бурцеве затребованы через канцелярию военного губернатора Амурской области.

Ощущая в настоящее время крайнюю необходимость в упомянутых выше сведениях, я еще раз осмеливаюсь обратиться с покорнейшей просьбой. Не благоугодно ли будет Вашему Высокопревосходительству распорядиться ускорить мне выдачу сведений о том жив и где в настоящее время находится упомянутый выше Владимир Львович Бурцев.

Вдова надворного советника Ольга Николаевна Переверзева. 1903 года, октября 8 дня». (ГАИО, ф. 25, оп. 2, д. 24/ к.198, л. 141)

Выше уже было высказано предположение, что к концу октября 1889 г. Иркутская жандармерия имела извещение департамента полиции о том, что Бурцев продолжает революционную деятельность в Европе. Объявление для О.Н. Переверзевой, что запрос о В.Л. Бурцеве сделан в канцелярию военного губернатора Амурской области, является не более чем отпиской, нежеланием сообщить ей правду о разыскиваемом ею брате покойного мужа.

СНОВА В СИБИРИ: АРЕСТ 1914 г, ССЫЛКА 1915 г.

«Как это?! Как это?! Как это?! – пишет биографию знаменитого человека, а 26 лет его бурной деятельности выброшены! Какими причинами это вызвано?»

Причин две и обе они не лишают автора читательской снисходительности. Во-первых, в подзаголовке нашей повести значится: «Наброски в помощь грядущему биографу В.Л. Бурцева». Иными словами, здесь пишется не биография, а только более или менее проработанные фрагменты в помощь ее будущему создателю. Во-вторых, те 26 лет, которые, якобы, пропущены автором будут все-таки вкратце обрисованы. Обойти их вниманием полностью невозможно, так как это наиболее острый и наиболее напряженный период жизни Владимира Бурцева. Особо выдающимся деянием Владимира Львовича в это время его разоблачение беспримерного провокаторства Евно Азефа в рядах партии социалистов-революционеров. Об этом написаны тысячи книг и статей, для чего были использованы все доступные материалы. Новых сведений об этом перио-

де жизни Бурцева у нас нет, и потому совершенно бессмысленно заходить на поляну давным-давно исхоженную и вытопанную историками и журналистами. Любители же детективных тонкостей знакомство с разоблачением Азефа могут начать с уже упомянутой работы Б. Николаевского «История одного предателя». Очень полезно прочесть для начала также интересную книгу Романа Гуля с коротким названием «Азеф».

Итак, кратко о бурной деятельности бурного Бурцева, начиная с 90-х годов 19 века, и, насколько возможно, подробнее о его второй ссылке в Сибирь.

Уже говорилось, что его мечтой в Мальшевском было вырваться из России за границу, начать издание своего журнала или газеты, со страниц которых проповедовать необходимость объединения усилий в борьбе с царизмом. Побег из России ему удался, и молодой и энергичный революционер развернул кипучую эмигрантскую деятельность. И деятельность эта была не только издательской и пропагандистской, но начал он именно с нее. Он принимал участие в выпуске газеты «Самоуправление», издал свою книгу «Белый террор при Александре III» и книгу американского публициста Джона Кеннана «Сибирь и ссылка». С его участием началось издание журнала «Свободная Россия» в 1889 г. Во втором номере этого журнала он сформулировал свою политическую позицию, заявив, что с реакционным правительством надо говорить языком революционера, требовать и угрожать революционной борьбой, вплоть до террора, если оно не пойдет навстречу. Но после третьего выпуска журнала издание его было прекращено из-за внутренних раздоров в редакции, и Бурцев из Женевы перебрался в Париж, где тогда обитала основная часть русской эмиграции.

За эмигрантами из России тщательно наблюдала русская тайная полиция во главе с Петром Ивановичем Рачковским. Его лучшим секретным сотрудником был Абрам Геккельман – он же Михаил Ландезен, будущим – действительный статский советник Аркадий Гартинг. Бурцев считал эту парочку своими злыми гениями, так как они хотели спровоцировать его на участие, якобы, в подготовке покушения на императора Александра III. Его друзья, попавшиеся на “удочку” провокаторов, были арестованы при испытании метательных снарядов, а Владимир избежал этой участи, так как в это время попытался уехать в Россию. Ландезен-Геккельман знал о планах Бурцева и сообщил тайной полиции, чтобы на границе его ожидали, но Бурцев и его спутник Ю. Раппопорт заметили слежку и изменили маршрут. В последующем Раппопорт решился все-таки прорваться в Россию, и был арестован при переходе русской гра-

ницы, а Бурцеву удалось сбить преследователя со следа и укрыться на Балканах. Это тоже была опасная Одиссея, заслуживающая экранизации и детективного романа. Его обложили со всех сторон, ждали и в Париже. Он знал, что его арестуют, и попробовал выбраться из Румынии через Константинополь в Англию.

Этот план удался, исключительно благодаря находчивости Бурцева, его смелости и джентельменству капитана британского корабля. Когда в отчаянной попытке оторваться от погони Бурцев поднялся на борт его судна, объяснил, что он русский революционер, что за ним гонится бригада российских жандармов и турецких полицейских, и попросил укрыть его, капитан распорядился переодеть Бурцева в матросскую робу и спрятать подальше в трюме. Турецкие таможенники, поднявшиеся на борт в сопровождении российских жандармов, обследовали и трюм, но, к счастью, Владимира там не обнаружили, и с конца 1890 г. местом его жительства стал Лондон.

В 1897 году он начал издавать журнал «Народоволец», в котором пропагандировал методы политической борьбы, делая упор на революционном терроре. При этом он считал, что охота за высокопоставленными сановниками – это напрасная трата времени и сил: надо убить, в первую очередь, царя, этим устрасшить элиту и вынудить ее пойти на уступки революционерам.

Царя Николая II он считал источником всех русских бед и испытывал к нему особенную ненависть.

За статью «Долой царя» в 1897 году под давлением русского правительства и при активном содействии злобствующего на Бурцева П.И. Рачковского 16 декабря 1898 года при выходе из библиотеки Британского музея Бурцев был арестован британской полицией. Лондонский суд обвинил его в подстрекательстве к убийству и приговорил к полутора годам каторжных работ. Каторгу он отбывал в лондонской тюрьме Пентенвиль и действительно работал, а не просто числился на каторге. Об условиях жизни и работы в этой тюрьме Владимир Львович ярко рассказал в своих воспоминаниях. Распространяться об этом в нашей работе нет смысла, так как ничего нового автор добавить не может.

Отбыв свой каторжный срок «от звонка до звонка» Бурцев вышел из тюрьмы в июне 1900-го года с затверделыми и черными от изнуряющей работы руками. Выйдя на свободу, он начал издание историко-революционных сборников «Былое». Издание журнала продолжилось в России, куда Бурцев вернулся сразу же после опубликования манифеста 17 октября 1905 года. Журнал быстро завоевал популярность, но Бурцева

уже захватило новое дело – охота за провокаторами в рядах революционных партий и их разоблачение. Дело в том, что еще в конце 1882 года было подготовлено и утверждено императором «Положение о секретной полиции в Российской Империи». Практическое руководство ее деятельностью поручалось особому инспектору секретной полиции с совмещением этой должности заведующего санкт-петербургским отделением по охранению общественного порядка и спокойствия. Им был назначен жандармский полковник Георгий Порфирьевич Судейкин, который стал отцом российской политической провокации.

В подписанном полковником циркуляре изложены такие задачи секретной полиции:

1. Возбуждать с помощью особых активных агентов споры и распри между различными группами революционеров.
2. Распространять ложные слухи, удручающие или терроризирующие революционную среду.
3. Передавать через тех же агентов, а иногда с помощью приглашения в полицию для кратковременных арестов, обвинения наиболее опасных революционеров в шпионстве и вместе с тем дискредитировать революционные органы печати и прокламации, придавая им значение агентурно-провокационной работы.

Судейкин рекомендовал своим агентам, работающим в революционных организациях не быть «белоручками», использовать против революционного подполья самые грязные приемы: подстрекать их к разграблению магазинов и складов, к разграблению домов, к беспорядочной стрельбе и метанию бомб в полицейских и других представителей власти, не считаясь с тем, что при этом могут погибнуть невинные люди от простонародья до «благородных» господ.

Сочетанием всех этих методов Судейкину и его агентам удалось осуществить настоящий разгром «Народной воли» первого созыва, сильно разобщить революционные ряды, посеять в них подозрительность и стойкое нежелание объединяться. Понятно, что все это не могло нравиться Бурцеву, и он с жаром отдался своему новому боевому поприщу.

В мае 1906 года к нему в редакцию «Былого» в Петербурге пришел сотрудник Варшавского охранного отделения Михаил Бакай и предложил Бурцеву свои услуги. Впоследствии с такими же предложениями к Владимиру обратились еще несколько сотрудников тайной полиции. Полученные от них секретные сведения дали возможность Бурцеву начать настоящую чистку революционных организаций от просочившихся в их ряды агентов тайной полиции.



Каляев И.П.

В 1907 г. в связи с поражением первой русской революции и угрозой ареста Владимиру Львовичу пришлось срочно уехать из России. Началась его вторая эмиграция. В это время и пришла к Владимиру Львовичу обще-европейская известность и даже слава, связанная с разоблачением знаменитого провокатора Евно Азефа, который входил в состав Центрального комитета российской партии социалистов-революционеров и даже возглавлял его Боевую организацию. Эта эсеровская структура специализировалась на терактах и экспроприациях. Деятельность ее была за-секречена даже для членов Центрального комитета партии, и Азефу было очень удобно

вести двойную игру: отправлять наиболее пассионарных членов партии на исполнение террористических актов, где их уже поджидала тайная полиция.

В результате исполнители терактов шли на виселицу, а Азеф выглядел в глазах руководства партии беспредельно преданным делу революции бойцом, не страшась ни арестов, ни смерти, так как лично участвовал при проведении терактов. Само собой разумеется, что он заблаговременно предусматривал для себя безопасный исход дела.

Позже Бурцев сорвал маски еще со многих провокаторов в различных партиях. Среди них был и близкий к Ленину член фракции большевиков в Государственной Думе Роман Малиновский. Ленин поначалу пытался защитить своего друга, но Бурцев довел расследование до конца. 18 апреля 1912 года Ленин подписал телеграфное удостоверение, что Бурцев возглавляет комиссию по выявлению шпионов в рядах Российской Социал-Демократической рабочей партии (РСДРП). В состав этой комиссии был включен также Феликс Эдмундович Дзержинский, который менее чем через пять лет станет председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

О том каким образом Бурцеву удалось создать так называемую контрразведку революции, вытащить, как говорят “за ушко да на солнышко” несколько десятков провокаторов в различных революционных партиях и группировках, особенно о его борьбе за разоблачение Азефа, написаны тысячи книг и статей. Предъявить миру что-то новое по этой теме практически невозможно и потому нет смысла погружаться в нее.

Но нельзя обойти молчанием тот бесконечный ужас, как характеризовал свое психологическое состояние сам Владимир Львович – ужас ожидания конца выдвинутых им обвинений в адрес предателей или провокаторов. Об этом хорошо сказано в его воспоминаниях «Как я разоблачил Азефа», опубликованных в СССР в 1929 году в книге «Провокатор». «Я стыл от холода в сердце, – пишет он. – Я почувствовал, что смотрю в какую-то страшную пропасть. В такие минуты мне было безмерно тяжело. Это была страшная проклятая полоса в моей жизни. В продолжение многих лет моя жизнь была отравлена почти непрерывно, изо дня в день. Когда полученные от департамента полиции сведения я передавал кому надо для проверки, а потом ждал результатов этой проверки, сердце у меня всегда ныло. Мне казалось, что не может быть ничего ужаснее того, что я испытываю.



Фигнер В.Н. (1852–1942)

В таких случаях я всегда в глубине души в тысячный раз упрекал себя, что занялся расследованием дел провокаторов. Сотни раз у меня было такое настроение, когда лучшим исходом я считал пулю в лоб. Пока мои обвинения не подтверждались всецело, со мною часто и сами обвиняемые, и их защитники вели такую страстную борьбу, что она часто превращалась в настоящую травлю против меня. Меня старались раздуть всеми средствами. То, что в протяжении многих лет я испытывал, я не пытаюсь даже передать».

Это утверждение Владимира Львовича иллюстрируется предупреждением ему от имени партии эсеров, что в случае провала его обвинений в адрес Азефа он за свои необоснованные подозрения будет расстрелян. В свойственной ему манере Владимир Львович заявил, что в таком случае он избавит эсеров от этой работы и сделает ее за них сам.

«К величайшему моему счастью, – продолжает Бурцев, – во всей моей борьбе с провокацией у меня не было ни одной сколько-нибудь серьезной ошибки. В этой борьбе с департаментом полиции я шел от одной крупной победы к другой, но победы предыдущих лет никогда не смягчали остроты переживаний позднейших исследований. Но зато после каждой удачи эта моя борьба с департаментом полиции приносила мне с разных сторон и горячие приветствия и выражения искренней благо-

дарности, когда видели, от чего спасали революционеров разоблачения провокаторов.

Но в этих делах для меня было нечто бесконечно более важное, чем эти приветствия и благодарности. При разоблачениях провокаторов я ясно осознавал, что я делаю нужное дело для всего освободительного движения». («Провокатор», М, 1929, стр. 191)

В ходе эсеровского суда над ним Бурцев хорошо показал корыстную необъективность и злобность по отношению к нему со стороны руководителей ПСР Марка Натансона и Виктора Чернова. «В этом деле они обнаруживали самое грубейшее непонимание того, о чем они говорили. И они не только не понимали, но говорили с чрезвычайной самоуверенностью, и боролись часто самыми отвратительными приемами. Тонем, не допускающим возражения, они говорили, что департамент полиции дал мне возможность разоблачить провокаторов только для того, чтобы я бросил тень на Азефа. Интересам защиты своей партии они предпочитали подчинить все: интересы Родины, принципы, правду, логику. Впрочем, они такими были всегда и в политике и это они особенно ясно показали несколько лет спустя, когда для России, было, начиналась новая свободная жизнь, и когда они ради интересов своей партии все потеряли». («Провокатор». М, 1929, стр. 269)

Владимир Львович продолжает: «В то время у меня уже едва хватало сил держаться на ногах, и временами мне казалось, что лично я нахожусь накануне катастрофы. Я заготовил завещание, где обращался с показаниями к тем, кто после меня решится продолжать дело разоблачения Азефа». В этой работе Владимир Львович еще раз объясняет, и очень убедительно объясняет, свои отношения с партией социалистов-революционеров: «Полемика с эсерами у меня велась давно. Еще с самого возникновения партии я отрицательно относился к ним по многим существенным вопросам их программы и тактики. Эсеры, как социалисты-революционеры, всегда стояли за революцию и революционную борьбу и всегда против эволюции. А я за революцию и революционную борьбу, и эволюцию стоял в зависимости от обстоятельств. Я никогда не был во что бы то ни стало социалистом-революционером и всегда был готов во имя социализма быть против революции за эволюцию, когда она делалась возможной».

В 1910 году Бурцев совершил агитационную поездку в Соединенные Штаты. Он выступал с лекциями в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго, рассказывал американцам о департаменте полиции, о русских провокаторах. Была и пьеса под названием «Азеф», но лавров на поприще

фандрайзинга он не сыскал: добиться солидарности и значительных благотворительных пожертвований от американских рабочих ему не удалось.

В 1909-10 гг. Бурцев издает газету «Общее дело», с 1911 года вплоть до своего отъезда в Россию в 1914 году – наряду с изданием историко-революционного сборника «Былое» еженедельную газету «Будущее». Большую часть материалов «Будущего» составляли статьи самого издателя, поэтому газеты была не широка по тематике и однообразна по тональности. Тем не менее, Алексей Максимович Горький считал обязательным для себя помещать в ней свои статьи и поддерживать эту газету материально. Худо-бедно, но газета выходила регулярно три с половиной года подряд. Для Бурцева она стала общественной трибуной и выразительницей его мнений по актуальным вопросам современности. В частности, поясняя свою личную политическую позицию, он писал в одной из передовых статей: «Я больше всего на свете люблю свободу, свободу личную, духовную и политическую. Ее же всего лучше обеспечивает движение, называемое либеральным. Но дорожу не тем либерализмом, который отстаивает свободную конкуренцию в хозяйстве и в жизни, защищает свободу банкиров и получает от них инструкции. Это нехорошая пародия на благородную идею, бессовестная узурпация чужого прекрасного слова. Подлинный либерализм всем жертвует ради подлинной свободы человека, готов идти на самые глубокие преобразования для того, чтобы защитить человека от разных видов угнетения. Можно назвать это «булыжным» социализмом: дело не в форме, по существу это одно и то же, хотя наша молодежь считает либерализм словом ругательным, а революционизм – патентом на благородство.

Над этим кругом мысли, конечно, очень легко посмеиваться, называть его прекраснотушием и другими обидными именами. Но посмеиваются над ним обычно недалекие и невежественные лица, да еще разные бокомысленные социальные стратегии, готовые себе одно из самых поразительных Ватерлоо в истории.

Именно этому прекраснотушию принадлежит будущее, не ближайшее, а более отдаленное. К счастью, есть уже в мире капиталистических деятелей несколько человек, отстаивающих либерализм в его единственном настоящем смысле. Только эти люди мне близки и дороги во всей политической жизни». Отмены частной собственности он не добивался. Он требовал от капиталистов относиться с братской заботой к своим работникам.

Вклад Бурцева в дело разоблачения русской монархии несравним с успехами других противников русского царизма. В издаваемых им газетах и журналах основное место занимали материалы и документы, направленные непосредственно против царя. В газете, выпущенной к 15-летию правления Николая II («Общее дело», 1910 г., № 3) одна из статей была озаглавлена «Юбилей позора и крови». Во все время издания «Общего дела» и «Будущего» эти печатные органы не оставляли Николая II в покое. В год 300-летия царствования династии Романовых со страниц своих газет Бурцев клеймил позором самодержца Всея Руси Николая Александровича Романова такими словами «любовь к преступлениям», «недобрая усмешка губ», «лень в делах», «подозрительность» и тому подобное... «У государя императора неустройство мыслительного аппарата – это машина, где одни винтики ослаблены, другие отвинчены, третьи растеряны. Словно в насмешку, Немезида оделила этого отпрыска Романовского дома всеми отрицательными чертами его представителя и дала так мало положительного». Не считаться с такими выпадами, оставить оскорбление без последствий, император естественно не мог, и ничего хорошего Владимиру Львовичу это не сулило. В сугубую провинность перед императором ему вменялась гневная критика покровительства Григорию Распутину со стороны царя.

Маленький зигзаг в сторону от главной темы раздела. Россиянам Владимир Львович известен, в основном, как разоблачитель Азефа и создатель историко-революционного журнала «Былое». Немногим известно об издававшейся им газете «Общее дело», хотя она в свое время стала самой крупной газетой русского зарубежья. И еще меньше известно в России о бурцевской газете «Будущее». А для биографии Бурцева сведения о ней, хотя бы самые краткие, необходимы. И вот несколько слов о ней.

Известный литератор Александр Валентинович Амфитеатов писал о ней А.М. Горькому: «Убедился еще раз, это благороднейшее дело в благороднейшие времена на благороднейшей почве, но у Бурцева ничего не выйдет. Жаль, что даром потратит достаточный капитал. Не годится он для газеты, сам не годится. Первый номер был плох, второй – еще хуже. Одними провокаторами не проживешь, а идейной программы у него нет. Болтался по соседству с левыми кадетами и эсерами...».

Бесспорно не все в будущем было безупречно, но и Амфитеатов не прав, поскольку и Бурцев был не настолько бездарен, и к газете его, к мнению Владимира Львовича, люди все-таки прислушивались, имели его в виду.

В 1912 году Бурцев, до глубины души потрясенный расстрелом мирного протеста рабочих Ленских золотых приисков (около 270 убитых и 250 раненых) против невыносимых условий своего существования и наглым ответом министра внутренних дел Макарова по поводу этих событий: «Так было и так будет», объявил, что намерен поехать в Россию, отдаться в руки жандармов, предстать перед царским судом и во время судебного разбирательства разгромить и департамент полиции и министерство внутренних дел и самого царя-батюшку. Исполнить это намерение тогда ему не удалось, но через два года, когда в 1914 году в Европе разразилась первая мировая война Владимир Львович как истинный государственник посчитал невозможным продолжать внутрirosсийские распри перед лицом внешней военной опасности. И тогда, как гром среди ясного неба, последовали многочисленные заявления Владимира Львовича о его решении поехать в Россию, чтобы помочь царскому правительству в объединении всех политических сил для победы над внешним врагом. Упомянувшийся уже писатель А.В. Амфитеатров писал тому же А.М. Горькому: «Три дня в расстройстве чувств в силу бурцевского безумия. Что только это чучело думает?! Хоть бы в законы заглянул прежде, чем печатать свои обязательства. Революцию делает, а не знает того, что в России инициатива политического обвинения частным лицам не принадлежит, и что всех прохвостов министерских посадить на скамью подсудимых он не в состоянии. То же и в отношении его ж самого, ибо на русской почве никаких преступлений им не совершено, а заграничные русское правительство благородно игнорирует. В результате бедного Бурцева жандармы арестуют на границе, подержат его года полтора на подследственном положении в одиночке, а там отправят без всякого суда, в административном порядке сходить с ума или помирать в каком-нибудь Верхоянске».

Угрозу ареста сразу при пересечении российской границы Владимир Львович со счета не сбрасывал, но в глубине души надеялся, что его патриотическая горячка будет воспринята правительством с одобрением, что ареста не будет.

Многие подробности этого события, как и последующих, изложены в его статье «Мой приезд в Россию в 1914 году». Статья эта опубликована в №1 журнала «Былое» за 1933 г. и здесь будет приведена полностью, но с вкраплениями текстов полицейского тюремного начальства, о которых Владимир Львович не знал и не мог знать в то время. Все приводимые документы ГАИО публикуются впервые.

Мой приезд в Россию в 1914 г.

Из воспоминаний

При объявлении войны я открыто стал поддерживать правительство

Накануне великой войны 1914 г., призывая правительство на путь реформ и отказа от реакции, я вел с ними открытую борьбу.

В «Будущем», издававшемся мною в Париже, – я был тогда эмигрантом – я из номера в номер помещал резкие статьи и вообще против русского правительства и лично против царя, как его главы.

Основным требованием в этой моей борьбе с правительством всегда был призыв его к определенным конституционным уступкам освободительному движению. В этой борьбе я доходил до прямых угроз правительству террором и за реакцию делал ответственным императора Николая II.

В то же самое время я всегда в печати говорил с сочувствием не только об оппозиции кадетов, но и о революционной борьбе эсеров. Я поддерживал рабочее движение и стачки рабочих, которые они вели в интересах своей классовой борьбы.

Рабочие выставляли политические требования, и поэтому они не могли не быть близкими всем прогрессивным людям.

Когда некоторые стачки рабочих принимали, как например, в Петрограде накануне войны, антигосударственный характер, то даже те, кто не мог им сочувствовать, тем не менее не считали возможным выступать против них, так как в то время борьба и с этими стачками была бы в пользу того правительства, которое не хотело идти на необходимые политические уступки, какие от него требовало общественное мнение.

Но в своей революционной борьбе я никогда не забывал государственных интересов России... Я боролся с правительством всегда во имя свободной России, и постоянно повторял в печати, что революционная борьба не является для меня самоцелью, и что, если правительство открыто и честно пойдет навстречу обществу, то мы, революционеры моих взглядов, будем против революционной борьбы с ним и зайдем по отношению к нему то же положение, какое оппозиционные политические партии во всех свободных странах занимают по отношению к своим правительствам. В этом отношении мы всегда были на противоположной позиции с большевиками, для которых на первом плане всегда стояла классовая борьба – захват власти пролетариатом и социальная революция.

При первом же известии о войне, не дожидаясь, какую позицию займет правительство, по отношению к освободительному движению и даже переменит ли свой курс внутренняя политика, я самым определенным образом стал на позицию патриотической оппозиции.

По прежнему резко подчеркивая все демократические требования, я указывал правительству на них, как на неперемненное условие победы во время войны.

В то же самое время, обращаясь ко всем революционным и оппозиционным партиям, я указывал им на необходимость во время войны идти навстречу правительству, чтобы оно ни делало, если конечно, оно только будет защищать родину, а не изменит ей.

«У Эрве. Его статья «Да здравствует» Царь»

С одной из написанных мною тотчас же после объявления войны статей, где я обращался к русским политическим партиям с призывом идти навстречу правительству, я отправился в редакцию парижской газеты «La Geurte Sociale» к Густаву Эрве. Он еще недавно стоял во Франции во главе революционного движения, призывавшего революционеров к гражданской войне, но как только война была объявлена, он пред опасностью, нависшей над родиной, сразу переменял не свои идеалы, а свое отношение к правительству, он стал призывать всех к общему единению вокруг правительства для ведения войны до конца.

В приемной «Ла Герр Сосиаль» я встретил знакомого социалиста, литератора француза, какого-то военного и католического священника. Они поочередно входили в кабинет Г. Эрве.

Когда он их провожал, он со всеми, в том числе и с военными и с католическим священником, нежно обнимались и целовались. Видно было, что они решились делать общее дело.

Затем в его кабинет пришел я.

Эрве меня давно и хорошо знал по литературе, но лично мы никогда не встречались.

Он при мне же прочитал мою статью и горячо стал меня приветствовать. Эту мою статью он на другой же день поместил на страницах своей газеты.

Ее цитировали во французской и иностранной прессе и по телеграфу передали в Россию. Там она появилась с сочувственными отзывами даже в чуждых для меня органах, как например в «Новом времени», где меня все время преследовали.

Эрве отнесся ко мне с большим сочувствием, когда я ему сказал, что еду в Россию. Я объяснил ему, в какой обстановке еду. Когда я ему сказал, что у меня нет почти никакой надежды, что русское правительство, как следует, поймет мой приезд, и думаю, что оно сейчас же арестует меня, то Эрве стал горячо со мною спорить.

Он сказал, что надо было быть идиотами, чтобы не только арестовать в данных условиях, а не встретить меня с полным доверием и не дать мне в самой России возможность широко выступить в печати с такими статьями, как я ему прочел.

Эрве даже не хотел серьезно обсуждать моих возражений. Он был глубоко убежден, что русское правительство пойдет на самые широкие уступки общественному мнению, соберет около себя видных представителей всех партий, будет опираться на Государственную Думу, даст равноправие всем национальностям и широкую автономию Польше.

Твердо веря в это, он написал свою статью, поднявшую большой шум: «Браво, царь!», а потом «Да здравствует царь!».

Я возражал Эрве и доказывал ему, что он слишком хорошего мнения о нашем правительстве.

Но, если я и не смотрел на русское правительство так оптимистически, как Эрве, то все-таки допускал, что в таких политических условиях, какие сложились в начале войны, оно пойдет на кое-какие уступки. Я не мог допустить того безумия, какое было им проявлено впоследствии во время войны.

Когда я уезжал из Франции, Эрве дал мне письмо, где горячо рекомендовал меня всем французским властям. Это письмо много помогло мне в дороге.



Я не боялся реакции

В русских кругах в Париже многие остались недовольны моими статьями о войне и нападали на меня за занятую мною позицию по отношению к русскому правительству. Говорили, что надо было хотя бы выждать событий и посмотреть, какую позицию займет во время войны правительство.

Меня резко порицали за то, что я не отделяю Россию от правительства и поддерживаю не русский народ, а именно – правительство.

Мне указали, – но, конечно, я без их указаний сам это видел – что правительство по прежнему упорствует в своей реакции, в тогдашних

своих замалчиваниях тайло возможность в будущем самых черносотенных выпадов, и что оно не только шло сзади общественных движений, а систематически тормозило их.

Заявление вел. кн. Николая Николаевича по польскому вопросу вскоре было в Петрограде смягчено и лишено своего первоначального значения.

Яркие заявления о равноправии национальностей со стороны самых умеренных и даже таких реакционных общественных деятелей, как Пуришкевич, потеряли свое ободряющее значение, когда все увидели, как отрицательно к ним отнеслось на практике правительство.

Со стороны русского правительства совершенно не было такого искреннего и глубокого призыва к единению общественных сил, какой был во Франции, в Англии, а с другой стороны в Германии.

Все видели зловещие признаки старого реакционного упрямства правительства. Было совершенно ясно, что правительство сдаваться не хочет. Оно, по видимому, не дрогнуло даже от надвигающейся общенациональной опасности и по прежнему было слепо, близоруко и, пользуясь войной, казалось, рассчитывает только укрепить свои старые позиции.

Когда мне на это все указывали, я не отрицал этого и сам по прежнему резко продолжал критиковать реакцию, но я заявлял, тем не менее нам надо решительно идти навстречу правительству и во время войны оказывать ему всяческое содействие, чтобы нас потом никто не мог упрекнуть, что мы боролись с ним, когда отечество было в опасности.

На этом я настаивал вот почему.

Во-первых армия, способная защищать родину, была в руках этого правительства, и ни у кого, кроме него, не было армии, - изменить этого факта уже было нельзя.

Во-вторых, если мы, левые и оппозиция, зайдем должную позицию в этой войне, то мы сможем опираться и на русское общественное мнение и на союзников и будем той силой, с которой правительству придется считаться и во время войны, и после нее.

Реакции в случае победы я совершенно не боялся и считал ее невозможной.

В-третьих, я был глубоко убежден, что для России будет громадным несчастьем, если в ней во время войны вспыхнет революционное движение. Это не могло не быть счастьем для немцев и поражением для союзников. За это Россия, думал я, могла страшно поплатиться. Это было бы для нее величайшим несчастьем, даже в том случае, если революционное движение было бы удачным и, пользуясь войной, в России покончили бы с самодержавием.

Для меня во время войны все наши политические расчеты должны были быть подчинены защите родины, даже если бы правительство не пошло бы к нам навстречу, во время войны стало быть только укреплять свою реакционную политику и свои монархические интересы поставило бы выше родины.

Я делал оговорку только в одном случае: если русское правительство в лице царя и его министров изменит России и для своих целей будет заключать союз с немцами. В этом случае я считал всех нас и во время войны вправе бороться с таким правительством всеми средствами, вплоть до террора и цареубийства. Но я не допускал мысли о возможности такой двоедушной политики русского правительства. Поэтому у меня отпадали всякого рода «если», и я решительно, безоговорочно шел навстречу русскому правительству.



Отношение французского общественного мнения к русским

Русские во Франции стали популярны, как никогда раньше. Надежда на победу над немцами у французов связывалась исключительно с ними. Французы были убеждены, что без России немцы прежде всего разобьют их, а затем и других союзников. Так же думали об этом и немцы.

С каким вниманием все тогда во Франции следили за движениями русских войск на границе в начале войны нам говорили факты повседневной жизни.

На мою маленькую квартиру на рю де ла Гласьер, в редакцию «Будущего», приходили французы самых разнообразных слоев населения и политические деятели, и журналисты, и просто обыватели с просьбой написать и телеграфировать в Россию, чтобы русские войска скорее шли на немцев.

Помню как однажды одна из служащих в ближайшем почтовом бюро – до войны она меня знала только по имени, как часто приходившего к ним в бюро, – пришла ко мне со слезами на глазах умолять телеграфировать в Петербург, чтобы русские войска были бы немедленно отправлены брать Берлин.

Она спрашивала меня, не могут ли русские недели через две взять Берлин? Ее брата послали прямо на фронт, и она надеялась, что если к тому времени Берлин будет взят русским войсками, то ему не придется воевать!

Да, Россия была тогда популярна и к ней тянулись все! Все клялись в верности ей. Согласны были на все условия, чтобы она только

оставалась их союзницей. О России говорили с глубочайшей верой и уважением.



Русское правительство не шло навстречу русскому обществу

Как ни мало у меня было надежды, что русское правительство поймет цель моей поездки, и как не сильна была во мне уверенность, что я буду арестован, я тем не менее временами допускал, как что-то маловероятное и то, что русское правительство сделает то же, что сделало французское: объявит амнистию политическим кто пойдет навстречу к нему и, в частности, не только не арестует меня, но даст мне возможность открыто действовать в Петрограде – основать свою газету или принять участие в больших русских газетах.

От целого ряда газет я уже имел предложения принять в них самое деятельное участие. Если еще по дороге в Россию, я мог помещать статьи и в «Матэн» и в «Таймс», в норвежских и шведских газетах и об этих моих статьях телеграммами сообщалось в русские газеты, то, конечно, в России я мог бы организовать обширную кампанию в пользу войны и соединить в одно течение много патриотически настроенных деятелей левого лагеря, как в России, так и за границей. Необходимость такой политики мне казалась очевидной. Также на дело смотрели вместе со мной и многие за границей, как Кропоткин и Плеханов, и, как я потом узнал, многие из левых в самой России.

Но с каждым днем войны, еще когда я был в Париже и потом, по мере того, как я приближался к русской границе, мне становилось все яснее, что русское правительство не поймет моего решения демонстративно идти ему навстречу и что мне, может быть, жестоко придется расплачиваться за свою поездку.



Мой отъезд из Парижа в Лондон

В Париже накануне отъезда я присутствовал на грандиозных похоронах Жореса. На них я видел представителей всей Франции, слившихся в одном общенациональном порыве. социалисты и буржуа, католики и свободомыслящие шли вместе.

На Парижем уже летали немецкие аэропланы и сбросили в город несколько бомб. Были убитые и раненные. Но особенного впечатления на парижское население эти бомбы не произвели.

Немецкие войска наступали на Париж. Подготавливалась уже знаменитая марнская битва. Было объявлено, что из Парижа уходит последний поезд.

Когда я выезжал из Парижа через Лондон в Россию, у меня кроме билета, было в кармане всего 42 франка и никаких определенных источников для получения их где бы то ни было. Ехал я на «ура». Русское посольство охотно и легко выдавало даровые билеты и кое-какие деньги тем, кто ехал в Россию. Людям с политическим прошлым такие пособия выдавались в еще большем количестве. Мне предлагали выхлопотать сумму, достаточную, чтобы доехать до самой России. Но я не хотел обращаться ни к каким официальным русским представительствам.

В Лондоне мне пришлось жить в двух шагах от русского консульства. Десятки лиц из моих знакомых получали и билеты, и средства на поездку в Россию. Но я и в Лондоне не ходил в консульство брать деньги.

У меня была только одна надежда. Я отправился к корреспонденту «Русского Слова» и просил его телеграфировать в Москву в редакцию, что я еду в Россию при таких-то условиях, предлагаю свое сотрудничество и прошу выслать мне аванс.

Предшествующие годы в русских газетах и в «Русском Слове» – больше, чем в других газетах – помещались мои бесчисленные интервью, перепечатывались мои заграничные статьи, сведения о моих изданиях и т.д. Но сам я ни разу не получал из редакции гонорара. Гонорар шел корреспондентам, которые брали у меня эти мои иногда очень сенсационные материалы.

На другой день после посланной в Москву в «Русское Слово» телеграммы, когда у меня осталось всего 8 франков, я получил около 100 фунтов, что по тем временам представляло на русские деньги свыше 1000 рублей. Этих денег мне хватило не только на дорогу до самой границы, но и на все время моего пребывания в Петропавловской крепости.



В Лондон в редакцию «Таймса»

В Лондоне также, как и в Париже, о русских говорили, как о самых желательных союзниках. и там для всех было ясно, что война может быть выиграна, если на стороне союзников будет Россия. Государственные деятели, представители печати и общества, английская толпа, все клялись в верности России, как союзнице. О России и о русском народе говорили с величайшим уважением. Вскоре в Англии в официальном договоре всех союзников были сформулированы права России в дальне-

и ближневосточных вопросах. За Россией признавались неотъемлемые права на проливы. Одновременно признавалась Россия императорская, государственная и Россия оппозиционная. Не было речи ни о какой другой России, сколько-нибудь похожей на большевицкую.

Меня пригласили зайти в редакцию «Таймс». Там с величайшим сочувствием отнеслись к моей поездке в Россию.

В своем разговоре с главным редактором «Таймс» я стоял на том, что мы, республиканцы, оставаясь на почве крайних левых партий, решительно выступаем за войну совместно с русским правительством и что для нас, противников данного, бюрократического русского строя, будет несчастьем победа немцев, а победа нашего правительства в этой войне для нас не страшна, потому что после войны русское правительство не может остаться при своей нынешней реакции, и должно будет идти на уступки. Редактор «Таймс» соглашался со мной и сам об этом говорил, как о чем-то совершенно установленном и не подлежащем никакому сомнению. После нашей беседы я поместил в «Таймс» большое письмо о задачах моей поездки. Оно широко цитировалось во всей европейской прессе, и тогда же, конечно, попало в руки руководителей русской политики – задолго до того, как я явился в Россию.

Обращаясь в этом письме к русскому правительству, я звал его идти на самые широкие уступки обществу и повторял все свои требования, о которых говорил и во французской прессе: законодательная Государственная Дума, свобода печати и общественной жизни, национальное равноправие.

В то же самое время революционеров и оппозицию я призывал к единению и совместной работе с правительством.

В этом же письме я говорил, что еду в Россию, чтобы там всеми силами поддерживать правительство, несмотря на то, что может быть, правительство не поймет занятой мной позиции и захочет во время войны сводить со мной старые счета и арестует меня.

В таком духе я писал и дал несколько интервью и в других английских газетах.



Кропоткин горячо отнесся к моей поездке другие эмигранты были против неё

Из Лондона я съездил в Брайтон к П.А. Кропоткину. С первых же сказанных им слов мне было ясно, что он стоял определенно на стороне союзников против немцев. Так же относился к войне и Плеханов, как об этом я, к большому моему удовольствию, впоследствии узнал.

Когда в Брайтоне я слушал вдохновенную речь Кропоткина, я думал: «вот кому бы следовало ехать теперь в Россию и там «глаголом жець сердца людей».

Разумеется сколько-нибудь разумное правительство, бывшее тогда на месте русского, должно было само сделать решительно все, чтобы Кропоткин тогда же приехал в Россию.

Когда впоследствии, ровно через три года, я слышал в Москве при тысячной аудитории на собрании общественных деятелей речь этого самого Кропоткина во время полной деморализации армии, во время торжества большевизма и общего развала России, я вспоминал нашу беседу с ним в Брайтоне в первые дни войны и подумал: что бы действительно сделали речи этого замечательного, настоящего русского человека, если бы они раздавались во время войны 1914-1916 гг. с трибуны в той же Москве!

Кропоткин внимательно расспрашивал меня о моем решении ехать в Россию. Он высказал свое твердое убеждение, что правительство не поймет моей поездки и несомненно арестует меня, что я должен готовиться к мести с его стороны за всю ту борьбу, которую в продолжение многих лет я вел за границей против него. Но только когда он увидел, что я без колебаний решил ехать в Россию, он горячо стал поддерживать меня в моем решении и говорил о своем страстном желании самому ехать в Россию.

Зато другие почти все без исключения члены русской колонии в Лондоне, как например А. Теплов, как это было и в Париже, решительно восстали против моей поездки в Россию. Они ее называли и безумием и самоубийством, и видели в ней какое-то косвенное оправдание того правительства, с которым я все время боролся – и даже примирение с ним.

Я им доказывал, что война с немцами ведется не против русского правительства, а против русского народа, и что русская армия, борясь вместе с нашими союзниками, защищает дело демократии против немецкого империализма, что в случае поражения России и союзников, когда Германия выйдет из войны победительницей, в России предстоит злая реакция, да и не только в России, но и во всей Европе, что нам, русским революционерам, нужно показать и русскому народу и русской армии, что мы с ними, что мы не изменники России, и что, наконец, наша победа во время будет не победой царизма, а победой народа и, следовательно, с победой на войне, мы победим и царистскую реакцию внутри России.

Лондонцы провожали меня с таким же чувством, с каким хоронят близкого человека. Года через полтора, когда после разного рода пере-

живаний, я очутился в Петрограде и вел там свою агитацию, я получил из Лондона письмо от этих товарищей, когда-то хоронивших меня. Они горячо поздравили меня с благополучным возвращением из Сибири и откровенно признавали, что раньше они не поняли моей поездки.

Из Лондона корреспондент «Русского Слова» по телеграфу подробно сообщил в Москву о встрече со мной, о моем разговоре с Кропоткиным и об его отношении к войне, о задачах моей поездки в Россию. Телеграммы эти, как и большинство других телеграмм о моей поездке, не были пропущены русской цензурой и никогда не увидели света, но на них обратило серьезное внимание правительство.

Еще в Лондоне я видел русские газеты, в том числе и «Новое Время», где были помещены телеграммы о моих статьях во французской прессе по поводу войны.

В них сообщалось и то, что я еду в Россию. Таким образом, и русское правительство и русское общество задолго до моего приезда на финляндскую границу имело сведения о том, что я еду в Россию, и с какой целью я еду.



В Христиании и Стокгольме.

Спор: арестуют или не арестуют меня?

Из Лондона через Ньюкэстл я прибыл в Берген в Норвегии, а оттуда в Христианию, где в местных газетах дал несколько интервью о войне. Здесь же я тогда виделся с бывшим монахом Илиодором. Он прочитал мне несколько отрывков из приготовленной к печати его книги «Святой Чорт» – о Распутине.

Затем я приехал в Стокгольм. Здесь в газетах я поместил привезенное мною от Кропоткина открытое письмо шведскому профессору Стефенсу о войне.

Это была пламенная защита позиции союзников и самое беспощадное нападение на немцев.

Оно произвело огромное впечатление и в Швеции и вне ее. Было оно перепечатано в английской, французской и с другой стороны – в немецкой прессе. Позднее, когда я вернулся из Сибири, я это письмо сам издал в России.

В Стокгольме я встретил много русских, ехавших в Россию, главным образом, из Германии, откуда они были изгнаны. Очень многие из них знали из газет о моей поездке в Россию. Почти все они были против нее.

Даже те, кто стоял за войну, находил, что моя деятельность за границей во время войны будет более продуктивной, чем эта рискованная поездка в Россию, где, по их мнению, меня ждет тюрьма и только тюрьма, из которой мне никогда не выйти, и откуда я никогда больше не могу подать голоса. Для них я был каким-то самоубийцей. Лидер шведских социал-демократов Брантинг, бывший потом председателем Совета министров, с которыми я виделся тогда, прекрасно понял цель моей поездки. Он всей душой сочувствовал мне, но он смотрел на царский режим безнадежно и был вполне убежден, что правительство сгноит меня в тюрьме. Для него моя поездка была хорошим порывом и в то же время бесполезной тратой сил.

Среди русских в Швеции очень немногие смотрели на мою поездку иначе. Одним из исключений был профессор Гредескул, тот самый, который потом играл такую позорную роль у большевиков.

Он тогда был горячим патриотом и стоял за войну с немцами до конца. Он с энтузиазмом стал говорить о моей поездке в Россию, и ни на одну минуту не допускал мысли, чтобы я мог быть арестованным. Он смотрел на правительство Николая II, как на правительство, которое ниже всякой критики, но в данное *время*, при *данных* условиях, по его мнению, даже такое правительство не могло совершить такой ошибки.

Я горячо возражал Гредескулу и с уверенностью говорил, что я буду арестован, но что, когда я буду сидеть в тюрьме, тогда раздадутся голоса в мою защиту, как в России, так и за границей, и что это, может быть, со временем заставит русское правительство вопреки своему желанию освободить меня.

Находясь еще в Христиании, я о целях моей поездки написал открытое письмо в редакцию русских и иностранных газет на тот случай, если я буду арестован. В этом письме я выяснил свой взгляд на войну, выставил политические требования, как условия возможно успешного ведения войны и кончил свое обращение в редакцию резким протестом против моего ареста, если бы он состоялся. Несколько экземпляров этого письма я из Стокгольма послал в русские и заграничные газеты и некоторым своим друзьям эмигрантам в Париж и Лондон, а один экземпляр я оставил у себя, чтобы он был взят при моем аресте.

В Стокгольме я поместил статьи о своей поездке в Россию в «Социал-Демократен», «Дагенс-Нюхетер» и дал несколько интервью для русских газет. Там я прожил дней десять и, еще не уезжая оттуда, в полученных из России газетах «Речь», «Русские Ведомости» и др. я мог прочитать мои интервью, данные в Швеции, о цели моей поездки в Россию. В них

я снова повторял, что хорошо знаю о возможности моего ареста, но что это меня не останавливает.

В Стокгольме много было мною переговорено с друзьями о поездке в Россию. Всех я выслушал. Их замечания во многих отношениях были для меня полезными, но я остался при том же решении, с каким ехал из Парижа.



Отъезд из Стокгольма в Россию

Я купил билет на пароход, идущий прямо в Финляндию в Раумо. Накануне отъезда, с этим билетом в кармане, я часа четыре гулял по аллее «Страндваген». Публики почти не было. Я старался припомнить все, что мне говорили за и против моей поездки. Я прекрасно понимал, что поездка в Россию для меня была решительным шагом в моей жизни. Для меня не было ничего невероятного, если бы сбылось предсказание большинства моих собеседников-пессимистов, и захлопнувшаяся за мною тюремная дверь никогда более для меня не открылась бы.

Хотя для меня в это время уже не существовало сомнений – ехать или не ехать в Россию, тем не менее, я счел нужным еще раз пересмотреть этот вопрос. Я старался дать себе ответ на все вопросы о поездке, которые мне ставили с разных сторон.

Впоследствии и в тюрьме и в ссылке я часто вспоминал этот последний вечер, проведенный мною в Стокгольме. Уходя к себе в отель с аллеи «Страндваген», я знал, что я бесповоротно решил ехать.

В отель я вернулся поздно вечером и более уже не возвращался к вопросу, ехать или не ехать, и ни с кем об этом более не говорил. Я знал, что завтра я еду в Россию.

Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Стокгольме ни прямо, ни косвенно я не обращался ни к каким русским властям за границей с просьбой о разрешении мне, эмигранту, ехать в Россию.

Ни лично, ни через третьих лиц я не наводил справок в России – ни в Департаменте Полиции, ни в каком другом учреждении о том, как будет поступлено со мной, когда я приеду в Россию.

Я ехал на родину как свободный гражданин и предоставил правительству делать со мной все, что оно захочет.

Русские власти, задолго до моего приезда в Россию могли принять во внимание все известия, печатавшиеся в газетах, они имели много времени обдумать, что им делать, – и они сделали распоряжение на границе, как меня встретить.

На другой день (14 сентября) часа в три с набережной «Страндваген» отходил наш пароход в Финляндию прямо в Раумо.

Меня пришли провожать кое-кто из знакомых. Почти все они были решительно против моей тогдашней поездки и снова стали убеждать меня остаться в Стокгольме.

Я был уже на пароходе. Раздался первый, второй свисток. Знакомые с берега всё ещё кричали мне «Ещё не поздно! Оставайтесь!» Раздался третий свисток. Сходни некоторое время почему-то ещё не были сняты. С берега продолжали убеждать меня сойти с парохода.

До Раумо, говорили мне, остановок больше нет и вернуться уже не будет никакой возможности, а в Раумо меня, несомненно, арестуют.

Я не возражал на эти дружеские уговаривания, а только отшучивался.

Наконец, сходни были убраны. Пароход пошёл. У меня как-то особенно легко стало на душе. Как будто началась для меня новая радостная жизнь.



На пароходе

На пароходе ехали, главным образом, русские. Было много, кто меня знал раньше, хотя бы по литературе. Мы скоро сошлись, и темой разговоров была, главным образом, моя поездка в Россию.

– Да разве можно, чтобы вас арестовали в такое время? – тоном не допускавшим возражений говорил профессор Гредескул.

– Ну, конечно, вы будете арестованы! Вас правительство никогда не освободит, – говорили другие. – Ваша поездка в Россию – безумие! Своим приездом вы только порадуете Департамент Полиции. Да разве поймёт вас русское правительство? Да разве простит вас Департамент Полиции за Азефа?

Но в сущности было бесполезно и поздно спорить о том, надо или не надо было мне ехать, но мы все-таки продолжали обсуждать этот вопрос.

Пароход, не останавливаясь нигде, шел прямо в Раумо.

Телеграммы о дне моего предполагаемого выезда из Стокгольма давно были посланы во все русские газеты. Власти, следовательно, знали о нем хотя бы только из этих телеграмм.

Среди пассажиров было много интересных русских. Начались споры и гадания насчет надвигающихся великих событий.

Прекрасная теплая погода. Тихое, как зеркало, море.

Не прекращают попадаться чудные острова.

Удивительный закат солнца.

Все это делало тогдашнюю поездку особенно памятной и никогда забываемой для меня.

Я рассказывал своим знакомым о своих парижских впечатлениях, о бомбардировании немцами Парижа, о впечатлении за границей от обстрела Реймского собора, о своих встречах с Кропоткиным в Англии.

Мои спутники, только что вырвавшиеся из немецкого плена, рассказывали о проведенных ими первых неделях у немцев в Берлине и т.д.

Настроение у многих пассажиров было очень нервное. Вдали, казалось, находились немецкие военные суда.

На пароходе все время ждали нападения немецких подводных лодок. Временами бывали ложные тревоги. Они особенно волновали пассажиров ночью.

После семи лет бурной эмигрантской жизни вне России, я тот, за кем все время охотилась русская политическая полиция за границей, добровольно возвращался на родину и возвращался при такой исключительной обстановке.

Те, кто думал, что меня в Финляндии же арестуют, прощались со мной, как с человеком, которого они видят в последний раз.

На следующий день рано утром мы увидели берега Финляндии.



Мой арест

Когда пароход причаливал к Раумо, в толпе стоявших на берегу народа с финнами, я с особой радостью разглядывал много русских лиц, каких в эмиграции я давно уже не видел.

Повсюду виднелись русские надписи и русские костюмы. С берега до нас долетали русские голоса. Слышалась русская военная команда. Один за другим пассажиры стали сходить с парохода.

Тут же в десяти шагах от берега, под навесом стояли низкие столы. На них приезжавшие клали свои вещи для таможенного досмотра.

К одному из этих столов подошел я со своим чемоданом и показал его таможенному чиновнику. Финляндский таможенный чиновник почти не смотря поставил крест на моем чемодане, и я снова стал его заирать.

Сзади я услышал голос: «Прошу следовать за мной!» Я оглянулся и увидел жандармского офицера, а за ним жандармских унтер-офицеров. Я им сказал: «Я вас понимаю».

Шагах в тридцати находилось здание, в котором помещался жандармский пост. Туда направился жандармский офицер. Я пошел за ним. В руках я нес свой чемодан. За мной шли жандармские унтер-офицеры. Мне пришлось проходить мимо некоторых из моих пароходных спутников, с кем я только что спорил о том, арестуют меня или не арестуют. Я старался не смотреть на них, чтобы не выдать своего с ними знакомства. Они, конечно, поняли, что я арестован.

Я и сопровождавшие меня жандармы шли молча. Когда мы вошли в помещение жандармского поста, жандармы сейчас же взяли у меня из рук мой чемодан. Офицер громко и резко дал приказ:

– Обыскать!

Один жандарм схватил меня за правую руку, другой за левую, двое других стали меня обыскивать. Как змеи их руки скользили по моему телу и ощупывали его. Я стоял, молча, стиснув зубы. Это было первое моё впечатление на родине. За последние годы свободной жизни за границей я отвык от этих пыток.

Жандармы искали, нет ли у меня чего-нибудь спрятанного в карманах, под одеждой. Один из них спросил меня:

– Есть у вас револьвер?

Не отвечая обыскивающему жандарму, я обратился к жандармному офицеру и сказал:

– Я – не мальчик! Я знал куда еду. Я знал, что в России есть жандармские управления, я знал, что вы меня арестуете, и будете обыскивать. Я об этом писал в газетах, когда ехал. Так неужели вы думаете, что у меня может быть что-нибудь интересное для вас?

Мои слова будто озадачили русского офицера. Он на несколько мгновений задумался, потом резко сказал жандармским унтер-офицерам:

– Скорей кончайте обыск!

Жандармы, очевидно, с полуслов понимали своё начальство и почти прекратили обыск. Офицер спросил меня, что у меня есть в моих вещах?

– Прежде всего, – сказал я, – вот моё заявление в редакции газет, написанное на случай моего ареста. Оно уже послано в редакции. Вот номера газет французских, английских, шведских, норвежских, где я поместил статьи о моей поездке в Россию. Больше интересного для вас у меня ничего нет. Когда я сел на пароход в Стокгольме, я тщательно осмотрел свой чемодан и свои карманы, нет ли там чего-нибудь для вас интересного. И то, что я нашел интересного для вас, я уничтожил. На пароходе, завидя Раумо, еще раз осмотрел весь свой багаж, и хорошо знаю, что у меня нет ничего интересного для вас.

Мой обыск кончился. Скоро кончился и мой несложный допрос. Был составлен протокол, и мне заявили, что я арестован, и что меня сегодня же увезут из Петрограда.

Я говорил о бессмысленности моего ареста на финляндской границе, раз я сам добровольно еду в Петроград и попросил жандармского офицера телеграфировать, куда следует, чтобы мне было разрешено ехать без конвоя на свои средства до Финляндского вокзала в Петроград, где власти смогут сделать со мной все, что захотят.

Телеграмма в таком духе была отправлена жандармским офицерам, но еще до отхода поезда получен был приказ немедленно доставить меня в Петроград под усиленным конвоем.



«Зачем вы приехали»?

До отхода поезда оставалось несколько часов, и в комнату, где я находился, ко мне не раз приходил побеседовать арестовавший меня жандармский офицер.

Он, видимо, не раз порывался о чем-то спросить меня. Затем как-то неожиданно спросил меня:

– Если можно, г. Бурцев, скажите, пожалуйста, зачем вы приехали в Россию?

Слово «зачем» он как-то особенно подчеркнул. Тут было и любопытство, и непонимание, но не было никакой злобы... Наоборот, мне показалось, что он задал этот вопрос мне с сочувствием ко мне и одобрял то, что я приехал.

Я повторил ему все то, что о целях моей поездки я повторял по дороге всем своим друзьям и противникам от Парижа до Раумо.

Временами он, по-видимому, меня понимал, но иногда ему хотелось объяснить мою поездку иными причинами, чем те, о которых, я ему говорил. Раз он даже прямо спросил меня, не стоят ли за моей спиной какие-нибудь великие князья, не еду ли я по поручению какой-нибудь союзной державы? И т. д.

Я рассмеялся над этими его догадками и сказал, что за мной не только нет никаких великих князей или великих держав, но что я не принадлежу ни к какой партии, что я – русский человек, свободный журналист, вопреки протестам большинства своих друзей. Я ему показал свое стило и сказал:

– Вот единственное оружие, которым я борюсь!

В конце нашего разговора я понял, почему мой неожиданный добровольный приезд в Россию так изумил этого жандармского офицера.

Перед тем, как попасть в Раумо, этот жандармский офицер (его фамилия, кажется, Гейнц) был несколько лет на пограничной русско-немецкой железнодорожной станции Вержболово, и вот всякий раз, когда русская тайная полиция упускала меня из виду в Париже, и жандармы думали, что я поехал тайно в Россию, этот офицер получал из Петрограда по телеграфу строжайшие приказания принять все меры для моей поимки.

В те годы в их жандармской среде обо мне говорили не иначе, как о несомненно будущем каторжнике. Пуришкевичу принадлежало в то время крылатое слово, сказанное им про меня: «Где Бурцева поймают, – там его и надо повесить!»

Арестовавший меня в Раумо жандармский офицер, как и вообще многие другие жандармы, привык на меня смотреть как на непримиримого своего врага. В продолжение многих лет они не произносили моего имени иначе как в сопровождении крупных ругательств.

Один из жандармских полковников, уговаривая как-то дать показания против меня, говорил обо мне как о человеке кровожадном, жестоком, без сердца, который на всех и на все смотрит только с точки зрения пользы для своей агитации. Исчерпав весь свой лексикон разного рода ругательств по моему адресу, он, несколько помолчав, сказал:

– Одно только надо сказать: не жить!

В рассказе о моём приезде в Россию в 1914 г. я должен отметить вообще одно новое, очень важное для меня обстоятельство в моих тогдашних отношениях к представителям жандармского мира.

В разговорах со своими жандармами, тюремщиками, прокурорами, судебными следователями, в тюрьмах, под арестом, как и после возвращения из ссылки, все время до революции, я всегда открыто им заявлял, решительно ничего не беру назад из того, что я говорил и делал во время моей эмиграции за границей, и что у меня осталось прежнее отношение к правительству и лично к царю. Но, несмотря на это, я не мог не видеть к себе совершенно иное отношение, чем это было раньше. Я чувствовал, что большинство врагов моих обезоружено моим отношением к войне, и что они сами не понимали тех Щегловитовых, Маклаковых, Джунковских, которые считали возможным и во время войны преследовать меня за то, что я раньше делал за границей.



Передача меня из Финляндии в Россию вопреки финляндским законам

По русским законам, действовавшим тогда в Финляндии, жандармы могли меня арестовать, известив об этом финляндского генерал-губернатора предварительно, если было возможно. Еще до ареста, или, в крайнем случае, сейчас же после ареста.

Но правительство так жаждало меня арестовать и придавало моему аресту такое значение, что хотя оно загодя знало, когда и на каком пароходе я приезжаю, и мой арест был давно решен в Петергофе, тем не менее в данном случае сделало для меня исключение. Для того, чтобы финляндские власти не вздумали меня освободить или хотя бы только задержать мою выдачу из Финляндии, русское правительство не предупредило их о моем аресте.

Финляндский генерал-губернатор ген. Зейн находил возможность арестовать меня в Финляндии и, когда узнал о моем аресте, то после совещания с вице-председателем финляндского сената он послал в Петроград министру внутренних дел телеграмму с предложением об отмене моего ареста. Но на эту свою телеграмму Зейн не получил никакого ответа.

Министерство внутренних дел вместо этого отдало в тот же день приказ немедленно доставить меня из Финляндии в Петроград, чтобы о моем аресте с местными финляндскими властями поговорить после того, как меня успеют доставить в Петроград.

Для моего ареста, таким образом, министру внутренних дел приходилось нарушать законы, но он пред этим не останавливался. Ему так хотелось поскорее видеть меня у себя в руках.

Из Раумо меня в тот же день вечером отправили в Петроград в отдельном железнодорожном купе в сопровождении жандармского офицера и четырех жандармских солдат. По дороге всюду были посланы телеграммы.

На больших станциях к нам в вагон приходили жандармские власти, убедиться цел ли я, а впрочем, может быть и из простого любопытства.

В Балоострове, когда поезд тронулся, к нам вошел кондуктор и почтительно кланяясь жандармскому офицеру обратился по-русски. С финским акцентом спросил, как же будет насчет железнодорожных билетов.

Я тогда только понял, что я и сопровождающие меня жандармы ехали по финской железной дороге «зайцами». Офицер, не обращаясь к кондуктору, небрежно сказал жандарму:

– Пошли ты его к черту!

Я смягчаю его выражение. Сказано было гораздо сильнее.

Жандарм ответил: «Слушаюсь!» и, обернувшись затем к кондуктору, послал его туда, куда дальше послать нельзя...

Кондуктор как бомба, выскочил из вагона и быстро захлопнул за собой дверь. Потом снова отворил её и, кланяясь, несколько раз повторял:

– Спасибо! Спасибо! Спасибо!

С тем же поездом, с каким меня везли арестованным в Петроград, один из моих пароходных спутников Б. А. Гуревич вез туда же моё открытое письмо в редакцию русских газет. В Петрограде он доставил письмо в редакцию «Речи». Сущность письма, кажется, была там тогда же напечатана. Кроме того, это моё заявление было переиздано тайным образом и распространено в Петрограде. В агитации по его поводу, по словам Гуревича, деятельное участие приняли И. В. Гессен и О. О. Грузенберг.

Кстати, за несколько дней перед тем, как я был арестован, через то же Раумо благополучно проехал в Петроград Нахамкесть-Стеклов. При объявлении войны Стеклов был арестован в Берлине, но вскоре был освобожден немцами и с инструкциями от них поехал в Петроград. Там, под личиной русского патриота, он всю войну вплоть до революции служил в каких-то комитетах, обслуживающих армию.



В Петропавловской крепости

В Петрограде на Финляндском вокзале наш вагон отцепили и перевели куда-то на западный путь, где меня при выходе из вагона не могла увидеть какая-нибудь случайная публика.

Там нас ожидал большой наряд полиции. Меня посадили в четырехместную карету, вместе со мною туда сели три околоточных надзирателя с револьверами и шашками.

В сопровождении специального конвоя, окружившего карету, меня повезли в Петропавловскую крепость.

Таков был необыкновенно торжественный въезд мой на родину после долгого пребывания за границей.

Летели десятки телеграмм, в Петроград мобилизовалась «средиземная эскадра» (по знаменитому выражению Глеба Успенского), в движение были приведены десятки лиц... Словом, Отечество было в опасности и его надо было спасать.

Видно было, «занимались они делом!»

И на эту скверную комедию, во время войны, ухлопывали народные деньги и тратили столько энергии.

В Петропавловской крепости меня посадили в Трубецкой бастион. Меня обыскали, сейчас же нарядили в арестантский халат и заперли в одной из знакомых для меня по моим прежним сидениям камер.

В крепости меня ожидали уже жандармские чины и они сейчас же приступили к моему допросу.

Они зарегистрировали взятые при мне в Раумо документы: прежде всего – мое письмо в редакцию и мои газетные статьи. Затем я устно подробно объяснил им цель моего приезда в Россию.

Допрашивавший меня жандармский офицер, очевидно, имел специальные инструкции. После допроса, по его словам, он должен был со своим докладом немедленно ехать в Министерство внутренних дел.

Я просил его сказать в министерстве, что мой арест огромная ошибка, и чтобы ее поправить. Необходимо немедленно сегодня же освободить меня, чтобы известие о моем аресте не попало в печать прежде, чем его ошибочность не будет признана правительством. Если же я не буду освобожден, то правительство прервет начатую мною агитацию в европейской прессе по поводу войны и разрушит то, что для этого мною уже было сделано за границей. Я несколько раз, подчеркивая, повторял, что впоследствии я буду открыто обвинять правительство в этом и в этом же его будут обвинять и другие.

Я просил жандармского офицера объяснить в министерстве, что я настаиваю на немедленном своем освобождении вовсе не потому, что меня пугает тюрьма. Если бы я боялся тюрьмы, то просто остался бы в Париже или же вернулся туда из Стокгольма.

Мне казалось, что допрашиваемый меня жандармский офицер понял, что меня заставило ехать в Россию. Но из его слов и из тона, каким он говорил о моем деле я понял, что в Министерстве внутренних дел Н. Маклаков и ген. Джунковский настроены решительно против моего освобождения.

Оба они, а в особенности Джунковский, которого я не раз лично задевал в «Будущем», очевидно, сводили со мной старые счеты.

Все, что я говорил допрашивавшему меня жандармскому офицеру, я тогда же написал в особом заявлении в Министерство внутренних дел на имя товарища министра внутренних дел Джунковского.

В нем я подчеркивал, что я прошу немедленного моего освобождения не в личных интересах, а в интересах общественных.

Но ни в этот вечер, ни на другой день я из министерства не получил никакого известия о моем деле.

Что происходило тогда в Министерстве внутренних дел в связи с докладом о моем аресте, – в точности не знаю. Но знаю только, что вскоре после моего допроса было два заседания Совета министров, где поднимался вопрос о моем освобождении.

Министр иностранных дел С.Д. Сазонов (как он потом мне рассказывал) настаивал, что я должен быть немедленно освобожден, и что правительство должно вообще идти навстречу в начатой мной агитации. На его стороне был и Кривошеин. Известие о том, что некоторые министры и общественные деятели настаивали на моем освобождении, тогда же попало в русскую и заграничную печать. Но реакционеры не хотели допустить и мысли о моем освобождении, и я был оставлен под арестом.

Обстановка Трубецкого бастиона мне живо напомнила как двадцать лет перед тем я первый раз попал туда.

Здесь мне было все знакомо. И сама камера, и рулетки, и тюремные порядки, и прогулки на двор, и деревья на нем.

Тогда они были маленькие, а теперь выросли и переросли тюремное здание. С тех пор много прошло времени и много утекло воды, и судьба бросала меня по всему свету.

С первого же дня ареста у меня уже была почти полная уверенность, что меня не освободят, и у меня впереди долгая тюрьма.

Через несколько месяцев после моего ареста, при последнем допросе в Петропавловской крепости, судебный следователь объявил мне о предании меня суду. Меня не обвиняли ни в принадлежности к партии, ни в каком либо участии в революционной борьбе. В вину мне ставилось только несколько цитат из моих заграничных изданий, – т.е., главным образом только как журналист.

Это было все, из-за чего я был арестован и почему была прервана моя агитация во время войны.



В Дом Предварительного Заключение. Вопрос Керенского: «Зачем Вы приехали?»

Когда меня уже перевели в Дом Предварительного Заключение, ко мне однажды в тюрьму явился, как мой защитник, А.Ф. Керенский. Раньше я его лично не знал, но, конечно, много читал о нем в газетах, и как о защитнике по многим громким политическим процессам и как о члене Государственной Думы.

После первых минут нашей радостной встречи – мы говорили с глазу на глаз – Керенский, как ножом, резанул меня вопросом:

– Зачем вы приехали в Россию?

Я почувствовал, что я невольно сделал большие глаза. Я никак не ожидал услышать такой вопрос своего защитника.

Такой вопрос, в тех же самых выражениях я недавно слышал в Раумо от жандармского офицера меня арестовавшего, но тогда этот вопрос был мне задан тоном, который не заключал ничего укоризненного. Наоборот, Керенский говорил тоном больше чем недовольного человека, - тоном обвинителя.

Дальнейший разговор с Керенским еще более поразил меня.

– Какую вы сделали громадную ошибку! Вы нас поставили в тяжелое положение. Мы не можем даже вас защищать, когда на вас нападают. Нужно всеми силами протестовать против этой войны, а вы её защищаете! Вы этим оказываете поддержку правительству.

Керенский сослался при этом на мнение некоторых известных литераторов-народников. К кому я писал из Парижа. По его словам, они в начале войны действительно получили от меня из Парижа письмо, в котором я им писал, что готов оставаться за границей и начать там агитацию за войну, если бы они стали мне помогать. Но они, по словам Керенского, совершенно не хотели меня тогда поддерживать, потому что были против моего отношения к войне.

Я понял, что Керенский не только высказывает личное своё отрицательное отношение к моему приезду, но выражает мнение и многих других из левого лагеря.

В Петрограде, собственно в Петропавловской крепости, я находился уже четыре месяца, но до меня не долетало почти никаких известий с воли, и я не знал, как к моему приезду в России отнеслись в русском обществе, и на этот счет строил только догадки.

Раз, впрочем, еще в Петропавловской крепости мне казалось, что мне об этом что-то сказали.

Однажды, во время моего допроса судебным следователем по особо важным делам, в присутствии прокурора, я наводящими вопросами старался хоть что-нибудь узнать, как на воле отнеслись к моему приезду. Допрашивающий меня следователь, как бы идя мне навстречу, мимоходом сказал, что ни в России, ни за границей никто не писал о моем приезде, и за шумом войны никто даже на него не обратил внимания. Этим он хотел мне сказать, что я сделал холостой выстрел и вообще напрасно приехал в Россию.

Если бы это было правдой, то мне действительно, пришлось бы посмотреть на свою поездку в Россию как на политическую ошибку, которую поправить не было уже никакой возможности, потому что я был заперт в четырех стенах Трубецкого бастиона. В таком случае правительство, конечно, никогда бы не выпустило меня из тюрьмы, как это и предсказывали многие за границей, а свело бы со мной свои старые большие счета. Но дело для меня заключалось, конечно, главным образом, не в этом, а в том, что если так, то вся моя поездка в Россию, все мои политические расчеты и планы были сплошной ошибкой. Для меня это было бы, конечно, более чем холостой выстрел.

Меня интересовало, понятно, не мнение следователя, надо или не надо было мне приехать в Россию, а сущность его сообщения. Я с трудом показал вид, что не обратил внимания на его слова. Мне хотелось, чтобы допрос скорее кончился.

После допроса меня снова увели в свою камеру. И я только тогда, когда остался один в камере, понял, как глубоко взволновали меня слова следователя.

Как ужаленный бегал я халате из угла в угол по камере и снова в сотый раз от начала до конца пересматривал в своей голове все, что я когда-либо слышал за границей о своей поездке в Россию, когда меня отговаривали ехать туда.

В конце концов, я успокоился. Я решил, что следователь сказал мне неправду – или для целей допроса, или потому, что не считал себя вправе говорить арестованному то, что тот от него хотел узнать.

Я был убежден, что так отнестись ко мне на воле, как говорит следователь, не могли. Бегая по камере, я не раз вслух повторял себе: нет! нет! Это невозможно! Это неправда!

Скоро я вновь успокоился, и жизнь моя в камере протекала спокойно – за изучением Радищева и Грибоедова, как и до этого памятного для меня допроса.



Мои споры в доме Предварительного заключения с Керенским и Соколовым

Слова Керенского нанесли мне более тяжелый удар. Под каким-то предлогом я постарался скорее прекратить это наше первое с ним свидание и отложить продолжение нашего разговора до следующего раза.

Когда я вернулся к себе в камеру, я был странно возбужден. Забегал в своей маленькой клетке и передо мной снова встал старый вопрос, – да



Керенский А.Ф.

неужели же мой приезд в Россию, действительно, ошибка и холостой выстрел?

Цель моей поездки мне по-прежнему была ясна. Для меня по-прежнему не было сомнений – надо ли было ехать? Мне мучительно только хотелось разгадать, где у Керенского и тех, от имени кого он говорил, ошибка. В конце концов, мне показалось, что я нашел ошибку в их рассуждениях, и скоро слова Керенского перестали меня волновать.

Для меня было ясно, что они все еще и во время войны остаются на почве революционной агитации против правительства, и в нынешний грозный момент, переживаемый нами, не хотят родину поставить выше своей партии и не отдадут себе отчета, во что может обойтись России во время войны даже удачная революция. Мне было тяжело сознавать, что в России существует такое течение, и я понимал, как дорого оно может ей обойтись.

Но для меня по-прежнему оставалось вне сомнений, что в данное время в России не может не быть государственного течения, представители которого поймут меня, и с которыми мы пойдем вперед без Керенских. К сожалению, я не мог с какой-нибудь уверенностью думать о том, что поймет нас правительство и не сделает невозможным нашу борьбу.

Во время следующего свидания с Керенским я по-прежнему видел у него отрицательное отношение к моему приезду в Россию. Эти строки в его письме были для меня большим праздником.

Отношение к моему приезду Керенского, которое так глубоко меня задело в первый раз, меня уже более не трогало.

До процесса ко мне в тюрьму, как третий защитник, – второй защитник у меня был В.А. Маклаков, – приходил несколько раз известный присяжный поверенный Н.Д. Соколов. Очень помогал мне в отношениях с моими друзьями на



Маклаков В.А.

воле и оказывал существенные тюремные услуги, а также был для меня очень полезен своей политической информацией. Но он еще более, чем Керенский, был пораженец.

В преувеличенных рассказах он радостно сообщал мне о развитии сознательного революционного движения во всей стране и в особенности в армии. Говорил он, как об ошибке, о моих призывах к поддержке правительства во время войны. Наши споры были горячие, и мы чувствовали себя людьми чуждыми друг другу, несмотря на одинаковое у обоих нас отношение к той тупой, близорукой, царившей тогда реакции, с которой до войны мы часто боролись вместе.

Я, защищавший войну до конца, сидел в тюрьме, а ко мне с воли, в качестве защитников, приходили пораженцы.



Суд

Приближался мой процесс.

Я решил своим защитником на суде пригласить определенного представителя оборонческого движения и потому обратился к члену государственной Думы В. А. Маклакову, бывшему потом послом в Париже.

Но он в это время был на фронте, и мой процесс из-за этого пришлось отложить на месяц.

Когда В. А. Маклаков пришел ко мне в камеру в Доме Предварительного Заключения, я ему сказал:

«Ну вот, В. А., я исполнил своё слово и приехал в Россию!»

Он понял меня, о чем я говорил ему.

Еще задолго до войны я заявил в «Будущем», что еду открыто в Россию и в тюрьме на суде буду поддерживать все обвинения против правительства, с какими в то время я выступал в печати.

В это время проездом в Париже был Маклаков, и он зашел в редакцию «Будущего». Как почти все другие он старался убедить меня, что я совершу безумие, если я поеду в Россию, что правительство меня арестует, жестоко разделается со мной, и что моя поездка не будет иметь никакого общественного значения. Я, конечно, с ним не соглашался. Прощаясь с Маклаковым, я его спросил, согласится ли он быть моим защитником, когда я приеду и буду сидеть в тюрьме?

– Ну, конечно, защищать-то я вас буду!

– Как видите, я тоже выполнил своё обещание и пришел к вам в тюрьму! – сказал Маклаков.

Я сказал В. А. Маклакову, что когда ехал в Россию, то не входил ни в какие переговоры ни с какими правительственными учреждениями, ни с консульствами, ни с Министерством внутренних дел, ни с Департаментом полиции. Как свободный русский гражданин я считал своим правом за границей делать, что я делал, а также считал правом и возвращаться в Россию, как возвращались все остальные граждане, не спрашивая никаких специальных разрешений.

Я предупредил Маклакова, что на процессе заявлю, что не отказываюсь ни от чего из того, о чем писал и говорил за границей и свой приезд в Россию буду объяснять тем, что в настоящее время все русские должны принимать участие в общей борьбе с общим врагом. В этом духе я и просил построить мою защиту.

Мой защитник меня понял, и мы больше с ним не обсуждали плана защиты, а когда он приходил ко мне в тюрьму, мы говорили только о политике и о текущих событиях.

Судили меня 20 февраля 1915 года в Петроградской Судебной Палате. Председательствовал сенатор Н. А. Крашенинников. Дело разбиралось при закрытых дверях. В зале присутствовали только лица с особого разрешения председателя.

Судьи и большинство присутствующих были люди чиновные – в орденах, со звездами. На стенах висели портреты Александра II, Александра III и Николая II. Около меня стояли жандармы с саблями наголо.

Дело началось чтением обвинительного акта. Читал его секретарь суда звучным голосом. Со скамьи подсудимых я видел, как чтение некоторых пассажей обвинительного акта временами особенно отражалось на лицах слушателей.

Это было тогда, когда секретарь звучным голосом читал наиболее яркие инкриминируемые мне цитаты из моих изданий.

В этом торжественном заседании суда, в присутствии высших представителей судебных властей и в присутствии жандармов. Молодой судебный чиновник громко не раз повторял все мои резкие отзывы об императоре Николае II и мои обвинения против него. Резкие выражения о самом царе, обычные в эмигрантской литературе, не могли не резать ухо русских обывателей, слушавших их на суде.

В некоторых местах секретарь, видимо, сам невольно запинаясь и с трудом выговаривал слова.



Приговор

Признаюсь, мне доставляло огромное удовольствие в данной обстановке слышать эти слова на суде и наблюдать впечатление от инкриминируемых мне цитат из «Будущего».

Я несколько раз как бы случайно, по очереди, осматривал сидевших сановных чиновников, чтобы увидеть, как они воспринимают то, что слышат.

По поводу этих цитат, как я и ожидал, председатель палаты Крашенинников спросил меня, отказываюсь ли я от них. Я ответил, что не беру ни одного слова назад из того, что писал за границей.

Чтением обвинительного акта в сущности весь процесс и кончился. Не было ни одного свидетеля. К делу были приобщены только моя статья в «Таймс» о войне и еще некоторые мои статьи.

Прокурор Г.Н. Ненарокомов произнес свою официальную речь и требовал осуждения по I ч. 103 ст. – в каторжные работы. Слово было потом предоставлено мне.

Я заявил, что я журналист. Издавал за границей «Будущее». Принимаю ответственность за все, что я писал в этом журнале. Приехал я в Россию потому, что считаю эту войну общенациональной, когда народ и правительство должны идти вместе.

После меня говорил мой защитник В.А. Маклаков. В начале своей речи он сделал возражения на обвинительный акт. Мне было предъявлено обвинение по I ч. 103 ст., грозившее каторжными работами. Он указал на возможность применения ко мне только 3 ч. Этой статьи, по которой мне грозила ссылка на поселение.

– Свое преступление Бурцев, – сказал мой защитник, – совершил за пределами досягаемости и, зная, что он делает и чем рискует, явился в Россию. Если бы, придя сюда, он заявил, что раскаивается в том, что сделал, меняет свои взгляды и приносит повинную, то все дело было бы довольно банально и малоинтересно. Это было бы исключительно личным делом самого Бурцева, и дело вас, судей, было бы определить степень искренности его раскаяния и те последствия, которое оно вызывает.

Но Бурцев вернулся сюда в Россию и заявляет, что он ни в чем не покаялся и остался тем же, чем был, что он явился сюда только потому, что во время войны хочет быть в России и хочет служить России. Это его за-

явление и придает процессу и нашему решению громадное политическое значение. Если вы верите этому заявлению Бурцева и его искренности, а до сих пор никто этого сомнению не подвергал, то суд должен понимать, какое громадное политическое значение получит его приговор.

В начале войны в высочайшем манифесте государь объявил: «В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага». Вот те слова, с которыми государь обратился ко всем русским подданным, в том числе и к Бурцеву. И Бурцев последовал этому призыву забыть внутренние распри и вернулся сюда не затем, чтобы вести борьбу с государем и правительством, а участвовать в этом подъеме России против ее внешнего врага. Как вы, объявляющие свои приговоры именем императорского величества, можете, не встав в противоречие с его словами, карать Бурцева за то, что было им сделано до этого призыва, и превратить этот призыв к единению в простой способ вызвать Бурцева оттуда, где он был в безопасности. Я знаю, что этот манифест не амнистия, что вы не имеете права миловать: но у вас есть право обращения к государю, и вы должны сказать ему, что, по вашему мнению, явка Бурцева после этого манифеста делает невозможным применение к нему нормального наказания.

Во время перерыва заседания я увидел, что мой защитник В.А. Маклаков быстро поднялся со своего места и поздоровался с проходившим мимо него высоким стариком. Затем он подошел ко мне и спросил:

– Вы знаете, кто это?

Я ответил, что не знаю.

– Это граф Витте! Я его спросил, как он попал сюда. Он ответил: пришел посмотреть на Бурцева.

В.А. Маклаков, очевидно, не мог понять, почему Витте пришел на меня посмотреть.

С Витте я не был знаком. С ним я никогда не виделся и от него никогда не получал писем. Но я ему несколько раз писал, и Витте письма мои получал. Ответить прямо мне никогда не решался, но по поводу моих писем он лично говорил с разными лицами, и его ответы тогда доходили до меня. Об одном из моих писем он упоминает и в своих воспоминаниях. Я много раз писал о Витте и мои статьи, я знаю, обращали на себя его внимание. В продолжение многих лет велась между нами эта полемика, памятная и для него, и для меня.

Вот почему Витте пришел посмотреть на своего «знакомого незнакомца». Больше я от Витте не имел никаких сведений. Он вскоре после этого умер, когда я еще не был сослан в Сибирь.



Ссылка на поселение

Приговор по моему делу поразил очень многих, как в России, так и за границей. Сначала предполагали, что такой приговор вынесен только для того, чтобы царь имел возможность амнистировать меня немедленно после его объявления. В таком духе, говорят, был сделан доклад царю председателем Совета министров Горемыкиным. С этим, говорят, согласился было и царь, и Горемыкин кому-то об этом успел сообщить. Но тут в дело вмешался министр внутренних дел Н.А. Маклаков, брат моего защитника, и министр юстиции Щегловитов, – и было решено амнистии мне не давать, а выслать меня в Сибирь.

На другой же день после приговора мне передали, как слух, что ни суд, ни Щегловитов не хотели ходатайствовать о моем немедленном освобождении только потому, чтобы не дать возможность самому Николаю II по собственной инициативе аннулировать приговор и сделать нужный по тогдашнему времени жест и для русского и для европейского общественного мнения. Но те, кто распространял эти слухи, очевидно, имели в виду только сложить ответственность за мою высылку лично на Николая II и снять с себя обвинение. На самом деле те, кто настаивали на моей ссылке, сводили счеты со мной и сами старались сослать меня подальше и поскорее.

Впоследствии, года через два в большевицкой тюрьме я о своем деле разговаривал с Щегловитовым. Он откровенно признался, что сам настаивал на моей высылке в Сибирь. Когда говорил мне о своих ошибках, он указывал прежде всего на две: на то, что преследовал политический Красный Крест (в тюрьме он сам понял, какое значение имеет политический Красный Крест для заключенных), и на то, что при тогдашних обстоятельствах настоял на моей высылке в Сибирь.

Один близкий мне человек, имевший возможность беседовать с Щегловитовым за несколько дней до его расстрела большевиками летом в 1918 г. в Москве, передавал следующие его последние слова:

– Меня называют Ванькой Каином. Клянусь, я не подписывал ни одного смертного приговора. Но я виноват перед родиной в том, что я, хотя и знал всех этих негодяев по именам (он говорил о большевиках

Ленине, Троцком и др.), и они были у меня в руках, я их не расстрелял. Если бы я это сделал, ни Россия не переживала бы нынешних ужасов, ни



*Бурцев в
арестантской
одежде.
Фото 1915 г.*

я не сидел бы теперь в тюрьме в ожидании расстрела. Каюсь в этой моей главной вине перед родиной.

Когда Щегловитов называл большевиков «негодаями», он искренно чувствовал свое право так называть их.

Еще через день-два после приговора В.А. Маклаков сообщил мне, что о моем освобождении уже нет речи, и что меня решено выслать в Сибирь.

Никакой кассации я подавать не хотел, предоставляя правительству делать со мной, что ему угодно.

Через две недели приговор по моему делу был приведен в исполнение. Меня перевели в пересыльную тюрьму, обрили половину головы и одели в арестантский халат.



Многие поняли цель моего приезда в Россию

Когда я ехал в Россию, мне хотелось, чтобы мой призыв к общенациональной борьбе во время войны был услышан. Теперь, после процесса, я видел, что благодаря аресту, суду и моей ссылке в Сибирь все знали, что революционеры моего образа мыслей горячо относятся к войне и хотят сделать все от них зависящее для ее успеха – и не их вина, если правительство не дает нам возможности принять участие в общей борьбе. Это в одно и то же время была и моя личная победа и победа всех тех революционеров, которые принадлежали к оборонческому направлению.

Перед правительством была дилемма: или преследовать меня за мою предыдущую революционную деятельность, – от нее я не отказывался и это все время усиленно подчеркивал и в печати, и при аресте, и на суде – и тогда тем самым демонстративно показать, что оно свои полицейские интересы ставит выше интересов национальной войны или

освободить меня, как революционера, являющегося защитником войны и таким образом показать, что оно ставит интересы войны выше политической борьбы.

У правительства была блестящая возможность сделать красивый жест, но оно не было способно идти навстречу общественным течениям и выбрало первый путь.

За границей, в особенности в Париже, где так дорожили помощью России во время войны, понимали, что она может быть только тогда, когда правительство будет опираться на общенациональное движение. Так на мой арест, а затем на ссылку мою в Сибирь посмотрели, как на призрак, быть может, очень незначительный, но очень яркий, того, что делается в России. Густав Эрве написал в своей газете статью, где сказал, что к моему осуждению относится, как к ошибке, и высказал надежду, что я скоро буду амнистирован. И с этих пор за границей начались хлопоты относительно моего освобождения. Скоро в этом приняли участие Вивiani, председатель Совета министров, и даже президент республики Пуанкаре.

Из тюрьмы и по дороге в ссылку я продолжал громко говорить о необходимости единения и общего фронта. Мои статьи и заявления с призывом к единению продолжали появляться в самых распространенных изданиях и за границей, и в России.

С радостью встретили известие о моем аресте и ссылке в Сибирь за границей такие пораженцы, как Чернов. В своей статье «Поверил!» он со злорадством говорил о «наивности», с какой я поехал в Россию и пошел навстречу императору Николаю II и его правительству. Было ли это с его стороны политиканством, или он действительно предполагал, что я не знал, куда я еду и верил русскому правительству, — это безразлично.

Во всяком случае, русское правительство, вместо того чтобы использовать предлагаемые ему возможности бороться против пораженцев, дало пораженцам, как В. Чернову, хороший повод нападать на него.

Радостные и в одно и то же время злобные крики пораженцев долетали до меня в тюрьму и в ссылку.

Для них мое осуждение было новым аргументом для призыва к немедленной борьбе с правительством во время войны.

Обвинение правительства в реакции и призыв к уступкам тогда часто повторялись в связи с моим делом. В речах тех, кто настаивал на изменении политики правительства, мое дело было удобным аргументом.

Защищать отношение правительства к моему делу не могли даже его защитники. Само правительство скоро осознало, что оно сделало ошибку.

Впоследствии про меня говорили, что для правительства я был «разменной монетой». Желая идти навстречу обществу, оно делало какие-нибудь уступки в моем деле и на обвинения в реакции говорило: «Да мы вернули вам Бурцева!» – «Вот мы его поселили в Твери!» «Вот разрешили ему приехать в Петербург!» «Вот разрешили ему писать в литературе!» и т.д.

Я поехал в Сибирь с убеждением, что я достиг обеих моих целей: я высказался о необходимости общественного объединения во время войны и то, что я хотел сказать об этом, услышали все – в России и за границей, а с другой стороны мне удалось тому правительству, которое я многие годы обвинял в реакции и непонимании народных интересов, бросить обвинение, что оно даже в самый роковой момент русской истории идет вразрез с национальными интересами и во время войны не хотело общенациональной борьбы.

16 марта нас, осужденных в ссылку, отправили в Сибирь через Вологду, Пермь и Томск.

Большинство из нас, в том числе и я, были закованы в наручники.

У самых ворот пересыльной тюрьмы нашу арестантскую партию встретила компания молодежи – родственники и знакомые вместе со мной высылаемых в Сибирь политических, из которых некоторые просидели много лет в Шлиссельбургской крепости и теперь шли на поселение. Они видели наручники на моих руках.

Когда мы сидели уже в вагоне, эта молодежь подошла к моему окну, и я успел через одного конвойного солдата передать им письмо для моих товарищей. Такое же письмо я послал своим друзьям в Петроград и с дороги. Сообщение о том, что я выслан в Сибирь закованным в наручники, появилось в печати и по поводу него в тюремном ведомстве возникла переписка.

Помощник тюремного инспектора запросил начальника петроградской пересыльной тюрьмы о том, правда ли, что я был закован в наручники. Начальник пересыльной тюрьмы ответил: «Наручники были наложены начальником конвоя штабс-капитаном Исаевым. О причинах, по коим это было сделано, мне не известно».

Телеграмма о снятии наручников с меня была послана, но была получена нашим конвоем только тогда, когда мы подъезжали к Красноярску.

По этой самой дороге я когда-то, почти тридцать лет перед тем, в 1887 г., был выслан первый раз в Сибирь в большой политической партии. Нас везли тогда под особо строгим конвоем, но отношение к нам было – по тюремному – корректное. На этот раз, в 1915 г., нас, 7-8 человек политических, отправляли уже в общеуголовном тюремном вагоне III класса, с решетками. В нем было набито столько арестантов, что днем и ночью приходилось сидеть.

Почти все мы были закованы в кандалы. Лязг кандалов раздавался в ушах все время – с утра до ночи. Крики, ругань. Конвой был нарочито груб, с рукоприкладством, толчками, руготней. В такой обстановке нас везли 6-7 дней до Красноярска.

В вагоне я сидел на скамейке с одним большевиком, ярим врагом происходившей войны. И вот оба мы, закованные, пользуясь большим досугом, вели нескончаемые диспуты за и против войны, за и против большевизма.

Все высылаемые политические, а также и конвойные, знавшие по какому делу я высылаюсь и каково мое отношение к войне, с изумлением спрашивали меня, как это могло случиться, что меня высылают в Сибирь.

В этих конвойных, настоящих бурбонах, кто так отвратительно относился к нам, и тогда нельзя было не видеть совершенно готовых будущих большевиков. По всей вероятности, этого рода лица и были первыми, на кого впоследствии стал опираться Ленин в своей «планетарной революции».

Везли Бурцева в «столыпинском вагоне», то есть без всяких удобств с деревянными, ничем не покрытыми лавками, везли их десять дней (с 16 по 26 марта), чрезвычайно уплотненно. Эти условия сильно утомили Владимира Львовича, и вероятно поэтому, прибыв в Красноярскую тюрьму 26 марта 1915 года, в своем прошении просил выпустить его в Красноярске на несколько дней из тюрьмы. Он ссылался на необходимость обращения к врачам и на последствия тяжелых условий путешествия из Петрограда в Красноярск.

И на этот раз о его прибытии для поселения в Енисейской губернии в Красноярске знали заблаговременно. Об этом свидетельствует хранящееся в Государственном архиве Иркутской области «Дело канцелярии Иркутского генерал-губернатора об установлении строгого надзора полиции за ссыльно-поселенцем Владимиром Бурцевым». Открывается оно письмом департамента полиции от 22 февраля 1915 года, в котором говорится следующее: «Секретно. Приговором

Петроградской судебной палаты от 20 января с.г., вступившим в законную силу 10 февраля и обращенным к исполнению через прокурора Петроградского окружного суда, Владимир Львов. Бурцев осужден за преступление, предусмотренное частью I ст.103 “Уголовного Уложения” к ссылке на поселение и подлежит согласно высочайше утвержденному (так в документе, В.Г.) Положению Совета министров водворению для отбытия означенного наказания в пределах Енисейской губернии.

Вследствие чего и принимая во внимание, что Бурцев по своему преступному прошлому и по серьезному характеру своей противоправительственной деятельности является лицом весьма известным в революционной среде, где у него несомненно имеются широкие связи. Департамент полиции, сообщив Енисейскому губернатору о необходимости принятия надлежащих мер к предупреждению побега названного ссыльнопоселенца и к установлению за ним по прибытии на место водворения самого строгого и бдительного надзора полиции, об изложенном уведомляет канцелярию Иркутского генерал-губернатора». (ГАИО, ф. 25, о. 6, д. 5069, к. 608, л. 1)

В письме Енисейскому губернатору 24 февраля 1915 года департамент полиции предписывает: «...принять необходимые меры к тому, чтобы место водворения осужденного приговором Петроградской судебной палаты к ссылке на поселение в этом районе Владимира Бурцева не находилось вблизи той местности, в коей может быть водворена ссыльнопоселенка Екатерина Брешко-Брешковская.

Вследствие чего и принимая во внимание, что Бурцев подлежит поселению в Енисейской губернии, имею честь просить Ваше Превосходительство не отказать сообщить для доклада Главному начальнику края, в какую именно местность губернии предназначается Вами к водворению названный ссыльнопоселенец». (там же, л. 2)



Екатерина Брешко-Брешковская

Названная департаментом полиции Екатерина Брешковская была такой же пассионарной и негибимой революционеркой, как и Бурцев. Окажись они поблизости друг от друга, надзирающим органам пришлось бы пережить немало неприятностей.

А через два дня, то есть 26 марта 1915 г. департамент полиции посылает енисейскому губернатору еще одно предписание о режиме содержания ссыльно-поселенца Бурцева: «...Принимая во внимание, что Бурцев по своему преступному прошлому и по серьезной своей противоправительственной деятельности является лицом весьма известным в революционном деле, где, несомненно, у него имеются широкие связи, департамент полиции просит Ваше Превосходительство принять все зависящие от Вас меры к предупреждению побега названного ссыльно-поселенца и к невозможности его освобождения из ссылки, установить за ним и его сношениями на месте водворения самый строгий бдительный надзор, причем в случае необходимости Вами могут быть назначены для этой цели особые надзиратели, включая тех, кто специально нанимается для надзора за политическими ссыльными во вверенной Вам губернии». (там же, лист 6)

На следующий день после прибытия Бурцева в Красноярск, то есть 27 марта 1915 г., енисейский губернатор по губернской тюремной инспекции сообщает в канцелярию иркутского генерал-губернатора: «Секретно. Уведомляю канцелярию генерал-губернатора, что ссыльно-поселенец за государственные преступления Владимир Львов. Бурцев мною выдворяется в село Монастырское Туруханского края.

Бурцев прибыл 26 марта с.г., содержится в губернской тюрьме и ввиду сокращения этапного движения по случаю весенней распутицы будет отправлен в место назначения по открытии навигации». (указ. дело, л. 3)

А что же Бурцев? Он 31 марта 1915г. написал на имя Иркутского генерал-губернатора прошение следующего содержания: «Его Высочайшему Превосходительству Иркутскому генерал-губернатору прошение арестанта Красноярской губернской тюрьмы Владимира Львовича Бурцева. Ввиду необходимости по состоянию моего здоровья нередко обращаться к медицинской помощи врачей, а также ввиду моей журнальной деятельности, которая составляет мое постоянное и исключительное (подчеркнуто Бурцевым) занятие и является главным источником средств моего существования, я покорнейше прошу назначить для моего отбытия ссылки такое место, где я мог бы иметь

медицинскую помощь и возможность продолжать мою журнальную деятельность.

Кроме того, покорнейше прошу назначить мне проживание или в Иркутске или в Красноярске, где есть библиотека и существуют газеты. Во всяком случае до моей высылки покорнейше прошу выпустить меня временно (подчеркнуто Бурцевым) на свободу в городе Красноярске для того, чтобы хоть немного отдохнуть от всего пережитого в ужасных условиях этапного путешествия от Петрограда в Красноярск. Владимир Бурцев. 31 марта 1915 года». (там же, л. 5)

Кроме этого в деле хранятся еще два прошения Владимира Львовича: от 6 апреля 1915 года (лист 8) и от 9 апреля 1915 года (лист 9). Бросается в глаза, что за первые десять дней, проведенных Владимиром Бурцевым в Красноярской тюрьме, он написал на имя Иркутского генерал-губернатора 3 прошения. Чем-то это напоминает выходку Малышевских ссыльных в защиту Василия Пироженко, когда они отправили генерал-губернатору Восточной Сибири 17 заявлений совершенно одинакового содержания. Все прошения Бурцева – об одном и том же: определить местом поселения Иркутск или Красноярск, в крайнем случае, Минусинск, и выпустить его на несколько дней на свободу в Красноярске, чтобы обратиться к врачам и повидаться с товарищами. Каждое из них по сравнению с предыдущим становится более объемным и более эмоциональным. Наиболее содержательным оказалось третье его прошение, текст которого будет приведен немного ниже.

Ни одна из просьб Владимира Львовича не получила удовлетворения, да иначе и быть не могло, если вспомнить предписание департамента полиции о режиме содержания Бурцева в Туруханском крае и формулировки, которые этим предписаниям предшествовали: «активная противоправительственная деятельность», «серьезные политические преступления», «самый строгий и бдительный надзор полиции» и т.д.

Что это было именно так, показывает письмо Енисейского губернатора по губернской тюремной инспекции в канцелярию Иркутского генерал-губернатора от 15 апреля 1915 года №5734: «Представляю прошение ссыльно-поселенца Владимира Бурцева, ходатайствующего о назначении ему поселения места в Иркутске или Красноярске, а также о разрешении ему временного жительства в городе Красноярске (далее идет ссылка на предписание департамента полиции в отношении Бурцева), докладываю Вашему Высокопревосходительству,

что местом водворения Бурцеву назначено село Монастырское Туруханского края, где имеется врач, а потому Бурцев может пользоваться в случае надобности медицинской помощью, так как согласно ст. 130 «Устава о ссыльных» ссыльно-поселенцы причисляются к селам, а не к городам, то домогательства Бурцева о поселении его в Красноярске или Иркутске являются противозаконными, тем более, что по серьезному характеру противоправительственной деятельности Бурцева за ним должен быть учрежден особенно бдительный надзор и во избежание побега которого в означенных городах предупрежден быть не может.

По тем же причинам я не нахожу возможным выпустить Бурцева на свободу в Красноярске впредь до отправки его первым отходящим этапом к месту причисления» (указ. дело, л. 4).

Обратите внимание, что свое мнение о просьбах Бурцева Енисейский губернатор по губернской тюремной инспекции сообщает Иркутскому генерал-губернатору 15 апреля, когда со времени подачи первого прошения Владимира Львовича прошло более двух недель и почти десять дней с подачи второго прошения. Как видите, даже сообщать о его просьбах губернская тюремная инспекция не торопилась.

Перед подачей второго прошения Владимиру Львовичу уже было известно, что местом поселения ему назначено село Монастырское Туруханского края. Жить вблизи Северного полярного круга, в условиях 70-й широты, когда тебе уже во всю катит седьмой десяток лет, в жестоких морозах и беспощадной пурге, без «фуража» и экипировки, многие месяцы находиться в полярной ночи ему, как и любому нормальному человеку, очень не хотелось. И Бурцев пишет третье прошение Главному начальнику края. Вот его текст: «Прошение арестанта Красноярской губернской тюрьмы Владимира Львовича Бурцева Его Превосходительству господину Иркутскому генерал-губернатору. Со времени моего прибытия в Красноярскую тюрьму я два раза обращался с просьбами к Вашему Высокопревосходительству и два раза к господину Енисейскому губернатору о возможности моего поселения в городе Иркутске или Красноярске, а в крайнем случае – городе Минусинске, где бы я мог пользоваться необходимой для меня медицинской помощью и где я мог бы продлить свои занятия как журналист. До сих пор ни на одну из моих просьб я не получил никакого ответа.

Недавно мне было объявлено об отправлении меня в ссылку в село Монастырское Туруханского края. Ввиду этого я снова обращаюсь о

назначении моей ссылки в один из городов Восточной Сибири. По явлению врача я нуждаюсь в стоматологическом лечении зубов, что будет для меня совершенно невозможно в таких местах как село Моностырское. Поэтому я крайне прошу выпустить меня на свободу в городе Красноярске под какой-нибудь залог и с кем угодно.

В настоящее время я иду на «освобождение» (подчеркнуто Бурцевым). Содержусь в тюрьме не в силу приговора суда, а исключительно только потому, что тюремная инспекция не находит возможным выслать меня немедленно на место ссылки.

Содержусь я в Красноярской тюрьме в условиях крайне тяжелых. Я не имею возможности получить от кого-либо книгу, тюремная администрация отказывается отпускать меня даже с охранниками в город к врачу. Со времени моего отъезда из Петрограда я не получил ни одного письма, ни текущей литературы и не вижу ровно ничего, кроме темноты.

Первая высылка в Туруханский край предполагается, как мне сообщили, только 18 мая. Дорога займет не один месяц. Дорога будет проходить в ужасных условиях этапным табором, который я отлично предполагаю. Ввиду всего этого, я покорнейше прошу выпустить меня временно на свободу в городе Красноярске, чтобы я смог воспользоваться медицинской помощью местных врачей, необходимых для меня. 9 апреля 1915 года. Владимир Бурцев» (указ.дело, л. 9).

Каков итог «челобитий» Бурцева показывает письмо канцелярии Иркутского генерал-губернатора Енисейскому губернатору 22 мая 1915 года №108: «По приказанию генерал-губернатора канцелярия имеет честь уведомить Ваше Высокопревосходительство вследствие представленного на имя главного начальника края отношения Вашего от 15 апреля за №5734 и №5970, что Его Превосходительство выражает согласие с распоряжением Вашим в отношении ссылочно-поселенца Владимира Бурцева.

Вследствие чего канцелярия покорнейше просит Ваше Превосходительство приказать объявить названному ссылному, что поданное им 31 марта, 7-го (так в документе, В.Г.) и 9 апреля с.г. прошение Главным начальником края оставлены без последствия» (ГАИО, указ. дело, л. 10).

Более того, в недрах Енисейской губернской тюремной инспекции была порождена идея переселить Владимира Львовича из более или менее устроенного Моностырского в село Богучаны на Нижней Тунгуске, что очень сильно ухудшило его бытовые условия и связь с

«большой землей». Через своих знакомых в Красноярске Бурцеву удалось выйти на высшее полицейское начальство – департамент полиции Министерства внутренних дел России. 22 июня 1915 года в Иркутске была получена телеграмма, принятая некоей Старковской. Из текста телеграммы явствует, что Владимир Львович возражал против поселения его в Богучанах, просил оставить его в Монастырском или определить местом ссылки Енисейск и Минусинк. Он сообщил генерал-губернатору: «Товарищ министра ответил на мою просьбу: «зависит от Иркутского губернатора». Удивление вызывает подпись под телеграммой: «Инженер Бурцев» (ГАИО, указ. дело, л. 12).

Телеграмма была препровождена Его Превосходительству господину Енисейскому губернатору».

В Красноярской тюрьме

Письмо в «Русское слово». – «И все-таки меня освободят!»

В красноярской пересыльной тюрьме я просидел месяца два, пока не вскрылся Енисей и нас можно было отправить дальше на пароходе на место назначенной нам ссылки в Туруханский край.

Трудно забыть эту красноярскую тюрьму.

В большом двухэтажном здании было по несколько камер в каждом этаже. Мы все сидели в общих камерах. Днем нас на час выпускали на общие прогулки на двор. В нашей камере было 7-9 политических и человек 40 уголовных – убийц, воров и грабителей.

Почти все уголовные, как и мы, политические, были в арестантских костюмах.

В тюрьме нас посещали время от времени местные политические ссыльные и помогали подготовиться к дальнейшему путешествию.

У нас всех, кто был в тюрьме, с кем мы встречались по дороге, кто приходил к нам на свидание, была всегда общая одна и та же тема для разговоров – война.

Мне часто приходилось давать объяснения, почему я считаю необходимым быть за войну и почему я думаю, что революционная борьба с правительством в данное время очень легко может быть использована немцами в их империалистических интересах и поможет им в борьбе с союзниками.

Особенно памятен мне один эпизод из нашей красноярской тюремной жизни.

Из красноярской тюрьмы я нелегально послал письмо к моим друзьям в Москву с описанием нашей дороги до Красноярска. В письме я говорил о войне и о ближайших политических перспективах. Я писал между прочим о том, что хотя я и сослан в Сибирь на поселение на «вечные времена», но что тем не менее надеюсь еще в этом году быть свободным человеком и увидиться со своими друзьями в Москве и в Петрограде.

Это частное письмо неожиданно для меня мои друзья целиком поместили на страницах «Русского Слова».

Когда «Русское Слово» с этим письмом попало в камеру нашей красноярской тюрьмы, все мои товарищи стали высмеивать меня за мой оптимизм, а некоторые из них даже нападали на меня за несерьезное отношение к политическим вопросам, хотя бы и в частных письмах, но которые иногда могут появляться в печати.

Но несмотря на их нападки, я продолжал уверенно настаивать на том, что правительство не сможет долго держать меня в ссылке и что я буду скоро освобожден и возвращен из Сибири, несмотря на всю его ненависть ко мне и за мою агитацию против царя, и за мою борьбу с Департаментом Полиции.

Через несколько месяцев все увидели, что я был прав.

Из Красноярска в Енисейск

*В Енисейской тюрьме. – На «душегубках»
Вниз по течению Енисея. – Ссылка в село
Монастырское Туруханского округа.*

В начале мая месяца Енисей тронулся и нашу партию, человек в 200, отправили с первым пароходом из Красноярска в Енисейск.

В ожидании возможности отправить нас дальше, – я был назначен в ссылку в Туруханский край за 2000 верст от Красноярска ниже по Енисею, – нам в Енисейске пришлось дожидаться еще с неделю дальнейшей отправки.

Этой енисейской тюрьмы я никогда не забуду. Это – старинное здание с очень массивными стенами, со сводами, с двойными решетками.

Нас, человек 100, поместили в камере, где может помещаться самое большее человек 25. Спать нам приходилось не только подряд на нарах,

но и под нарами, в проходах, около самых дверей. Когда, особенно ночью, приходилось выходить из камеры, это было сложным и трудным делом. Приходилось тревожить десятки людей. Отворенные окна и форточки ничего не помогали, – нам буквально нечем было дышать. Трудно даже понять, как мы тогда не задохнулись в нашей камере. Грязь была неопикуемая. Пищу нам приносили в грязных вонючих ведрах, от нее несло чем-то невообразимо мерзким. Нас, политических, было человек 20, остальные – уголовные самого ужасного типа, вырожденцы даже среди уголовных. В этой тюрьме я пробыл только неделю, но это едва ли не самое тяжелое воспоминание во всей моей жизни.

С тяжелой головой, как будто отравленный, я вышел из енисейской тюрьмы, – и, находясь на свежем воздухе, долго еще не мог забыть атмосферы этой тюрьмы.

После, от Енисейска, нас под усиленным конвоем везли на лодках вниз по течению реки Енисей. Нам давали или одну сравнительно большую, или две малых лодки. На 10-15 высылаемых полагался один стражник и несколько местных крестьян, сопровождавших нас, которые в то же время были и гребцами. Для меня полагался еще один специальный стражник.

В день мы проплывали 20-25 верст и потом останавливались на ночевку. Деревни, расположенные по Енисею, в 15-20 дворов, были очень редки. В каждой из них мы по большей части встречали товарищей наших, раньше нас туда прибывших и годами там живших. Крестьянские лодки были небольшие и притом самого примитивного устройства. Мы их называли не иначе как «душегубками». Вода обыкновенно текла изо всех щелей, ехать в них можно было только постоянно отливая воду. Лодки всегда низко сидели в воде, и она едва не захлестывала их.

Во время хорошей погоды эти переезды на лодках, после нашего сидения по тюрьмам, – со мной ехали товарищи после 5-7 лет содержания их в каторжной тюрьме – после енисейской тюрьмы, несмотря на свое однообразие, были необыкновенно приятны.

Но было очень опасно ехать во время дождя и ветра. Погода в это время года была вообще холодная, по реке лед еще не прошел и его было много на берегу. Все еще дышало зимой. Енисей в этом месте полторы-две версты шириной, и вот, на наших душегубках, когда во время бури нам приходилось переплывать с одного берега на другой, не только было холодно и ветрено, но было и очень опасно.

В непогоду, переезжая Енисей, мы не раз считали себя уже погибшими, наши лодки захлестывались волнами, и мы в несколько рук едва

успевали отливать воду из лодки. Однажды, когда мы увидели, что буря все усиливается и усиливается, мы направили нашу лодку к берегу и теряли уже надежду спастись. С большим трудом мы подошли к берегу, но набежавшая на нас волна опрокинула нас всех с нашим багажом в воду. К счастью, было неглубоко, и мы выбрались на берег и затем вытащили туда и лодку, и весь наш багаж. Здесь на берегу, мы разожгли большой костер, сварили чай, закусили и, только когда буря несколько стихла, отправились дальше.

На вольном поселении

*На свободе... в Туруханском крае! –
В стране комаров и мошек. – Из огня да
в полымя. – Перевод в село Богучанское.*

Недели через две-три утомительного однообразного путешествия я прибыл в назначенное мне место ссылки – в село Монастырское, Туруханского округа. Это административный центр края. Моих товарищей по большей части разослали по маленьким деревням или местечкам этого края, а меня, как находящегося под усиленным надзором, оставили в селе Монастырском.

Меня приняли в полицейском правлении и я впервые чуть ли не через год после Раумо, вышел «на свободу» без стражи. Но это было где-то далеко, под полярным кругом!..

В селе Монастырском была телеграфная станция, церковь, больница и, конечно, тюрьма, судья, несколько лавок, обслуживающих весь округ.

Здесь я нашел человек 25 ссыльных. Между ними были большевик Свердлов, который после революции, вернувшись из Сибири, сыграл в России такую ужасную роль как ближайший помощник Ленина. Он умел подладиться к начальству и пользовался особыми привилегиями. Там я встретил и Сталина, будущего преемника Ленина. Туда же вслед за мной был прислан и Каменев со своими товарищами по процессу соц.-дем. Депутатов 4-ой Думы.



Каменев Л.Б.



Петровский Г.И.



Самойлов Ф.Н.



Муранов М.К.

Несколько дней подряд я буквально не мог заснуть ни одного часу. Пришлось устроить полог. Но прежде, чем самому туда забраться, необходимо было каждый раз выкуривать оттуда комаров и мошек. Но это мало помогало. Иногда целые ночи я прогуливал напролет. В это время года в Туруханском краю ночей собственно нет. Солнце почти не сходит с горизонта – ночью светло как днем. Сидя у себя дома, вы и ночью свободно можете писать и читать, не нуждаясь в освещении. Зато зимой бывает круглые сутки ночь.

Через месяц, когда я не то что стал привыкать к тамошней жизни, а стал только осваиваться с нею, как неожиданно мне объявили, что меня переводят в новое место ссылки, в село Богучанское той же Енисейской губернии. Это было еще более глухое место, чем село Монастырское.

Енисейскому губернатору кто-то сказал, – а он этому поверил, – что в село Монастырское через Ледовитый океан может быть из-за границы прислана морская экспедиция для устройства мне побега.

Это очень обеспокоило губернатора. Об этом узнал богучанский исправник, бывший тогда случайно, проездом, в Красноярск.

Он был очень известен своей строгостью по отношению к политическим ссыльным. Для того, чтобы выслужиться, он просил доложить губернатору, что он ручается за то, что я никоим образом не смогу бежать, если я буду прислан под надзор к нему в село Богучанское.

Оказалось, нашелся такой исправник, который хотел иметь меня у себя..

Тогда было решено перевести меня из села Монастырского в село Богучанское.

Из села Монастырского до Енисейска я ехал в пассажирском пароходе в сопровождении двух стражников. Далее пришлось, как и раньше, ехать на лодках под конвоем нескольких стражников по реке Тунгуске. Река очень быстрая и лодку нам пришлось самим все время тянуть на бичеве.

Богучанское – маленькое село в 50-60 дворов. Дома расположены по одной улице вдоль реки... Там я встретил того самого исправника, который в Красноярске дал губернатору слово караулить меня и не допустить моего побега, какого я и не собирался делать, так как иначе и не поехал бы в Россию.

Он приставил ко мне специальную стражу. Стражники по очереди обязательно безотлучно должны были быть около меня и никогда не упускать меня из виду. Они ходили за мной по пятам и ночью не отходили от дверей моей избы.

В Богучанском я встретил человек 20-25 «ссылных».

Там были представители разных течений, по большей части «пораженцы»; но были и такие, которые стояли, подобно мне, за войну. У нас постоянно велись горячие диспуты. Между нами было много пессимистов. Некоторые предсказывали долгие годы реакции в России, а я доказывал, что правительство должно скоро пасть, и что оно падет тем скорее, чем правильнее мы займем позицию по отношению к войне и этим поставим правительство в необходимость идти вместе с нами.

В Европе в это время заканчивался первый год Мировой войны. Тройственная коалиция изрядно потрепала войска Антанты. Тяжёлое положение потерпела и Россия в сражениях с германскими войсками в Восточной Пруссии. В тяжёлом положении оказалась и Франция, в битве с бошами приходилось привлекать любые неиспользованные ресурсы. Поэтому вспомнили об антигерманском энтузиазме неукротимого Бурцева. В мировой печати, более всего – во французской, снова разгорелась кампания в оправдание непонятого царём рыцарского поступка Владимира Бурцева. Во множестве публиковались обращения в защиту Бурцева и к русскому, и к французскому правительству. В результате французское правительство обратилось к Николаю II с официальной просьбой об амнистии ссыльного журналиста, освобождение которого станет заметным пополнением общественных сил, стремящихся разгромить Германию. Не терпевший Бурцева царь некоторое время поупрямился, но в конце концов на амнистию согласился, 23 июля 1915 г. Департамент

полиции письмом №100794 по Высочайшему повелению извещает Енисейского губернатора: «Государь Император по всеподданнейшему докладу управляющего министерством юстиции в 15 день июля 1915 г. всемилостивейше повелеть соизволил освободить лишённого прав состояния ссыльно-поселенца Енисейской губернии Владимира Львова Бурцева от дальнейшего отбывания назначенного ему наказания, восстановить его в утраченных правах и позволить ему или выехать навсегда за границу, или выбрать постоянное местожительство в пределах Империи, кроме столиц, университетских городов и губерний столичных, или смежных с районами военных действий, подчинив его гласному надзору полиции на пять лет.

О таковой Высочайшей воле уведомляю Ваше Превосходительство в дополнение к отношению от 22 февраля 1915г. за №96528 для дальнейших распоряжений и объявления Бурцеву указав при этом последнему, что ему как лицу, состоящему под гласным надзором полиции, не должно выбирать местом своего водворения местности, находящиеся на театре войны или находящиеся на военном положении, ибо в противном случае он может быть удалён оттуда по распоряжению местных военных властей.

Сведения о Владимире Бурцеве благоволите сообщить подлежащему по выбранному им месту водворения губернатору, уведомив в последующем Департамент Полиции.» (ГАИО, указ. дело, л. 14)

Бурцев об этой бумаге не знал, но уверенно предполагал, что такое повеление из центра в отношении его скоро будет. Последующие события показали, что он не ошибался.

Когда приходила почта, то все мы, ссыльные, жившие от почты до почты, обыкновенно собирались в конторе.

Амнистия

При нас вскрывали почтовые чемоданы. Тут же мы все читали свои письма и газеты и делились друг с другом полученными новостями.

Однажды кто-то из ссыльных, развернув номер «Русского Слова», стал вслух громко читать корреспонденцию из Петрограда. Предварительно он успел уже ее пробежать глазами, и она очень его взволновала.

Петроградский корреспондент по телефону сообщал в московскую газету, что под влиянием событий правительство пошло на уступки и экстренно собирает Государственную Думу, и что в кулуарах Думы министр иностранных дел Щербатов в разговоре с Малковым и др. депутатами, как на первый признак поворота правительства в либеральную

сторону, указал на то, что постановлено восстановить меня в правах и вернуть из ссылки, и что высочайшее постановление по этому вопросу уже состоялось.

Надо ли говорить, какое впечатление произвело на меня и на моих товарищей это совершенно неожиданное известие. Газета читалась на почте в присутствии очень многих ссыльных и обывателей и в присутствии того самого стражника, который должен был не отставать от меня ни на шаг.

С этим номером газеты в руках я отправился к исправнику. Он, оказывается, уже знал об этом известии. Я спросил его:

– Итак, я могу уезжать?

Он ответил мне:

– Ни в коем случае!

Потом, обращаясь к стоявшему тут стражнику повышенным голосом как бы выкрикивая, сказал:

– Продолжать следить за ссыльно-политическим Бурцевым так же, как ты следил за ним до сих пор! Не отпускать его ни на один шаг и не разрешать ему выходить за черты деревни!

Затем, обратившись ко мне, он другим тоном сказал:

– Для меня не существует ни газет, ни Государственной Думы. Для меня существуют только распоряжения моего губернатора.

Когда я получу предписание освободить вас, только тогда вы можете уехать.

Если губернатор сообщит мне, что Государственная Дума назначила вас генерал-губернатором, тогда я... (при этих словах исправник встал из-за письменного стола, подошел близко ко мне, вытянулся в струнку, сделал мне под козырек, стал есть меня глазами) – тогда, – продолжал исправник, – я вам скажу: «Ваше высокопревосходительство! Приказывайте, все будет исполнено!» А до тех пор вы для меня ссыльно-поселенец и я вам не разрешу выйти за пределы деревни.

Я видал перед собой типичнейшего представителя сибирской администрации. Несомненно, он убедительно разговаривал с енисейским губернатором, когда давал слово, что ни в коем случае не допустит моего побега и когда говорил ему, что он покажет Бурцеву, что такое ссылка!

Но я знал, что оставаться мне под властью этого бурбона придется недолго, и я со своими товарищами немало смеялся над его угрозами.

На следующий день меня снова вызвали к исправнику. Я и мои товарищи не сомневались в том, что от губернатора получена бумага о моем освобождении и меня вызывают объявить ее мне.

К моему великому изумлению исправник торжественно прочитал мне бумагу губернатора о немедленном переводе меня под строжайшим конвоем в село Монастырское Туруханского края.

Сначала я подумал, что это простое недоразумение, но скоро я понял в чём дело.

Когда я ещё был в селе Монастырское, и там была получена бумага о моём переводе в село Богучанское, я дал телеграмму своим друзьям в Красноярск, чтобы они снесли с Петроградом и добились того, чтобы, когда я буду проездом из села Монастырского в город Енисейск, я был оставлен или в самом Енисейске, или возвращён в село Монастырское, в это время года, когда я ещё мог туда вернуться на пароходе.

Так вот, в ответ на ходатайство моих друзей я получил из Петрограда в Богучанском запоздалое разрешение... вернуться в село Монастырское!

Но я был уже не в Енисейске, а в Богучанске, и возвращаться в село Монастырское не представляло для меня никакого смысла. Мне не было никакой охоты ещё раз испытать мучительное путешествие на лодке в продолжение месяца. Кроме того, в данное время мы все знали, что я уже свободный человек, амнистированный, и остаюсь в Богучанском селе только потому, что ещё не пришла бумага от губернатора.

Сколько я ни объяснял это исправнику, он стоял на своём, что он должен немедленно выслать меня обратно в село Монастырское.

Я решил, что в Енисейске, через который мне придётся проезжать, найдутся более толковые люди и чиновники. Я задержусь там до получения бумаги из Красноярска от губернатора о своём освобождении и мне не придётся ни в тюрьме сидеть в ожидании отправки этапа, ни снова ехать этапом, в Туруханский край.

Моё освобождение некоторых из богучанских ссыльных поколебало в их пессимизме, и они стали допускать, что очевидно наступает снова «весна».

Но большинство объяснило моё освобождение только исключительными причинами отношения ко мне за границей, а вообще по-прежнему ничего не ждали впереди, кроме сугубого торжества реакции, и своё положение в ссылке считали затяжным, особенно, в случае победы союзников.

Когда я садился в лодку в Богучанском, чтобы ехать в Енисейск, ссыльные пришли на берег провожать меня. Они провожали меня с горячими пожеланиями.

С лодки я им всем при стражниках кричал: «До скорого свидания в Петрограде и Москве! Россия скоро будет свободной!»

Я знал, что мои слова будут переданы исправнику, а через исправника они дойдут до губернатора и т.д. Именно поэтому я особенно и считал нужным громко говорить об освобождении всех в ближайшее время.

Под конвоем стражников я снова поплыл в лодке вниз – сотни верст – по Тунгуске. По дороге каждые 20-25 вёрст мы меняли лодку.

В деревнях, где мы останавливались, почти всюду были ссыльные. Мне снова пришлось с ними вести бесконечные разговоры о войне, поражённости, о реакции и т.д.

Всюду у меня находились и горячие единомышленники, и самые горячие противники, кто смотрел на мою деятельность прежде всего как на поддержку реакции и не понимали, как я, Бурцев, могу говорить о поддержке правительства во время войны.

В селе Рыбном, где нам нужно было менять лодки, я неожиданно встретил богучанского исправника.

Я не узнал исправника, настолько он стал любезен. Он просил не поминать его лихом и сказал: «Если бы вы знали, какую инструкцию я имел относительно вас!» Затем он добавил, как бы в своё оправдание: «Я – топор! Мною машут и я рублю».

Я хорошо понял его. Он получил новый циркуляр и сделался по отношению ко мне совершенно новым человеком в духе этого циркуляра.

Снова на свободе

*Кто хлопотал о моём освобождении –
Возращение из Сибири – Вместо Выборга в
Тверь. – «Земля наша велика и обильна,
а порядка в ней нет!»*

Ни мой защитник, ни мои друзья и ни я не хлопотали после приговора о моем освобождении.

Но, оказывается, об этом хлопотали совершенно в иных сферах.

За границей и особенно во Франции к моей высылке в Сибирь отнеслись прежде всего, как к большой политической ошибке, недопустимой во время войны при данных политических условиях. Так смотрели на мою ссылку не только мои личные друзья-французы, как Густав Эрве, нынешний редактор «LaVictoire», но и очень многие другие политические деятели во Франции, в том числе и президент республики Пуан-

каре и председатель Совета Министров Вивиани. Они решили сделать попытку убедить русское правительство в необходимости идти навстречу общественному мнению и освободить меня из Сибири. Из Парижа французское министерство с согласия Пуанкаре обратилось с такого рода просьбой, через Палеолога, к русскому правительству и лично к Николаю II. Об этом Палеолог впоследствии рассказывал в своих воспоминаниях. В ответ на представления французского дипломата русское правительство амнистировало меня, и я неожиданно для себя был освобождён из Сибири.

С проходным свидетельством в кармане я вышел от исправника в Рыбинском свободным русским гражданином.

В тот же день я сел на отходившую в Енисейск большую баржу. На душе было легко. Нас, пассажиров, было человек тридцать. Тут были: священник, чиновник, крестьяне, сельские учительницы, солдаты, возвращающиеся на фронт. Они по газетам знали, кто я, а также и то, что я только что освобождён из ссылки. Наши разговоры шли, разумеется, главным образом, о войне, в частности, много мы говорили о моём приезде в Россию.

В Енисейске я получил новое проходное свидетельство. Мне предложили выбрать местом жительства какой-нибудь город, кроме столиц, университетских городов и мест, находящихся близко к театру войны. Сначала я выбрал Выборг в Финляндии, но в Красноярске ещё через несколько дней меня догнал отказ поселиться в этом городе. Я выбрал Тверь и поехал туда.

В Сибири ещё, когда я ехал по железной дороге в Москву, – ехал я дней шесть, а с остановкой всего дней двенадцать, – я, наконец, увидел кошмарную русскую жизнь – и на этот раз не из-за тюремных решеток.

Пред моими глазами прошли разнообразные типы с различными взглядами, различных общественных положений, разных национальностей. Были интеллигентные люди, рабочие, солдаты, крестьяне, доктора, инженеры, студенты, гимназисты, сельские учителя и т.д. Меня поражаало богатство сил у этих людей, их даровитость, их способности, знания. Свободная мысль была в них ключом. Казалось, за границей этого нет, что Россия богаче её силами, внутренне свободней. Во всяком случае, что-то могучее заключала в себе та народная масса, сотни разнообразных представителей, которые промелькнули за это время перед моими глазами. Я всюду слышал о колоссальных, неисчерпанных богатствах

страны, об огромных лесах, рудниках со сказочными богатствами руды, угля, о рыбных ловлях. Я проезжал по необъятным сибирским житницам и невольно повторял знаменитые слова, которыми начиналась наша история: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет!».

С горячим сочувствием меня встречали всюду при возвращении из Сибири.

Дорогой я повидался со многими выдающимися, честнейшими людьми, глубокими патриотами. Они любили народ русский. Любили Россию. Хотели ей служить, – особенно в тот страшный момент, который переживала Россия.

Люди различных взглядов и различных профессий – мы чувствовали близость друг к другу. Тяжёлые события ещё больше сблизили нас.

То, о чем я говорил, когда ехал после амнистии из Сибири в Россию, было понято очень многими.

В том, что я говорил, никто не мог не видеть моей ненависти к реакции и моего страстного желания идти навстречу русской армии и нашим союзникам. Мне сочувствовали в широких беспартийных слоях русского общества, для которых я, как эмигрант, революционер, писатель, которого русское правительство все время преследовало, недавно был каким-то пугалом. Для них как-то сразу стал и понятен, и близок. От меня они чего-то ждали и на меня надеялись. Так же ко мне отнеслись и некоторые революционеры, и люди, не имеющие ничего общего с революцией, мало раньше понимавшие и мало интересовавшиеся революционными вопросами. Более того: такое же сочувственное отношение к себе я встретил тогда не только у многих представителей старого режима, находившихся у власти, но и у прямых моих прошлых официальных врагов, представителей полиции и жандармов.

Всё это могло показаться для многих очень неожиданным. Но в том, что это должно быть так, я был глубоко убеждён ещё и тогда, когда сидел в Стокгольме на пароход ехать в Россию.

Слив задачу освободительного движения с общенациональной борьбой в этой войне, я своей поездкой в Россию ставил борьбу с правительством имп. Николая II на такую почву, на которой правительству бороться было очень трудно. Благодаря этому я не только нашёл поддержку у своих старых друзей, но и обезоруживал своих крайних врагов.

Это я увидел ещё в Раумо через пять минут после моего ареста.

Жандармский офицер, целые годы ловивший меня, не мог не осознать, что петроградский приказ о моём аресте, во всяком случае, не по времени, и что мне место не в тюрьме, а в редакциях газет, где бы я мог

защищать общенациональное дело, поставленное перед Россией этой войной.

То же самое видел и потом – в тюрьме, на суде, на этапах во время ссылки в далёкую Сибирь, дорогой, когда я возвращался в европейскую Россию. Везде, где говорили о моём деле, нападали и не могли не нападать на правительство за его близорукую и вредную политику.

Когда после моего освобождения я прибыл в Енисейск, на почте, куда я пришёл, получать письма «до востребования», совершенно неожиданно для себя я натолкнулся на группу, как потом оказалось, самых черносотенных чиновников, которые рассматривали только что полученный номер «Искры», наиболее распространённого тогдашнего иллюстрированного журнала, издававшегося в Москве при газете «Русское Слово», где были помещены – мой портрет (я был снят в арестантском халате), снимок с моей избы, в которой я ещё так недавно жил в селе Монастырском и общий вид этого села. Почтовые чиновники громко говорили между собой обо мне, выражая полное сочувствие и негодование на правительство за мою ссылку. В это время я подошёл к столу, где выдают письма до востребования, и назвал свою фамилию. Меня узнали и скоро в черносотенной почтовой конторе все – и чиновники, и публика, побросав свои дела, слились в общий митинг, и у нас началась общая беседа.

Такое отношение ко мне, вернее, к моему делу, какое я неожиданно встретил в почтовой конторе в Енисейске, всё время было по дороге в Россию.

Оборонцы и пораженцы

*Война – Призыв к борьбе за спасение
России.*

Но если в Сибири и при своём возвращении в европейскую Россию я видел доказательства сочувствия к себе за моё отношение к войне, то встречал я и много протестов. Мне часто приходилось выдерживать очень резкую борьбу с противниками войны. Их было много и они прочно держались на своих позициях, тем более, что их ежедневно поддерживало правительство своими ошибками.

В Сибири по дороге в ссылку, на расстоянии нескольких тысяч верст, на каждом этапе и в каждой деревеньке, где были ссылные, встречались или прямые большевики, или полубольшевики. При этих встречах, каж-

дый день все с новыми людьми, у нас велись нескончаемые страстные споры о войне. Большевики доказали необходимость воспользоваться ею для свержения правительства. Повсюду были два лагеря – оборонцы и пораженцы. Пораженцы доходили до пропаганды необходимости активно помогать немцам и бороться с русскими войсками.

В Туруханске я вел такие странные споры против войны с Свердловым и другими видными большевиками.

Их глубоко возмущало моё обвинение Ленина за его пропаганду пораженчества (большого о Ленине я тогда ещё не знал) как предателя и мой призыв помогать правительству во время войны.

Тогда они были далеки от надежды на скорую революцию и только готовились к ней. Даже после мартовской революции 1917 г. Каменев мечтал только о конституции и посылал поздравительные телеграммы вел. кн. Михаилу Александровичу.

Для тогдашнего правительства было очень нетрудно сделать войну общенациональной, но оно не хотело на это решиться. Больше чем об успехе войны, оно заботилось о том, чтобы не пострадало благополучие бюрократии. Всякий шаг в развитии общественности приходилось брать у него с боя.

Правительство и представители русской общественности были как бы врагами.

Ещё более определённо враждебные отношения были между правительством и левыми партиями.

Как и прежде правительство во время войны продолжало вести борьбу с освободительным движением, с печатью, с земствами, революционными партиями и продолжало политику репрессии по отношению к полякам, финнам, евреям и т.д.

При таких условиях людям с моими взглядами на войну как на общенациональное дело и с моим призывом к единению между правительством и народом было, действительно, нелегко работать. Я не мог не видеть всей сложности этого конфликта, и выходить из него для нас было очень трудно.

Мы стремились к тому, чтобы правительство оставило свою реакционную политику и свою деятельность подчинило общенациональным задачам. Кое-что нам удалось сделать, но далеко не всё что нужно было.

На представителей правительства мы, впрочем, не смотрели, как на сознательных изменников и союзников немцев в этой войне. Мы тогда не верили широко циркулирующим рассказам о сношениях царя с немцами и знали, что, конечно, личной его целью была победа над немцами со-

вместно с союзниками. Но мы видели, что победа в этой войне для тогдашнего правительства не является всепоглощающей целью, и что оно более всего опасается торжества освободительного движения как своего собственного поражения и ради этого прямо вредит делу войны.

В это же самое время мы не видели никаких условий для революционной борьбы с правительством.

Всякое же неорганизованное революционное движение, по нашему мнению, могло в то время быть только на руку немцам и могло, в конце концов, сослужить только хорошую службу русской реакции. Поэтому мы были против каких-либо революционных восстаний во время войны и были глубоко убеждены, что позиция, занятая нами во время войны, не только поможет нашим союзникам покончить с немецким империализмом, но в будущем поможет нам одержать и окончательную победу над русской реакцией и выведет Россию на путь здорового, широкого освободительного развития.



В Самаре, Твери, Москве и Петрограде свободным человеком

По проходному свидетельству, которое я получил в Енисейске, я обязан был не останавливаться нигде, явиться в Тверь и там отбывать полицейский надзор. Но по дороге я на несколько дней остановился в Самаре. Видел там много общественных деятелей. Между прочим, у меня была очень любопытная встреча с известным Челищевым, вскоре неожиданно умершим. Впоследствии в Петрограде, я в виде некролога, описал свою с ним встречу.

В местных самарских газетах я дал несколько интервью такого же характера, какие я давал за границей, когда ехал в Россию. Я горячо приветствовал Гос. Думу и образовавшийся тогда прогрессивный блок. Защищая войну, борясь с пораженцами, я в то же самое время резко выступал против проявленной реакции.

Из Москвы я не заезжая в Тверь, тайно съездил в Петроград. Видел там В.И. Семенского, Керенского и др., – и только после этого поехал в Тверь.

В Твери я нашёл много интеллигентных людей, но с первых же дней моего приезда в Тверь я убедился, что правительство не оставило меня и там без своего внимания. Я увидел, как в этом маленьком городке, где вся моя жизнь была, у всех как на ладошке, за мной стали ходить по пя-

там приставленные ко мне сыщики. Ко мне подсылались тайные агенты, перехватывали письма и, наконец, из Петрограда был прислан агент, который поселился в одной со мной гостинице.

Месяц спустя я из Твери стал хлопотать о том, чтобы мне было разрешено переехать на некоторое время в Петроград. В это время произошла перемена министров внутренних дел.

Новый министр внутренних дел А.Н. Хвостов принадлежал к правым организациям. Он был ярый противник немцев и искренне желал победы России. Но в общественных кругах он был очень непопулярен, а в первые же дни после вступления в министерство он сумел ещё сильнее всех возбудить против себя. Скоро, однако, он почувствовал необходимость идти навстречу общественному мнению.

В одном из первых докладов царю он стал говорить о необходимости разрешить мне жить в Петрограде и получить на это согласие. Таким образом, в ноябре 1915 года мне разрешили приехать в Петроград. Когда Хвостова упрекали в реакционности, он говорил: «Да, вот я же разрешил Бурцеву приехать в Петроград», и он этим сильно кичился. Сделал он это, как потом он сам лично рассказывал мне, когда мы вместе с ним сидели у большевиков в тюрьме, потому, что понимал моё отношение к главному вопросу русской жизни того времени – к войне и знал, что победу России вместе с союзниками над немцами я тогда ставил на первый план.

Итак, выехав из Раумо в Петроград в сентябре 1914 г., я наконец попал туда (через село Монастырское Турухановского округа) зимой 1915 г. Но на этот раз я попал уже не в Петропавловскую крепость и стал жить в Петрограде свободным человеком.

Я мог принимать участие в прессе и вести ту пропаганду за общенациональную борьбу во время войны, ради которой я и выехал в Россию из Франции, как только война началась.

Русская революция

В Петрограде в конце 1915 года я приехал с теми же надеждами, с какими в августе 1914 г. выехал из Парижа.

Но мне там скоро пришлось убедиться в отсутствии какой бы то ни было разумной власти.

Одним из виднейших представителей власти вскоре стало одно из самых непопулярных лиц – Штюмер. Этим именем было сказано всё.

Около правительства не было никого из сочувствующих ему общественных деятелей, а стремившиеся идти к нему навстречу вынуждены были уходить в сторону. Было ясно, что правительство не сознаёт необходимости общественной поддержки.

В такой обстановке обострялось оппозиционное течение в стране и в Думе. Обострялось и революционное настроение.

Большевики явно поднимали голову.

Я списался с границей, со своими друзьями-эмигрантами. Они просили меня приехать из России и рисовали самые радужные картины наших совместных выступлений перед заграничным общественным мнением в защиту союзнической борьбы. Я обратился официально за разрешением выехать за границу.

Всем было понятно, для чего я должен был ехать. Общественные деятели были очень довольны этим моим планам.

Но я получил отказ. Отказ был так непонятен, что мы просили М.А. Стаховича переговорить лично с Штюрмером. Штюрмер категорически отказал Стаховичу в его просьбе и объяснил свой отказ так:

– Мы не можем Бурцева отпустить за границу. Он будет там писать про Распутина.

Вот о чём Штюрмер думал во время войны!

Таким образом рушились мои тогдашние надежды на поездку за границу.

Нам было понятно, чем во время войны может полатиться Россия, благодаря революции, которой могли легко воспользоваться порабощенцы.

Поэтому мы всех – и своих и не своих – предостерегали против революции. Но во дворце продолжался хаос. История с Распутиным компостировала все правительство.

Развал власти был таков, что сравнительно незначительное волнение в Петрограде в связи с недостатком продовольствия в конце февраля 1917 г., в несколько дней совершенно неожиданно для власти и для самих революционеров смело всё правительство. Власть захватили революционные партии, близкие по своим тенденциям к большевизму – порабощенцы, с которыми мы боролись все время.

Революция устранила из русской жизни и то, что было осуждено уже историей. Были поставлены широчайшие задачи, вызывавшие энтузиазм в активных политических кругах и надежду в широких народных массах. Хотелось верить, что драгоценные завоевания революции укрепятся и войдут в жизнь.

Но... скоро нам пришлось переживать очень тяжёлое разочарование.

Революционная власть иначе чем старое правительство, но, может быть, ещё в большей степени чем оно, проявило безволие и негосударственность.

Она сразу же дала возможность развиваться в самых ужасных формах большевикам и анархическим течениям и не помешала большевикам во время войны организовать переворот для захвата власти.

Провокаторы среди большевиков

В январе 1912 г. в Праге «тайно» собрался съезд социальных демократов, главным образом, большевиков-ленинцев. На нём были делегаты из России и из-за границы. Всего было 28 человек: Ленин, Зиновьев, Каменев и др. Съезд собирался при крайне конспиративных условиях. О нем в эмиграции никто ничего не знал. Но в нем приняли участие четыре провокатора: Малиновский, Романов, Брендинский и член III Государственной Думы Шурканов. Таким образом, если о съезде никто не знал в эмиграции, то о нём во всех деталях, – как он собирался, какие делегаты, какие ставил себе цели и какие принял решения, – всё прекрасно знали, в том числе Департамент полиции в Петербурге и австрийская полиция.

Съезд благополучно собрался и благополучно окончил свои занятия. Русская и австрийская полиция всем делегатам дала возможность уехать, кому куда было нужно.

Ни Ленин, ни его ближайшие товарищи не знали, что все это они делали как бы под стеклянным колпаком по попустительству Департамента полиции и немцев.

На съезде Ленин настоял на формальном отделении большевиков с их Центральным Комитетом из общепартийной социально-демократической организации. Объявлена была борьба всем остальным эсдековским течениям. Было поставлено: начать издание в Петербурге ежедневной газеты «Правды», принять участие в выборах в Государственную Думу, от Москвы кандидатом в Государственную Думу выставить Малиновского и т.д.

Этот пражский съезд большевиков был исходной точкой для развития всей дальнейшей деятельности ленинской организации.

Через несколько месяцев после этого съезда Ленин, в мае 1912 г. договорился в Париже с приезжавшими туда иностранными делегатами,

среди которых были поляки, которые, от имени немцев, предложили ему со всей его революционной организацией переехать из Парижа в Краков. Ему гарантировали, что его там как русского революционера готовящего революцию в России не будут тревожить. Ленин тогда же переехал в Краков и до самой войны 1914 г. вел из Австрии свои сношения с революционными организациями в России, и никто ему в этом не мешал – ни Департамент полиции, который всё знал, что делалось у него, ни немецкая власть, которая для своих целей, ввиду войны, тогда не беспокоила Ленина.

Как велись переговоры Ленина о переезде из Парижа в Краков, большевики хранят гробовое молчание. Если немцы, за два года до войны, разрешили для своих целей Ленину переехать к ним и оттуда разлагать русскую государственную машину для целей предстоящей войны, то, конечно, дело было очень секретным. Дело шло о предательстве России русскими революционерами. Заключать этот договор Ленину приходилось после при очень конспиративных условиях, о которых и в настоящее время молчат биографы Ленина, обследовавшие самые мельчайшие подробности его жизни.

Так же они молчат о сношении Ленина и большевиков вообще с немцами и о получении от них денег.

Об этом молчат одновременно и немцы и большевики.

Так же переговоры немцы тогда вели с представителями различных других народностей населяющих Россию. Они много рассчитывали на их измену.

Кроме Ленина, однако, никто из русских на эти переговоры не откликнулся.

В Кракове, а летом в ближайшем курорте Порошин, Ленин принимал приезжавших к нему из России. К нему приезжали революционеры-большевики, члены большевицкой фракции Государственной Думы, представители рабочих организаций в России, приезжали иностранные революционеры, все, кто имел дело с ленинской организацией.

Там у него бывали и такие провокаторы и предатели, как Малиновский и Ломов. Белецкий, директор Департамента полиции, впоследствии хвастался, что ему была известна до мелочей вся жизнь Ленина в Австрии.

Ленин из Австрии руководил изданием в Петербурге «Правды» и другими изданиями. К нему за инструкциями приезжали из России наиболее ответственные организаторы революционного рабочего движения. Члены большевицкой фракции Государственной Думы получали

все инструкции от Ленина из Австрии. Многие речи, произносившиеся в Думе Петровским и Бадаевым, были целиком написаны Лениным в Кракове.

Все, что впоследствии проявил в своей деятельности Ленин в России после 1917 г., было подготовлено за границей, а в Австрии ещё до войны.

В своих воспоминаниях Бадаев знакомит нас с тем, что делалось у Ленина в Кракове и Порошине. Он же рассказывает нам, что в большевизской партии представлял собой провокатор Малиновский все время, начиная со съезда в Праге.

Какую иногда комедию разыгрывали члены Департамента полиции с ведома русских министров в Государственной Думе видно из рассказа Бадаева о том, как выступал Малиновский с социал-демократической декларацией при открытии IV Государственной Думы.

Вл. Бурцев.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Есть у читателя небольшая претензия к Владимиру Львовичу, потому что на его взгляд недостаточно сказано об условиях жизни в Приполярье, о людях, с которыми ему пришлось жить в тюрьме и в Туруханке. Наверное, условия Туруханской ссылки описаны в кандидатских и докторских диссертациях историков советского периода, особенно до 1956 года, так как обожествляемый ими Сталин был в ссылке и в Балаганском уезде Иркутской губернии, не очень далеко от Малышевского (правда гораздо позднее Владимира Львовича). А в туруханской ссылке они находились одновременно. Грядущему биографу Владимира Львовича необходимо просмотреть кандидатские и докторские диссертации иркутских и красноярских историков. Наверняка многое по этой теме можно найти и в Государственном архиве Российской Федерации, а также в московском музее русского зарубежья на ул. Таганской.

Много интересных подробностей о туруханской ссылке Бурцева приведено в книге Юрия Давыдова «Бестселлер», но сказанному Давыдовым нельзя доверять в полной мере. Все написанное им о Туруханке надо только иметь в виду и обязательно проверять. Вообще, «Бестселлер» Юрия Давыдова – это тот самый пример, когда по художественному произведению нельзя изучать историю. Знающий биографию Бурцева заподозрит Давыдова в причастности к вымыслу сразу же, как только прочтет в «Бестселлере», что Бурцев был свидетелем казни первомартовцев 4 апреля 1881 года в Петербурге. Заподозрит, так как будет знать, что в это время Бурцев учился в 1-й Казанской Императорской гимназии и в Петербурге не был.

В ряде исторических эпизодов, он, писатель, подает себя читателю как участника совместной борьбы народовольцев с царизмом, хотя известно, что родился Ю.В. Давыдов в 1924 году. Во многих местах видна предвзятость Давыдова к Иосифу Джугашвили-Сталину. Ю. Давыдов твердо убежден, что Сталин был агентом тайной полиции в рядах бакинских революционеров, что Департамент полиции отправил его в туруханскую ссылку специально, чтобы избавить его от грядущего разоблачения однопартийцами и от участия в первой мировой войне. О каком участии Сталина в войне можно вести речь, когда у него

одна рука была травмирована еще в детстве, стала сухой и была короче другой?

Изображенные Давыдовым встречи Бурцева со Сталиным, их разговоры о провокаторстве среди революционеров не могут быть восприняты иначе как художественной иллюстрацией стиля и манер Сталина в предполагаемой ситуации.

Сообщим читателям, что есть ответ на созданный Юрием Давыдовым в «Бестселлере» псевдоним «Вера Д.». Это Вера Александровна Делевская. О ней сказано в воспоминаниях беглого секретаря Сталина Бориса Бажанова.

«Незадолго перед войной в Московский художественный театр поступила очень молодая (лет ей было, кажется, 17), но очень талантливая актриса Вера Александровна Делевская. Была она к тому же очень красива. По недостатку опыта она еще не дошла до крупных ролей, но была абсолютно увлечена Художественным театром, жила им и только им и дышала. А Художественный театр был театром не только Чехова, но и Горького. А вокруг Горького все время вращалась какая-то чрезвычайно революционная публика. И когда кто-то из театральных товарищей попросил неопытную девчонку оказать услугу – прятать какую-то революционную литературу, то ей было и неудобно отказать, да она ничего в этом деле и не смыслила. Сделала она это так неумело, что полиция немедленно все обнаружила; она была арестована и послана в ссылку.

...В месте, куда была сослана Вера Александровна, были сгруппированы видные большевики (кажется, революционная литература, которую она так любезно прятала, была большевистская), в том числе три члена ЦК: Спандарян, Сталин и Яков Свердлов. И Сталин и Свердлов, увлекшись молодой и красивой артисткой из всех сил за ней ухаживали. Вера Александровна без колебаний отвергла мрачного, несимпатичного и некультурного Сталина и предпочла культурного и европейски образованного Свердлова.

По возвращении из ссылки Яков Свердлов вернулся к семье (у него была жена Клавдия Новгородцева и сын Андрей) и к своим новым государственным функциям, и Вера Александровна перешла, так сказать, на холостое положение. Но когда ее увидел Вениамин Свердлов, он немедленно ею пленился, и они поженились. Брачный союз их продолжался и во время моего с ними знакомства.

...Вениамин погиб в 1937 году, а судьба Веры Александровны мне неизвестна».

А вот почему 22 июня 1915 года телеграмму Иркутскому генерал-губернатору подписал «инженер Бурцев», остается только догадываться.

Дотошный краевед не оставит без внимания также и две строки об обстоятельствах помилования Владимира Львовича Николаем II, в которых упоминается фамилия некоего Полевого, через которого Николаю Александровичу Романову была передана просьба французского правительства об освобождении Бурцева из ссылки. Кто этот Полевой, не удостоенный Бурцевым даже инициалами, возможно, заинтересует научный отдел Иркутской библиотеки имени Полевых. Владимир Львович Бурцев для этой службы может быть интересен еще и тем, что мог стать жертвой громкой провокации Георгия Судейкина и Сергея Дегаева в рядах народовольцев. Дело в том, что внук Николая Полевого от его дочери Натальи Сергей Петрович Дегаев в 1883 г, идя по следам возвратившейся из-за границы в Россию выдающейся революционерки Людмилы Александровны Волкенштейн, сдавал тайной полиции тех, с кем она встречалась для воссоздания обескровленной «Народной воли». Участь быть арестованным после встречи с Волкенштейн грозила и Бурцеву, но Дегаев не знал, что эта встреча была намечена, и привел ее к жандармской засаде в другом месте. Таким образом, на каторгу загремел не Владимир Бурцев, а его невезучий соратник. Иркутянам, ставшими коллективными обладателями исторических ценностей, оставленных семьей Полевых, надо знать и о том, что Сергей Дегаев это предтече Евно Азефа в революционных рядах и ничуть не уступает ему в размахе предательства. Его тайная работа на Департамент полиции, в конце концов, была выявлена революционерами, и предателю, как условие сохранения жизни, было предъявлено требование «Народной воли» убить особого инспектора тайной полиции, главного из непосредственных руководителей российского провокаторства Г.П. Судейкина.

16 декабря 1883 г. Дегаеву с помощью двух других революционеров удалось покончить с Судейкиным, а чтобы не искушать судьбу, он почел за благо эмигрировать из России. Сначала он с младшим братом Владимиром перебрался в Британию, но и там опасался, что его может настичь месть кого-нибудь из отчаянных революционеров, несогласных с помилованием такого жуткого предателя. Все так же с братом он перебрался в Соединенные Штаты, натурализовался там под именем Александра Белла, окончил университет (видимо, деньги для этого у него были), занялся преподаванием математики и закончил свою жизнь

естественным образом в 1908 г. в звании доктора математических наук, профессора. Возможно, в Гуманитарном центре имени семьи Полевых есть переписка кого-то из членов этой семьи с Сергеем Дегаевым. Было бы чрезвычайно интересно опубликовать ее к вящему удовольствию краеведов. Немало удач может представить исследование российских центральных и местных газет 1913-15 гг. К сожалению, в иркутских библиотеках таких газет сохранилось немного, и сохранились они неполными комплектами, а фрагментарно, отдельными месяцами. Полную картину обстоятельств о возвращении Бурцева из эмиграции в Россию в 1914 г. может дать только работа в главном российском историческом хранилище, т.е. в ГАРФ.

Со своей стороны, не могу утаить от краеведов крохотную изюминку сведений о маршруте следования из Иркутска до Малышевского. Сотням ссыльных довелось проехать этим путем, многих поселений, бывших в свое время этапами по дороге к месту водворения, уже нет. И этот нюанс повышает ценность случайно подвернувшейся под руку информации о конвойном маршруте «Молька – Иркутск».

Имеется в виду дело № 584, хранящееся в Государственном архиве Иркутской области, фонде 32 (опись 6), о сопровождаемом в другое место поселения ссыльном Ослопове. Вот изложение жандармского отчета об этом: «От станции Молькинской до станции Хайнатской 8 верст, от станции Хайнатской до станции Малышевской 14 верст (знатки, этот Хайнат уж не нынешняя ли Харюзовка, а?). От ст. Малышевской до ст. Усть-Осинской 15 верст, от ст. Усть-Осинской до ст. Середкинской 15 в., от ст. Середкинской до ст. Евсеньевской 32 в. От ст. Евсеньевской до ст. Верхнеостровской 21 в. От ст. Верхнеостровской до ст. Буретской 25 в. От ст. Буретской до ст. Олонской 15 в. От Олонской до Александровской 16 в. От Александровской до Усть-Балейской 26 в. От Усть-Балейской до Уриковской 22 в. От Уриковской до Иркутска 24 в. Итого: 213 верст». Значит, от Иркутска до Малышевского 191 верста.

«Мелочи», – чертыхнется кто-нибудь из заскучавших над этими словами. И это – даже не дело вкуса. «Edem seine» – «каждому свое»: кому в огне гореть, кому над миром властвовать. Кому скучна эта «бухгалтерия», того Господь не удостоил чести быть настоящим историком.

Хотелось этот маршрут вставить в рассказ об отправке Бурцева в 1887 г. из Иркутской тюрьмы в Балаганск, но возникло затруднение: каким путем везли Бурцева туда? Если прямо до Малышевского с переправой на левый берег Ангары, то Ангара, скорее всего, была еще не-

замерзшей, поскольку и более спокойного течения р. Лена в это время была еще непроезжей для конного транспорта, а Ангара тем более. Паром, если он тогда и был между Балаганском и Малышевским, не мог работать из-за ледостава. А если Бурцева везли в Балаганск через Усолье по левому берегу, то тогда маршрут совсем другой. Вот, кажется, мелкая подробность, но она зовет к себе настоящего исследователя, – и дай ему Бог карты в руки! Славный путь вам, добры молодцы, алчущие познаний не славы ради, а истины для! И... до встречи у Бурцева в серии «Жизнь замечательных людей».

Содержание

Часть I.	3
Памяти погибших за свободу	4
Начало биографии	9
Годы учебы и идейного возрастания.....	10
Гимназия, университет, уход в революцию.....	14
Сигналы из прошлого.....	18
Друзья народа или бесы? Как и кого защищали народники.....	38
Процесс против антисемитического движения в печати	51
От помыслов – к делам, от бесстрашия – к мужеству.....	82
Часть II.	105
Первая ссылка и побег.....	105
Снова в Сибири: арест 1914 г, ссылка 1915 г.	142
Мой приезд в Россию в 1914 г. <i>Из воспоминаний</i>	152
Послесловие	210

Валентин Гаврилов

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ...

Наброски в помощь грядущему биографу

В.Л. Бурцева

Книга издана при материальном содействии
депутата Иркутской городской Думы Сергея Леонидовича Юдина
и директора оперативной типографии «На Чехова»
Андрея Викторовича Середкина

Корректор: И.В. Синютина
Дизайн обложки А. Свердлов
Верстка К. Рыбнов

Бумага офсетная. Печать RISO
Форм. бум. 60x84 1/16. Уч.-изд. л. 12,1. Усл. печ. л. 13,5
Тираж 120 экз. Заказ № 525

Отпечатано в ООО Оперативная типография «На Чехова»
Иркутск, ул. Чехова, 10, тел.: (3952) 209-355, 209-056
E-mail: info@baikalprint.ru www.baikalprint.ru